



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

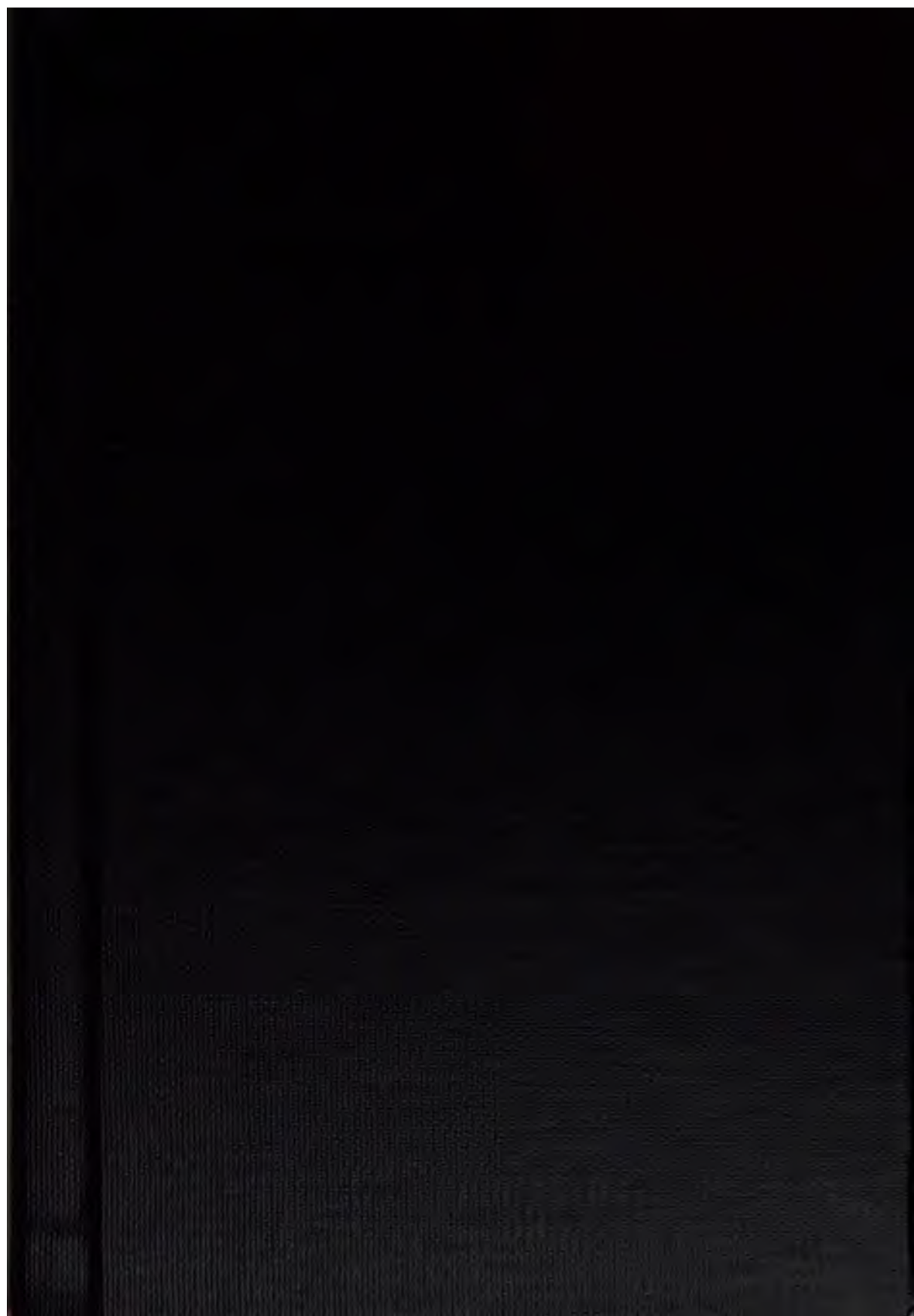
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





1872/4907.

ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ

ЕРШОВЪ,

АВТОРЪ СКАЗКИ:

КОНЕКЪ-ГОРБУНОКЪ.

Биографическія воспоминанія университетскаго
товарища его,

А. К. ЯРОСЛАВЦОВА.

Съ приложеніемъ литографированнаго портрета П. П. Ершова,
снимка его почерка и рецензій, явившихся съ изданіемъ его сказки.
«Конекъ-Горбунукъ».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. В. Демакова. В. О., 9 л., № 22.



1872

ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ

ЕРШОВЪ.



Н. И ПЛИГИН.

Домъ Цоя 21 Сент 1872

Ярославцев, А. К.

ПЕТРЪ ПАВЛОВИЧЪ
ЕРШОВЪ,

АВТОРЪ СКАЗКИ:

КОНЕКЪ-ГОРБУНОКЪ.

Біографическія воспоминанія университетскаго
товарища его,

А. К. ЯРОСЛАВЦОВА.

Съ приложеніемъ литографированнаго портрета П. П. Ершова,
снятка его почерка и рецензій, являвшихся съ изданіемъ его сказки,
«Конекъ-Горбунукъ».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. В. Деманова. В. О., 9 л., № 22.

1872



она печататься съ возстановленіемъ тѣхъ мѣстъ, которыя исключены были въ прежнее время и замѣнены, въ первомъ изданіи, точками. Съ этого же четвертаго изданія начали присоединяться къ ней семь картинокъ, рисованныхъ на деревѣ Р. Жуковскимъ и гравированныхъ Л. Сѣряковымъ. Въ 1871 году сказка напечатана вновь, *осьмымъ изданіемъ* *. Сказка эта существуетъ въ напечатанномъ переводѣ, на чешскомъ нарѣчій: „Koník hrbounek. Wzédalána dle P. Jeršôwa“.—Учитель изъ г. Пешта, угорскій русинъ, г. Фейерчакъ, издававшій педагогическую газету, въ Пештѣ, на русскомъ языкѣ, случайно встрѣтившійся со мною, говорилъ, что сказка Ершова, *Конекъ-Горбунукъ*, хорошо извѣстна, въ оригиналѣ, на его родинѣ, между русинами: дѣти и взрослые очень интересуются ею. Отрывки этой сказки приводятся въ хрестоматіяхъ образцами. Изъ сказки этой заимствованъ балетъ, представляемый на нашей сценѣ, съ успѣхомъ, уже нѣсколько лѣтъ. Спекуляторы пользовались ея названіемъ для своихъ издѣлій **. Недавно получили мы изъ Тобольска, очень искусно сдѣланный тамошними мастерами, изъ ссильныхъ, портсигаръ изъ дубоваго дерева, съ овальною на немъ слоновой кости дощечкою, медальономъ, изображающимъ Конька-Горбунка. Покойный А. С. Пушкинъ, прочитавъ эту сказку, отозвался, между прочимъ, Ершову,—какъ рассказывалъ онъ самъ: „Теперь этотъ родъ сочиненій можно мнѣ и оставить“. Слова эти, въ послѣдствіи, чрезъ нѣсколько лѣтъ уже, подтвердилъ мнѣ лично и бывшій при томъ случаѣ у Пушкина, покойный баронъ Е. Ф. Розенъ ***. Пушкинъ заявилъ, въ то же время, намѣреніе содѣйствовать Ершову

* *Первое* изданіе, въ С.-Петербургѣ, 1834 г., *второе* и *третье*, въ Москвѣ, 1840 и 1843 г., прочія въ С.-Петербургѣ: *четвертое*—1856 г., *пятое*—1857 г., *шестое*—1865 г., *седьмое*—1868 г., *осьмое*—1871 года.

** Такія издѣлія, подъ тѣмъ же названіемъ: «Конекъ-Горбунукъ», продаваемыя по очень дешевымъ цѣнамъ, вводятъ многихъ въ обманъ.

*** И именно въ 1860 году, когда я былъ цензоромъ С.-Петербургскаго цензурнаго комитета, съ которымъ баронъ Розенъ имѣлъ сношенія, какъ литераторъ.

въ изданіи этой сказки, съ картинками, и выпустить ее въ свѣтъ по возможно дешевой цѣнѣ, въ огромномъ количествѣ экземпляровъ, для распространенія въ Россіи; но, при недостаточныхъ средствахъ автора и по случаю смерти Пушкина, намѣреніе это не выполнилось. В. А. Жуковский, П. А. Плетневъ и извѣстные наши литераторы также искренно привѣтствовали тогда Ершова....

Сказка, *Конекъ-Горбунокъ*, по вымыслу, не есть созданіе Ершова, она—произведеніе народное, и, какъ откровенно говорилъ самъ авторъ, почти слово въ слово взята изъ устъ рассказчиковъ, отъ которыхъ онъ ее слышалъ, только онъ привелъ ее въ болѣе стройный видъ и мѣстами дополнилъ. Но эта-то вышняя обработка, принадлежащая Ершову, вызвавшему ее на свѣтъ, легко ознакомляя съ нею всѣхъ читающихъ, особенно молодость, и составляетъ неотъемлемое достоинство таланта Ершова; *Конекъ-Горбунокъ* не кажется какимъ-либо трудовымъ сочиненіемъ: онъ будто вылетѣлъ изъ головы поэта, по вдохновенію. Нѣкоторые говорятъ—въ сказкѣ этой нѣтъ никакой идеи; но можетъ ли это быть по самому складу человѣческаго и русскаго ума, въ этомъ случаѣ, вособенности? Сказка эта служитъ не для забавы только празднаго воображенія: въ основѣ ея лежитъ идея нравственная, данная ей первыми слагателями ея, простыми дѣтьми природы. Смыслъ сказки является такимъ: простодушное терпѣніе увѣнчивается, наконецъ, величайшимъ возмездіемъ на землѣ; а необузданныя желанія губятъ человѣка даже и на высочайшей ступени земнаго величія. Дурачкомъ здѣсь называется *Иванушко* только на людскомъ языкѣ: онъ не подходитъ подъ понятія людей обыкновенныхъ; не живетъ, какъ они живутъ; служитъ людямъ честно, хотя и одоливаемый человѣческою немощью, терпитъ многое, рѣшается на невозможное для нихъ же, и добрыя всемогущія силы помогаютъ ему, какъ своему собрату. Такимъ образомъ сказка, *Конекъ-Горбунокъ*, читаемая съ интересомъ, легко укладывающаяся въ памяти, производитъ, подобно баснямъ Крылова, двоякую пользу: нравственную, впитываясь незамѣтно въ молодую душу, и научную, приучая ребенка къ благозвучію и

яности слога, къ тому языку, которымъ онъ, современемъ, станетъ передавать свои мысли. Здѣсь неопровержимая заслуга Ершова, какъ дѣятеля на пользу общественную.—Жаль, что сказка Ершова, какъ и басни Крылова недовольно разсѣяны между простолюдинами: это было бы однимъ изъ лучшихъ способовъ для пріохоченія ихъ къ грамотности.

Не вдаваясь въ дальнѣйшій разборъ прекрасно воспроизведеннаго Ершовымъ народнаго вымысла, не указывая въ немъ на легко увлекающее чудесное, на картинность описаній, на отдѣльность характера каждаго дѣйствующаго лица, на чисто русскій юморъ, на языкъ, которымъ она такъ выражаетъ русскую народную рѣчь и которымъ доселѣ не писались сказки, остановимся на вопросѣ: какимъ образомъ сказка, *Конекъ-Горбунокъ*, интересующая и которая, безъ сомнѣнія, еще долго будетъ интересовать читателей, особенно на первыхъ порахъ жизни, какимъ образомъ, при такой радужной встрѣчѣ со стороны писателей и всей читающей Россіи, пережила она своего автора, еще при жизни его, и неужели авторъ *Конька-Горбунка* не могъ впослѣдствіи произвести хоть что-нибудь подобное? Да и публика будто въ сторонѣ отъ автора: помнятъ, знаютъ, цѣнятъ произведеніе, а творца его—какъ не бывало! Будто сказкѣ Ершова сужденъ удѣлъ всѣхъ народныхъ созданій—существовать и не вѣдать своихъ создателей.

Какъ близкіе съ Ершовымъ товарищи по Петербургскому университету и, впослѣдствіи, находясь съ нимъ въ самой откровенной перепискѣ, въ какой особенно былъ и еще одинъ общій нашъ пріятель, университетскій же товарищъ В. А. Т—борнъ, долгомъ считаемъ рассказать все, извѣстное намъ, изъ жизни Ершова, даже мелочи, которыя въ замѣчательномъ лицѣ очень важны, для возможно полной его характеристики. Мы будемъ говорить неуклонно, ради истины, и, гдѣ только можно, собственными словами Ершова, о тѣхъ вѣрованіяхъ, которымъ онъ былъ преданъ, о его убѣжденіяхъ, его заблужденіяхъ, о его успѣхахъ и неудачахъ, о стремленіяхъ къ прекрасному или общепользному и тѣхъ преніяствіяхъ въ этомъ, которыя, наконецъ, одолѣли его; ко-

ротко—о всемъ, что составляло его, какъ человѣка вообще и какъ поэта вособенности. Для уважающаго истину, какъ ни казались бы поступки и убѣжденія чьи-либо странными, несогласными съ понятіями его или современниковъ, они всетаки будутъ важны для характеристики представляемаго лица. Кромѣ того, въ біографіи Ершова читатель, можетъ быть, найдетъ и такое, что наведетъ его на мысль о жизни своей или хоть близкихъ ему; увидитъ не только недостаточность помощи молодымъ людямъ, вступающимъ на дорогу жизни, но и недостаточность воспитанія въ учебныхъ заведеніяхъ. Намъ кажется, что рассказъ о жизни П. П. Ершова, какъ невымышленная повѣсть о талантливомъ лицѣ среди неудовлетворительной общественной жизни, уже и потому интересенъ, что Ершовъ, въ основныхъ, главныхъ достоинствахъ человѣка остался неизмѣненъ до гроба; а такое свойство не каждый удерживаетъ за собою. Можетъ статься, тонъ *воспоминаній* нашихъ покажется элегическимъ, но—почти вся обстановка жизни Ершова не могла дать намъ иного тона. Мы приступаемъ къ этому дѣлу еще и съ мыслию, что всякій шагъ въ жизни человѣка, чѣмъ-либо отличившагося отъ прочихъ, можетъ быть наставителемъ каждому—таланту и неталанту. Въ жизни Ершова особенно поразительнымъ представляется, что онъ только выступилъ на поле литературное, выступилъ блистательно и—исчезъ. Подобное, правда, видимъ и въ Богдановичѣ, написавшемъ только поэму „Душенька“, и въ Грибоѣдовѣ, создавшемъ только комедію „Горе отъ ума“. Такія странности въ области творчества происходятъ, конечно, отъ степени энергіи дѣятелей и отъ силы обстоятельствъ, среди которыхъ вращалась ихъ жизнь. Вниканіе въ то и другое достойно труда: жаль, когда личность дѣятеля замѣчательнаго остается во мракѣ.... Рассказъ нашъ о жизни Ершова не будетъ заключать въ себѣ ничего вымышленнаго и можетъ, современемъ, послужить замѣтками о быломъ.

Петръ Павловичъ Ершовъ родился 22 февраля 1815 года, въ Сибири, въ Ишимскомъ округѣ Тобольской губерніи, въ селеніи Безруково *, въ 400 верстахъ за Тобольскомъ, отъ добрыхъ родителей, существовавшихъ единственно трудами своими, неподвергшихся, замѣтимъ, нисколько влиянію иноземному. Отецъ былъ чиновникомъ и, по роду службы своей, нерѣдко обязанъ былъ мѣнять мѣстности. Ершовъ сказывалъ, что у него было братьевъ и сестеръ человѣкъ двѣнадцать, и всѣ они похоронены въ разныхъ городахъ. Ершовъ родился очень слабымъ, почему и былъ крещенъ въ тотъ же день. Будто одержимый припадкомъ, кричалъ онъ нерѣдко по цѣлымъ часамъ, безъ умолка. По существовавшему повѣрью, родители вздумали продать его нищему, чрезъ окно, за одинъ грошъ: и—припадокъ какъ рукой сняло **. Разсказывая такъ уже въ своей семьѣ, Ершовъ, смѣясь, прибавлялъ: „Что мнѣ эти чины и почести, когда я стою только грошъ“. О дѣтствѣ Ершова намъ мало извѣстно: самъ онъ не упоминалъ о немъ, въ бытность свою въ Петербургѣ; какъ и вообще, по выходѣ молодымъ человекомъ изъ университета, онъ носился болѣе въ мірѣ фантастическомъ; о чемъ-нибудь положительномъ въ своемъ житейскомъ бытѣ, прошедшемъ или будущемъ, о комфортѣ, объ удобствахъ въ жизни онъ, по крайней мѣрѣ въ кружкѣ пріятелей, не заводилъ слова; да и намъ—тогда еще сверстникамъ его—не приходили въ голову вопросы о комфортѣ. Нѣкоторое понятіе о бытѣ, въ которомъ находился Ершовъ до одиннадцатаго года своего возраста, до поступленія его въ гимназію, мы получаемъ изъ собственныхъ его разсказовъ пріятелю З—нскому, въ Тобольскѣ, уже въ послѣдніе годы его жизни, когда послѣ различныхъ житейскихъ превратностей, для него, какъ естественно бываетъ, стали дороги и воспоминанія давноминувшаго. Разсказы эти записаны почти подъ диктовку, какъ видно изъ хорошо знакомаго намъ тона ихъ.

* Ершовъ иногда, вшутку, именовалъ себя Ершовъ-Безруковскій.

** Продажа эта дѣлается, конечно, только условно. Подробности повѣрья намъ неизвѣстны.

Впечатлѣнія мѣстности и окружающихъ насъ людей, впечатлѣнія физическаго и нравственнаго міра сильно вліяютъ на саморазвитіе и складъ характера. Конечно, человѣкъ даровитый можетъ возвыситься надъ многими, но — только надъ многими; нѣкоторые, привившіяся въ дѣтствѣ, привычки обращаются почти въ природныя свойства. На самыхъ необыкновенныхъ людяхъ замѣтны слѣды первоначальнаго воспитанія и вліянія родины и среды, окружавшей ихъ дѣтство. Ершовъ, впервые увидѣвшій свѣтъ въ самой малозвѣстной глуши, очутился, путемъ служебныхъ переходовъ его отца, еще младенцемъ въ незначительномъ городѣ, Березовѣ, гдѣ отецъ его получилъ мѣсто исправника. Здѣсь Ершовъ пробылъ до поступленія своего въ Тобольскую гимназію. Не будемъ говорить о суровой физической сторонѣ мѣстности: ребенку, подъ кровомъ родителей, вездѣ хорошо; но нравственный міръ, если онъ ограниченъ, если и не подѣйствуетъ вредно, то не можетъ дѣйствовать и благотворно на развитіе не только дарованія, но даже и обыкновеннаго человѣка.

Отецъ Ершова, какъ исправникъ, въ Березовѣ, былъ всѣми почитаемъ безпредѣльно, а для туземныхъ инородцевъ былъ почти кумиромъ. „У моего отца — рассказывалъ Ершовъ — были медвѣжьи сапоги, и если приходилось привести самоѣда къ присягѣ, сапогъ снимался, на него клалъ свою руку самоѣдъ и произносилъ клятву. Въ отдаленныхъ волостяхъ чествовали его всевозможнымъ образомъ. Привелось ему однажды встрѣтить праздникъ пасхи въ маленькомъ городѣ Тобольской губерніи, Сургутѣ. Захлопотался тамошній священникъ и, желая, по случаю такого небывалаго событія, сдѣлать пасхальную службу величественнѣе, распорядился, чтобы утрени иѣли всѣ прихожане; во время службы, обходя по церкви со крестомъ и провозглашая громко: „Христосъ воскрес!“ онъ вполголоса поощрялъ прихожанъ, „Порадѣйте, православные, исправникъ здѣсь!“ Ну, и радѣли: подобной разноголосицы — говорилъ мой отецъ — ему не случалось болѣе слышать нигдѣ и никогда. Березовское общество состояло, въ то время, все изъ оригиналовъ; если

описать его, — подтверждалъ Ершовъ, — то никто не повѣритъ, скажутъ — карикатура. Былъ тамъ экспедиторъ, былъ онъ прежде денщикомъ, но выслужился какъ-то, и прислали его въ Березовъ экспедиторомъ; балагуръ онъ былъ страшный. Чтô онъ дѣлалъ, когда у него денегъ не было: возьметъ, бывало, да и лотерею; да вѣдь чтô розыгрывалъ-то? Напримѣръ: пара сапоговъ, одинъ — пишетъ — совершенно годенъ къ употребленію, другой требуетъ починки; и все въ этомъ родѣ. Ну, для смѣха, и разберутъ билеты, а онъ — въ выигрышѣ. Или — судья тамъ былъ, вѣчно, и лѣтомъ, и зимой, въ преогромной мѣховой шапкѣ, и никогда, въ гостяхъ, съ нею не расстаётся, такъ и держится за нее обѣими руками. Увидитъ, бывало, какую вещь, понравится она ему, сейчасъ въ шапку и къ себѣ домой. Моего отца это озадачило; но ему сказали: „Не безпокойтесь, идите къ нему въ домъ: всѣ вещи, такъ добытыя, онъ кладетъ на столъ, и хозяинъ можетъ преспокойно взять свою и унести обратно“..... * Разъ были у насъ гости. Барыни сидятъ около стола, — на столѣ десертъ; тутъ же и судья со своей шапкой и балагуръ экспедиторъ. Послѣдній что-то больно ужъ заврался: его тутъ же и обличили. Сконфузившись и чтобы что-нибудь дѣлать, онъ хотѣлъ взять горсть орѣховъ, но, по ошибкѣ, схватилъ горсть варенья и, окончательно разтеравшись, вывалилъ свою добычу въ шапку къ судѣ. Послѣ и говорятъ ему: „Вотъ вы что надѣлали: вѣдь онъ завтра именинникъ, ну, и не пригласить васъ на обѣдъ“. — „Ой, пригласить!“ — и прямо къ нему: „Извините, — говорите, — пожалуйста, что я завтра не могу быть вашимъ гос-

* Видно, у него, какъ человѣка полудикаго, была къ этому манія, конечно, не та, какую покушался взвести на себя нѣмецкій ученый, докторъ богословія, Пихлеръ, и усердствовавшіе защитить его. (См. объ этомъ печатные органы, русскіе и иностранные, 1871 года). Впрочемъ, извѣстно — каковы власти, и не на такихъ ступеняхъ, были въ Сибири, до поступленія ея въ управленіе генералъ-губернатора, М. М. Сперанскаго. О Лоскутовыхъ, Трескиныхъ, Геденштромахъ, Пестеляхъ и имъ подобныхъ любопытные могутъ узнать изъ сочиненій: барона (графа) М. А. Корфа: «Жизнь графа Сперанскаго», и г. Вагина: «О сибирской дѣятельности Сперанскаго».

темъ,.... дѣлъ пропасть,.... почта!“.... Разумѣется, тому стало неловко сказать что-либо другое, кромѣ „очень жаль!“ — „Впрочемъ, — продолжалъ экспедиторъ, — я постараюсь!“... Много онъ штукъ выкидывалъ; потомъ ужъ былъ переведенъ въ Камчатку; тамъ и умеръ“... Рассказывая такія событія въ г. Березовѣ, Ершовъ сказалъ однажды, въ добромъ расположеніи души: „Да, еслибъ заняться, могла бы выйти интересная вещь—романъ, и романъ собственно берёзовскій. Я знаю тамъ одно романическое приключеніе.... Тамъ же я и влюбленъ былъ въ первый разъ. Десять лѣтъ мнѣ было, когда мой предметъ, вышедшій замужъ за доктора, скончался отъ родовъ,—и я очень плакалъ. Въ мою побѣздку туда, уже директоромъ (Тобольской гимназіи), показываютъ мнѣ могилу Остермана.... Покажите мнѣ—говорю —могилу В—ой“.

Такой нравственный міръ, конечно, не могъ повліять вредно на дѣтей подъ присмотромъ честныхъ, благоразумныхъ родителей, но и не могъ обогатить ни памяти, ни ума, ни сердца дѣтскаго чѣмъ-либо полезнымъ для жизни. Къ счастью, дѣти, т. е. Петръ и, старшій его однимъ годомъ братъ, Николай Ершovy, подготовленные къ продолженію ученія, вѣроятно, самими родителями, рано перевезены были отцемъ въ Тобольскъ. По словамъ родственниковъ, у которыхъ оба брата стали жить, обучаясь въ Тобольской гимназіи, мы узнаемъ, что оба они постоянно были въ числѣ первыхъ учениковъ, но младшій превосходилъ старшаго способностями: уроки свои готовилъ шутя, то припѣвая что-нибудь, то разнообразя ихъ рассказами и непременно—въ сказочномъ родѣ. Замѣчаніямъ брата, въ этихъ случаяхъ, онъ не придавалъ особеннаго значенія, отдѣляясь всегда шутками, поговорками, пословицами. Среди стариковъ онъ внимательно прислушивался къ рассказамъ о повѣрьяхъ, обычаяхъ, жизни русскаго народа; за свой мягкій, веселый нравъ былъ любимъ всѣми. Изъ дома отлучался онъ только въ классы гимназіи и въ церковь. Дома, въ свободныя минуты, одною изъ любимыхъ имъ забавъ было—впрягать въ каретку, сдѣланную имъ самимъ изъ бумаги, четверку или шестерку таракановъ. Не знаемъ, былъ ли кто изъ окружав-

шихъ его, кто подмѣтилъ бы въ немъ искру таланта; можетъ статья и были такіе и цѣнили эту искру настолько же, насколько, большею частію, люди цѣнятъ и самый талантъ.

И вотъ какъ, чрезъ двадцать лѣтъ, въ *Посланиіи къ другу* *, написанномъ въ 1836 году, представились уже поэту Ершову и колыбель его рожденія и послѣдующіе дни:

Рожденный въ нѣдрахъ непогоды,
Въ краю тумановъ и снѣговъ,
Питомецъ сѣверной природы
И горя тягостныхъ оковъ,
Я былъ привѣтствованъ нятелью
И встрѣченъ дряхлою зимой,
И надъ младенческой постелью
Кружился вихорь снѣговой.
Мой первый слухъ былъ — вой бурана;
Мой первый взоръ былъ — грустный взоръ
На льдистый берегъ океана,
На снѣжный гробъ высокихъ горъ.
Съ привѣтомъ горестнымъ рожденья,
Ужъ было въ грудь заронено
Непостижимаго мученья
Неистребимое зерно.
Вездѣ я видѣлъ мракъ и тѣни
Въ моихъ младенческихъ мечтахъ:
Внутри — несвязный рой видѣній,
Снаружи — гробы на гробахъ.
Чредой стекали въ вѣчность годы;
Свѣтлѣло что-то впереди,
И чувство жизни и свободы
Забилось трепетно въ груди.
Я полюбилъ людей, какъ братій,
Природу — какъ родную мать,
И въ жаркій кругъ моихъ объятій
Хотѣлъ живое все созвать....

* Напечатано въ «Библіот. для чтенія», т. 16, 1836 года.

Въ Тобольской гимназiи кончилъ Ершовъ, вмѣстѣ съ старшимъ своимъ братомъ, курсъ. Отецъ, желая дать имъ высшее образованiе, постарался получить возможность перемѣститься въ Петербургъ, для помѣщенiя обоихъ сыновей въ университетъ. Въ 1831 году старшiй изъ нихъ, Николай, поступилъ въ факультетъ физико-математическiй, а младшiй, Петръ, едва 16 лѣтъ отъ-роду, въ факультетъ философско-юридическiй, конечно,—не по любви къ юриспруденцiи, а по необходимости: онъ не зналъ языковъ ни древнихъ, ни новыхъ настолько, чтобы слушать курсъ въ факультетѣ историко-филологическомъ. Къ такому извороту прибѣгали тогда многiе: тогда и не въ одной Тобольской гимназiи оканчивали курсъ съ такимъ запасомъ познанiй. И такъ, на первомъ же шагу къ высшему образованiю, талантъ попадаетъ, по необходимости, не на свою дорогу. Что дѣлать? — въ то-гдашней молодости, могъ и онъ думать: „Ничего!

Вороти назадъ!

Держи около!....»

Въ большой сборной комнатѣ университета, — помѣщавшагося, въ то время, близъ Ямской, на углу Кабинетской и Фуражной, нынѣ Звѣнигородской, улицъ, въ очень неблаго-видномъ зданiи снаружи и внутри,—оба брата Ершovy, приходившiе аккуратно въ университетъ, становились подлѣ входной двери, у окна, съ книгами и тетрадями подъ мышкой. Оба—средняго роста, старшiй выше младшаго, худощавые. Нельзя было не замѣтить ихъ постоянно на одномъ мѣстѣ, до начала лекцiй. Особенно замѣтенъ былъ Петръ Ершовъ: это была сибирская дѣвственная натура, хранящая въ себѣ какiя-то драгоцѣнности. Спокойнымъ днемъ мая представлялось лице его, блѣдноватое, безъ румянца; темные волосы слегка закручивались на широкомъ лбу и на вискахъ; носъ небольшой; брови дугой подымались надъ его добродушными глазами, изъ которыхъ глядѣли мысль и фантазiя; зрачки глазъ были небольшiе, голубые; голова, на довольно широкихъ плечахъ, всегда наклонена немного впе-

редъ *. Стоя на своемъ мѣстѣ, Петръ Ершовъ поглядывалъ изъ-подлобы на ходившую взадъ и впередъ толпу молодежи. Въ то время начали поступать въ университетъ и сыновья нѣкоторыхъ высшихъ сановниковъ, нѣкоторыхъ богатыхъ людей; около нихъ вились иногда заискивавшіе ихъ знакомства. Ершovy уклонялись почти отъ всѣхъ, держали себя какъ незнакомые никому пришельцы. Петръ Ершовъ и до конца своей жизни держался особнякомъ, избѣгалъ людей, рвущихся, хоть нѣсколько, къ наружному блеску, или неполнѣ откровенныхъ, или откровенныхъ въ предметахъ, бывшихъ не по душѣ ему. А міръ души его былъ—поэзія, литература, шутки, подсмѣиванье надъ людскими слабостями; отъ выходокъ политическихъ, религіозныхъ, даже отъ рѣзкихъ порицаній кого-либо онъ рѣшительно уклонялся безмолвіемъ или перенесеніемъ разговора на другой предметъ.

Съ мѣста своего, у окна въ сборной комнатѣ, Ершовъ сходилъ только, когда являлся профессоръ; за нимъ, позади всѣхъ прочихъ студентовъ, шелъ въ аудиторію и онъ и укромно садился обыкновенно на одной изъ послѣднихъ скамеекъ, возлѣ того, кто былъ ему полюбезнѣе. Поэтъ, жажущій разрѣшенія вопросовъ, зарождавшихся въ душѣ его, жажущій познаній по программѣ, еще надолго, можетъ быть, невыработанной, съ какимъ вниманіемъ слушалъ онъ сухое преподаваніе законовѣдѣнія; а на лекціяхъ философіи, преподававшейся чуть не на всѣхъ возможныхъ языкахъ, а на русскомъ—ломанномъ, оставшихся для слушателей совершенно безслѣдными, если не пожалѣть о потерянномъ для нихъ времени, онъ оставался только на минуты переключки студентовъ, производимой тогда почему-то, какъ бы въ наполненіе лекціи, профессоромъ, и затѣмъ тотчасъ же уходилъ домой къ своему любимому чтенію русскихъ писателей, вообще литературныхъ произведеній и книгъ религіоз-

* Живо представляя себѣ обликъ тогдашняго Ершова, мы не угадаемъ его въ приложенномъ къ нашей книгѣ портретѣ; а портретъ, по отзыву близкихъ родныхъ его, очень схожъ съ нимъ, въ послѣднее время его жизни.

нихъ: здѣсь создавалъ онъ самъ себѣ школу—саморазвитія. Коротко, изъ подшучиванья надъ приемами нѣкоторыхъ тогдашнихъ преподавателей замѣтно было, какъ немного Ершовъ черпалъ изъ ихъ лекцій. Впрочемъ, къ тому времени, а можетъ быть, и не къ одному тому, можно примѣнить стихъ Пушкина:

«Мы всѣ учились понемногу
Чему нибудь и какъ нибудь».

Да, вѣдь и Вальтеръ-Скоттъ считался слабымъ и ничего необѣщавшимъ ученикомъ. Такимъ студентомъ остался Ершовъ до самаго окончанія курса, съ степенью кандидата, чему отчасти содѣйствовалъ, кажется, и слѣпой случай: такъ напр., наканунѣ экзамена изъ русскаго уголовного права, Ершовъ приготовился твердо только на одинъ вопросъ, и, въ день экзамена, ему достался именно этотъ вопросъ для отвѣта.

За годъ до окончанія обоими братьями курса наукъ, отецъ ихъ, по служебнымъ дѣламъ, отправился, вмѣстѣ съ женою, въ Херсонъ, откуда, чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, старушка возвратилась — вдовою; сыновья остались безъ отца. Это горе усиливалось еще тѣмъ, что средствъ къ поддержанію существованія осталось немного. Но Ершovy, покорные Промыслу, выдержали горе: у старушки-матери передъ глазами — двѣ опоры, а у этихъ опоръ-сыновей — молодость и прекрасная твердая нравственность.

Изъ немногихъ товарищей-студентовъ, посѣщавшихъ Петра Ершова, особенно сблизился онъ съ В. А. Т—борномъ, молодымъ человѣкомъ, очень наивнаго характера. Необходимо ознакомить читателя съ характеристикой Т—борна. Ершовъ полюбилъ его и остался съ нимъ въ самыхъ откровенныхъ сношеніяхъ во всю жизнь. Вотъ какъ характеризуетъ его самъ Ершовъ, въ первомъ къ нему письмѣ изъ Тобольска, отъ 16 октября 1836 года. „Тысячу, сто тысячъ разъ благодарю тебя, мой милый Владиміръ, за сердечное письмо твое. Не зная, не вѣдая, а только догадываясь о

моемъ приѣздѣ на мѣсто, ты пишешь за 3000 верстъ—Богъ знаетъ куда, Богъ знаетъ къ кому, и еще просишь извиненія въ своей медленности! Нѣтъ, не ты, а я долженъ просить прощенія, за то что смѣлъ сомнѣваться въ твоихъ чувствахъ. Но это въ сторону: ты великодушно наказалъ меня милымъ твоимъ посланіемъ. Итакъ ты все такой же славный малый, беззаботный весельчакъ, поэтъ шутокъ и знакомецъ цѣлаго Петербурга; попрежнему выдумываешь занятія, и никогда ничѣмъ не занимаешься. Да, я увѣренъ, что и новый 1837 годъ пройдетъ такъ же для тебя, какъ и предшествующіе, т. е. въ однихъ проектахъ и много если въ четвертномъ исполненіи. Да оно и лучше! Что хлопотать изъ пустяковъ! Живи, шути, влюбляйся въ танцахъ и танцуй отъ любви. „А слава?“ — скажешь ты. Вотъ вздоръ какой! Ни одинъ изъ искателей славы не получилъ ее; а кому судьбой назначено быть славнымъ, къ тому она сама завернетъ“.... Эта выписка можетъ служить также образчикомъ нѣжныхъ чувствъ и игривости характера тогдашняго Ершова. Сошедшій съ этимъ товарищемъ на лекціяхъ, Ершовъ охотно проводилъ съ нимъ время въ шуткахъ, въ прогулкахъ, въ легкомъ чтеніи, въ разсказахъ, большею частію, юмористическихъ, шуточныхъ, которые лились у него легко; иногда, если Т—борнъ ночевалъ у Ершова, послѣдній, улегшись уже въ постель, разсказывалъ ему сказки, между прочими, и про „Конька-Горбунка“. Но и этому товарищу онъ не говорилъ, что самъ пишетъ сказку: не по какой-либо расчетливой прихоти поступилъ онъ такъ, а, безъ сомнѣнія, по своимъ правиламъ—не открывать никому, до окончанія, предпринятаго, и хранилъ тайну свято. Дочего сблизился Ершовъ съ Т—борномъ, въ то время, несмотря на окружавшія его замѣчательныя личности, показываютъ и нѣсколько строкъ, написанныхъ имъ, въ 1835 году, въ альбомѣ его:

Вступая въ свѣтъ неблагодарный
И видя скорби, я ропталъ;
Но мой хранитель свѣтозарный
Мнѣ, въ утѣшеніе, сказалъ:

«Есть два спутника межъ вами;
«Они возьмутъ тебя въ свой кровь;
«Они усыпляютъ путь цвѣтами;
«Зовутъ ихъ—дружба и любовь.»
И я съ сердечною тоскою
Пошелъ сихъ спутниковъ искать....
Одинъ предсталъ ко мнѣ съ тобою,
Другаго, можетъ, не видать.

Мое сближеніе съ Ершовымъ началось со времени появленія сказки его. Въ 1834 году, бывшій профессоромъ на кафедрѣ русской словесности, П. А. Плетневъ прочелъ, на лекціи, первую часть, написанной студентомъ Ершовымъ, сказки: *Конекъ-Горбунокъ*. Мы были заинтересованы, обрадованы неожиданнымъ явленіемъ, хотя, казалось, нельзя было не ожидать отъ загадочнаго Ершова чего-то необыкновеннаго. При всѣхъ изъясненіяхъ интереса, Ершовъ не измѣнился противу прежняго, оставался скромно улыбающимся, молчаливымъ особнякомъ, но—ничѣмъ болѣе и не отталкивалъ отъ себя. Въ этомъ къ нему очень можно было примѣнить мысль, выраженную въ стихотвореніи „Поэтъ“ Веневитинова, котораго сочиненія онъ очень любилъ:

И снова тихъ онъ, и стыдливый
Къ землѣ онъ опускаетъ взоръ,
Какъ будто-бъ слышалъ онъ уворъ
За невозвратные порывы.

Вскорѣ первая часть сказки была напечатана, какъ мы уже упомянули, въ журналѣ „Библіотека для чтенія“. За этотъ отрывокъ Ершовъ получилъ отъ издателя журнала, А. Ф. Смирдина, кажется, 500 руб. ассигнац. Эти деньги приписались ему тогда очень кстати.... Вслѣдъ затѣмъ сказка, *Конекъ-Горбунокъ*, издана была въ цѣломъ, отдѣльною книжкой. Донныя многіе вспоминаютъ, съ какою жадностью читали они ее на школьныхъ скамейкахъ и повсюду; какъ стихи изъ нея цѣлыми страницами легко укладывались

въ ихъ памяти; какъ инымъ даже доставалось отъ начальства, зато, что у нихъ въ рукахъ *не учебная-молъ* книга; и все же сказка читалась и читалась, какъ будетъ читаться еще долго.

Въ это же время, лѣтомъ, 1834 года, оба брата Ершовы кончили курсъ университетскій; но чрезмѣрные занятія свели старшаго брата, прекраснаго молодого человѣка, отличнаго кандидата по математическому факультету, въ могилу. Петръ Ершовъ былъ сильно пораженъ этою, новою по смерти отца, горестію—преждевременною смертію единственнаго и горячо любимаго имъ брата. Въ упомянутомъ *Посланіи къ другу*, вылившемся изъ молодого сердца поэта, становится понятною эта горестъ. Здѣсь же Ершовъ почти провѣщалъ и будущность свою. Вотъ эти строки—слезы сердца и вдохновеннаго провидѣнія:

И все, что сердцу было ново,
Что вновь являлося очамъ,
Дѣлилъ я съ братомъ пополамъ.
И недоувѣрчивый, суровый,
Онъ оцѣнилъ меня. Со мной
Онъ не скрывалъ своей природы.
Горя прекрасною душой,
При звукахъ славы и свободы,
Онъ мнѣ довѣрилъ тайну силъ
Души-волкана; онъ открылъ
Мнѣ лучшія свои желанья.
Свои завѣтныя мечты,
И цѣль—по терніямъ страданья—
Въ лучахъ небесной красоты.
Не зная лучшаго закона,
Какъ—чести, славы и добра,
Онъ росъ при ѣмени Петра,
Горѣлъ на звукъ Наполеона.
Какъ часто, въ пламенныхъ мечтахъ,
Онъ улетаелъ на берегъ дальній,
Гдѣ спитъ воитель колоссальный

Въ вѣнцахъ побѣды и въ цѣпяхъ.
О, еслибъ видѣлъ ты мгновеніе,
Когда безстрашныхъ твердый строй
Шагалъ съ музыкой боевой:
Онъ весь былъ жизнь, весь вдохновенье!
Прикованъ къ мѣсту, онъ дрожалъ,
Глаза сверкали пыломъ боя....
Казалось, славный духъ героя
Надъ нимъ невидимо леталъ!
Но онъ угасъ во цвѣтѣ силы;
И съ нимъ угасла жизнь моя,
И въ мракѣ братнія могилы
Зарылъ завѣтное все я.
Я охладѣлъ къ святымъ призваньямъ;
Моя измученная грудь
Жила еще однимъ желаньемъ—
Скорѣе съ братомъ отдохнуть.
Но духъ отца напомнилъ слово—
Завѣтъ послѣдній бытія:
Я возвратился къ жизни снова;
Но—что за жизнь была моя!
Привязанъ къ персти силой крови—
Любовью матери моей,
Я рвался въ небо, въ край любви,
Въ обитель тихую тѣней.
Но мнѣ отказано въ желаньи,
Я долженъ мучиться и жить,
И дорогой цѣной страданья
Грѣхъ малодушья искупить.
Я измиралъ на язвахъ муки,
И голосъ сердца заглушалъ;
О, какъ тогда въ святыя звуки
Я перелить его желалъ!
Но для чего? Кому-бъ повѣрилъ
Святую исповѣдь души?
Кто-бъ изъ чужихъ ее измѣрилъ?...
Одинъ, въ полуночной тиши,

Склонясь къ холодному столу,
Я безнадежно, плакалъ кровью
И раны сердца раздиралъ ...

Въ числѣ немногихъ товарищей — тогда были каникулы: и немногіе оставались въ городѣ — пришелъ и я, вмѣстѣ съ Т-борномъ, проводить усопшаго. Ершовъ отъ души благодарилъ за участіе и, при разставаньи, грустный, пожимая руку, приглашалъ навѣщать его. Съ этого дня завязалось наше дружеское знакомство.

Ершовъ жилъ, въ Петербургѣ, вмѣстѣ съ своею старушкою матерью, на Пескахъ, по шестой улицѣ, въ небольшомъ деревянномъ одноэтажномъ домѣ. Внутреннее помѣщеніе и меблировка покоевъ соответствовали крайней необходимости и ничтожнымъ средствамъ обитателей; порядокъ и опрятность были возможны; шкафъ съ книгами былъ, а библіотека — въ библіотекѣ Смирдина, гдѣ Ершовъ бралъ книги для неутоимой жажды чтенія; но книги религіозныя, въ которыя онъ любилъ погружаться, старался укрывать отъ любопытныхъ. Когда имя Ершова сдѣлалось извѣстнымъ, около него стали собираться и нѣкоторые изъ литераторовъ и музыкантовъ, но и здѣсь опять тѣ, съ которыми онъ могъ сливаться душевно. По желанію знакомцевъ своихъ, извѣстныхъ въ то время въ музыкальномъ мірѣ, онъ написалъ нѣсколько либретто оперъ, которыя, однако, остались неосуществленными; а сочиненіе этихъ либретто занимало его до увлеченія. Одно изъ этихъ либретто, подъ названіемъ: *Страшный мечъ. Большая волшебнo-герoическая опера, въ пяти дѣйствіяхъ*, написано очень обдуманно и, по нашему мнѣнію, достойно бы труда композитора гениальнаго: въ немъ фантазія живая; много чувства, страсти; стихи мастерскіе; заключительная патріотическая пѣснь пѣвца, Баяна, которую онъ предназначалъ незабвенной пѣвицѣ, г-жѣ Воробьевой *, могла бы, при соответственной музыкѣ, привести публику въ восторгъ **. Въ бесѣдахъ, ограничивавшихся раз-

* Впослѣдствіи — Петрова, бывшая актриса въ русской оперѣ.

** Жаль, что это либретто остается неизвѣстнымъ музыкальному міру, какъ ненапечатанное.

сказами о прочитанныхъ произведеніяхъ литературныхъ, о музыкѣ и композиторахъ, Ершовъ никогда не пускался въ критику или хоть въ долгій разборъ произведенія, довольствовался только выраженіемъ впечатлѣнія, произведеннаго на него созданіемъ. Происходило ли это отъ непривычки къ критическому разбору, отъ недостаточнаго развитія въ немъ взгляда всесторонняго и критическаго вособенности, или оттого, что онъ не рожденъ былъ съ критическимъ взглядомъ; но—онъ умѣлъ постигать и изящное и уродливое. „Прекрасно!“ или „чортъ знаетъ, какая гадость!“ вотъ чѣмъ рѣшалъ онъ вопросы о достоинствахъ произведенія, съ восторгомъ припоминая, въ первомъ случаѣ: „Какъ это хорошо!—А какъ это прелестно! превосходно! чудо!“ и снова носился въ своемъ любимомъ мірѣ фантазіи. О Шекспірѣ онъ отзывался въ то время такъ: „Я читалъ, читалъ его, да оставилъ: кчему преждевременно охлаждать себя?...“ Вообще бесѣды его никогда не имѣли вида ученаго, а болѣе—молодаго поэта въ душѣ. Наши откровенныя бесѣды происходили, когда мы были съ нимъ наединѣ.

Въ то время я много занимался игрою на фортепьяно, даже, какъ молодой человѣкъ, порывался къ композиторству. Ершовъ охотно пускался со мною въ разговоры о музыкѣ, припоминалъ замѣчательное въ жизни артистовъ, съ увлеченіемъ говорилъ иногда — какъ хорошо представить бы въ оперѣ ту или другую сцену, какую припоминалъ въ жизни необыкновенныхъ лицъ или въ исторіи. Онъ и самъ сталъ заниматься изученіемъ игры на флейтѣ, и, какъ увидимъ, съ особенною цѣлью: онъ говаривалъ о флейтѣ: „этотъ инструментъ тѣмъ хорошъ, что его можно уложить въ карманъ, а на прогулкахъ гдѣ нибудь, въ отдаленномъ мѣстѣ, пріятно потѣшить себя“. Слабая грудь его противилась этому занятію.

Ершовъ встрѣчалъ самымъ живымъ искреннимъ чувствомъ каждое прекрасное произведеніе. Както зимою, въ сумерки, пришелъ я къ нему. Онъ былъ одинъ въ неосвѣщенной комнатѣ, сидѣлъ на низенькой скамейкѣ передъ топившеюся печкой. „А я тутъ по-сибирски руки грѣю“, ска-

заль онъ, протягивая мнѣ руку. „Иные не такъ нагрѣваютъ себѣ руки“, замѣтилъ я съ усмѣшкой. Ершовъ, ничего не возразивъ на это, какбы не желая нарушить своего счастливаго настроенія, продолжалъ: „А вотъ, читаль ли ты это?“ и началъ декламировать съ полнымъ одушевленіемъ:

Отвсюду объятый равниною моря,
Утесъ гордо высится;—мраченъ. суровъ.
Незыблемъ стоитъ онъ, въ могуществѣ. споря
Съ прибоемъ волнъ и съ напоромъ вѣковъ...

Заинтересованный съ первыхъ же строкъ этого стихотворенія, я не могъ не раздѣлять увлеченія Ершова. „Чье это?“ спросилъ я, едва онъ кончилъ. Не отвѣчая мнѣ, въ жару удовольствія, онъ продолжалъ: „А вотъ это?“ и опять сталъ декламировать:

Небо полночное звѣздъ мириадами
Взорамъ безсоннымъ блестить;
Дивный вѣнецъ его свѣтитъ Плеадами,
Альдебараномъ горить...

Наконецъ засвѣтилъ свѣчу и показалъ мнѣ только что вышедшую тогда небольшую книгу стихотвореній В. Г. Бенедиктова. Вечеръ прошелъ въ чтеніи ихъ и въ разговорахъ, занимавшихъ воображеніе и фантазію Ершова. На другой день, въ книжномъ магазинѣ, желая приобрѣсть экземпляръ стихотвореній Бенедиктова, встрѣтился я съ Ершовымъ. „Вотъ, молодецъ!“ привѣтствовалъ онъ меня, съ радостію пожимая мнѣ руку.

Казавшееся Ершову возможнымъ почти было дѣломъ, за которое надобно только приняться. Правда, это *казавшееся* никогда не заходило за предѣлы возможнаго и обнаруживало въ немъ какую-то наивность и прекрасное желаніе направить силы свои или кого другаго, въ комъ замѣчалъ ихъ, на предметы или дѣйствія возвышенные, достойные, чуждые корысти, мелкихъ почестей. Такъ однажды показываетъ онъ мнѣ стихотвореніе, въ рукописи, своего пріятеля, Е. П. Гребенка, на малороссійскомъ языкѣ: *Украинская мелодія*. „Напиши музыку на эти слова“, сказалъ онъ такъ спокойно,

будто предлагалъ это дѣло извѣстному композитору.— „Да какъ же я напишу, если не знаю ни аза изъ этого синтаксиса, не знаю генераль-баса?“ — „Ну, вотъ, кчему тутъ генеральскій басъ; просто, какъ чувство твое говоритъ, такъ и пиши.“ — „Но я еще не испытывалъ себя въ этомъ, а нотъ пѣнія и не вѣдаю.“ — „Да что, ну просто—попытайся“.... Ершовъ говорилъ такъ дружески-ободрительно, что мнѣ вздумалось угодить ему, насколько возможно. „Ну, попытайтесь—пожалуй!...“ Въ самомъ дѣлѣ, піеска, хотя и первая моя попытка, вышла несовсѣмъ неудачною, понравилась моимъ знакомымъ; Гребенка былъ ею очень доволенъ, а Ершовъ отзывался объ одномъ мотивѣ, по-своему, что его морозъ пробралъ, когда онъ слушалъ этотъ мотивъ въ первый разъ.— Композиторомъ, ни даже музыкантомъ я не сдѣлался, и мои занятія музыкою, среди служебныхъ и иныхъ занятій, давно прекратились, но я упоминаю объ этомъ случаѣ для того только, чтобы провести характеристическую черту Ершова, въ первой его молодости,—какое могъ бы онъ имѣть вліяніе на иныхъ впослѣдствіи и чего можно бы ожидать отъ него?—Особенно нельзя, безъ тяжелаго чувства, вспомнить, что не осуществился его громадный замысль, осуществленіе котораго было бы возможно для него и, можетъ быть, подарило бы русской литературѣ такое произведеніе, которое прибавило бы яркій лучъ къ славѣ ея. Когда мы въ откровенныхъ бесѣдахъ сблизились съ нимъ болѣе, онъ, неохотно открывавшій свои тайные замыслы, сказалъ мнѣ однажды, по поводу рѣчи о его *Конекъ-Горбунѣ*, съ нѣкоторою, однакожъ, сдержанностію: „Я думаю изъ всѣхъ русскихъ сказокъ составить одну, въ родѣ поэмы, гдѣ главнымъ героемъ будетъ *Иванъ-Царевичъ*.“ — Ни объ идеѣ, ни о развитіи этой сказки-поэмы онъ не распространялся, сберегая, казалось, все это въ душѣ своей... Конечно, это былъ замысль молодого двадцатилѣтняго человѣка, но кто жъ не увидитъ въ немъ замысла геркулесовскаго, а *Конекъ-Горбунѣ* можетъ служить несомнѣннымъ задаткомъ возможности осуществленія такого замысла...

Ершовъ горячо любилъ свою родину, Россію; съ жаромъ

возставалъ, при каждомъ случаѣ, за народъ православный, но всегда коротко, отрывисто, а отъ беспощадныхъ нападковъ на нашего простолюдина рѣшительно отворачивался, какъ отъ невѣжества.—Замѣтимъ мимоходомъ, что вообще рѣзкія уклоненія, при его печальной обстановкѣ, разрослись въ послѣдствіи до обособленности, которая очень вредила ему между людей, среди которыхъ довелось жить.—Сибирь, колыбель его, преимущественно занимала его мысли. „Что ты думаешь предпринять?“ спросилъ онъ меня однажды.— „Покуда—необходимо поступить на службу, а тамъ—что Богъ дастъ!...“ Передъ моимъ приходомъ, Ершовъ занятъ былъ чтеніемъ какого-то путешествія; въ головѣ его роились мысли тоже, казалось, путешественническія. „А ты, продолжалъ я, все не намѣренъ отказаться отъ поѣздки въ Сибирь? Желаетъ собрать побольше сказокъ?“—„Нѣтъ, это—что, говорилъ онъ; созвать побольше старухъ, такъ вотъ и сказки. Нѣтъ, у меня другая цѣль!...“ Нѣкоторыя сохранившіяся у насъ замѣтки объ этомъ случаѣ даютъ возможность воспроизвести тогдашній нашъ разговоръ почти дословно,—разговоръ двухъ молодыхъ товарищей, только что со школьной скамьи, разговоръ—не безъ значенія для характеристики тогдашняго Ершова.—Видя, что онъ упорствуетъ въ своемъ намѣреніи, я,—послѣ минутнаго взаимнаго молчанія, въ которомъ Ершовъ, казалось, съ наслажденіемъ глядѣлъ на что то въ будущемъ,—вздумалъ высказать и свои желанія: „Можетъ быть, мы съ тобою тамъ увидимся...“ Съ изумленіемъ посмотрѣвъ на меня, Ершовъ спросилъ: „Какъ?“— „Да, вотъ такъ, какъ есть, отвѣтилъ я простодушно. Мнѣ хочется погулять по *святой Руси*, такъ можетъ быть и туда загуляю...“ Разговоръ прерванъ былъ на нѣсколько минутъ посѣтителемъ, по уходѣ котораго Ершовъ, сѣвъ опять возлѣ меня, началъ, въ какомъ-то восторженномъ настроеніи: „Нѣтъ, у меня цѣль важная!... Я хочу путешествовать по Сибири.“—„Ты желаешь описать ее?“—„Да; по крайней мѣрѣ—сколько возможно. Соберется насъ, можетъ быть, нѣсколько человѣкъ... Вотъ, не хочешь ли?...“ Кто, въ молодости, не создавалъ себѣ различныхъ плановъ и не вѣрилъ

въ осуществленіе ихъ! Неожданное открытіе Ершова, согласное, отчасти, съ моими желаніями, заинтересовало меня. „Да, я не совсѣмъ чуждъ этого, отвѣтилъ я съ раздумьемъ. Но, братъ, какія же средства, для путешествія въ такомъ краѣ, какъ Сибирь?...“ „О средствахъ—послѣ. Я потому предложилъ тебѣ это, что вижу,—ты все желаешь новаго... Ужъ одинъ, бывшій нашъ университетскій товарищъ, Т—скій, рѣшительно согласился. Онъ, недокончивъ курса, перешелъ, по собственному желанію, въ морской корпусъ, гдѣ необыкновенно отличился: юнкеромъ ходилъ уже въ офицерскій классъ, а теперь въ Америкѣ, на службѣ въ американской компаніи. И вотъ!...“ Приэтомъ Ершовъ положилъ свой указательный палецъ на столъ, за которымъ мы сидѣли на диванѣ. „Что это?“ спросилъ я.—„Посмотри...“ Я увидѣлъ на пальцѣ черное металлическое изъ розъ кольцо, съ серебряною пластинкою, на которой изображены буквы M. V.—„Mors et Vita, на жизнь и смерть!“ произнесъ онъ торжественно. „Посмотри, пожалуй, и внутри.“ Онъ снялъ кольцо и подаль мнѣ. На внутренней сторонѣ обручика вырѣзаны были число, мѣсяцъ и годъ, когда они оба, по объясненію Ершова, рѣшительно согласились на путешествіе по Сибири.—Воображаю себѣ эту торжественную минуту для Ершова; Т—скаго я мало зналъ.—„Объясни, въ чемъ дѣло?“ спросилъ я.—„Только, согласишься ты, или нѣтъ, но ни слова объ этомъ никому!...“ „Будь спокоенъ...“ Ершовъ, въ дополненіе къ объясненію о будущемъ спутникѣ своемъ, Т—скомъ, прочиталъ мнѣ нѣсколько строкъ его письма изъ Америки, въ которомъ послѣдній дружески извѣщалъ его объ успѣхахъ своихъ въ физикѣ, астрономіи и вообще во всемъ томъ, что считалъ необходимымъ для предпринимаемаго путешествія.--Одушевленная рѣчь Ершова болѣе и болѣе интересовала меня; но я не могъ оторваться и отъ собственныхъ своихъ желаній. Послѣдствія показали, какъ напрасны были порывы того и другаго изъ насъ.—„Не даю тебѣ, сказалъ я, слова, но—можетъ быть...“ —„Да, еслибъ ты согласился такъ скоро, то это заставило бы меня поусомниться; притомъ же путешествіе предполагается начать только чрезъ пять лѣтъ...“ —

„Видишь, сказалъ я, мое намѣреніе было—пойти сперва по Европѣ. Я говорю *пойти*, потому что *пойхать* не на что; а по Европѣ ходили уже многіе безъ денегъ. А потомъ уже, сколотивъ копейку, пойти по Россіи. Цѣли у меня опредѣленной, пока, нѣтъ: мнѣ хочется видѣть природу и нравственный міръ людей; взглянуть на все такъ *препрославленное* за границею, и потомъ, какъ бы для сличенія, посмотреть наше отечество. Для чего все это, я еще не знаю. Можетъ быть, даже, это—одна мечта; но желаніе мое сильное!..“ Ершовъ, не отвергая моей мысли вовсе, говорилъ о красотахъ сибирской природы, присовокупивъ, что въ Европѣ онѣ уже болѣе искусственны или закрыты промышленностію; говорилъ о благѣ, какое можно доставить нѣкоторымъ бѣдствующимъ сибирскимъ племенамъ, извѣдавъ ихъ подробно и сообщивъ свѣдѣнія и планъ, какъ помочь имъ, правительству. „Примутъ, не примутъ,—мы свое дѣло сдѣлали!“ прибавилъ онъ; говорилъ о славѣ, которая ждетъ насъ, если предпріятіе удастся; „если же не удастся, замѣтилъ онъ,—то, по крайней мѣрѣ, мы будемъ имѣть богатый запасъ свѣдѣній на будущіе дни нашей жизни. Мы будемъ въ этомъ путешествіи независимы ни отъ кого, а по окончаніи, поселимся гдѣ нибудь, и до насъ никому дѣла не будетъ!..“ Счастливая молодость! Разогрѣвшись отъ словъ и восторженности Ершова, я, естественно побуждаемый юношескими желаніями, выразился: „Да, меня преслѣдуетъ неотступно мысль о приобрѣтеніи свѣдѣній для будущаго времени; то, что я доселѣ видѣлъ, узналъ, такъ ничтожно! Мнѣ все хочется собрать побольше свѣдѣній, какъ можно побольше, ужъ для чего, не знаю...“ „Ну какъ—продолжалъ въ жару Ершовъ—бывало, отецъ ѣдетъ по дѣламъ службы; я, еще маленький, на колѣнахъ прошу, чтобы взялъ меня съ собою. Сегодня ночью я видѣлъ во снѣ одного, который теперь учителемъ въ Сибпри, который, вѣрно, согласится также поѣхать съ нами. О немъ я давно уже и не вспоминалъ. Говорю ему: пойдешь съ нами? Онъ подаль мнѣ руку—изволь!..“ При этомъ Ершовъ прослезился. „Онъ такой мнѣ другъ, что хотя мы уже лѣтъ шесть не видались, а какъ свидимся, то

безъ слезъ не обойдется!...“—„Замыселъ чудный! сказалъ я, но...“—„Да ужъ коли на то пошло, проговорилъ Ершовъ, такъ—и вскочивъ съ мѣста, бросился въ смежную комнату, гдѣ изъ подъ подушки своего спальнаго дивана вытащивъ тетрадь, принесъ ее,—вотъ это дневникъ, въ который я записываю все, что нужно для нашего путешествія...“ Онъ прочиталъ нѣсколько страницъ изъ него: въ немъ набросанъ былъ планъ путешествія; предполагалось, между прочимъ, собираться всѣмъ на-зиму въ одинъ городъ, а на-лѣто разъѣзжаться; чрезъ годъ начать издавать журналъ приобретенныхъ каждымъ членомъ свѣдѣній и т. п.; свѣдѣнія требовались по исторіи, географіи, физикѣ, бытовни и др. „Свѣдѣній будетъ вдоволь, прибавилъ Ершовъ—подписка на журналъ доставитъ новыя средства...“ Предварительно обязывался каждый членъ пересмотрѣть источники, какіе есть, для ознакомленія съ Сибирью. „Т—скій, сказалъ Ершовъ, общалъ привестъ изъ Америки шкуну, для хода по водамъ, гдѣ можно...“ Ершовъ, увлеченный своимъ предпріятіемъ, еще много говорилъ о дѣвственной сибирской природѣ, о чудномъ климатѣ Сибири, о маломъ вниманіи къ ея богатствамъ по всѣмъ царствамъ природы, даже сказалъ, что и флейтой занимается собственно съ цѣлію—пользоваться ею во время путешествія; „ты—прибавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—могъ бы быть полезенъ, и какъ музыкантъ, при собираніи туземныхъ пѣсенъ“; наконецъ, прочиталъ мнѣ стихотвореніе, написанное имъ на разлуку съ Т—скимъ, при отъѣздѣ его въ Америку. Приводимъ отрывокъ изъ этого стихотворенія, выражающій благородныя побужденія молодого двадцатилѣтняго человѣка:

.
Ударявъ дружно руки въ руки,
Мы усладимъ прощальныйъ часъ
И горечь долгія разлуки,
Судьбой положенной для насъ.
Къ чему роптать? — Законъ небесный
Насъ къ славной цѣли предъизбралъ,

И онъ же намъ, въ странѣ безвѣстной,
Ту цѣль въ разсвѣтѣ указалъ.
Какая цѣль! — Пустыни, степи
Лучомъ гражданства озарить,
Разрушить умственные цѣпи
И человѣка сотворить.
Раскрыть покровъ небесъ полныхъ,
Богатства выпросить у горъ,
И чрезъ кристаллы водъ восточныхъ
На дно морское кинуть взоръ.
Подслушать тайныя сказанья
Лѣсовъ дремучихъ, скалъ сѣдыхъ,
И вырвать древнія преданья
Изъ устъ кургановъ гробовыхъ.
Воздвигнуть падшіе народы,
Гранитну лѣтопись прочесть,
И въ славу витязей свободы
Колоссъ подоблачный вознестъ.
Въ защиту правыхъ, въ казнь неправымъ,
Глаголъ на Азію простерть,
Обвить моря орломъ двуглавымъ
И двинуть въ нихъ и жизнь и смерть.
Такая цѣль!... Мой другъ, ужели,
Себѣ и чести измѣнивъ,
Мы отбѣжимъ отъ славной цѣли
И сдержимъ пламенный порывъ?
Ужель, забывъ свое призванье
И охладивъ себя вконецъ,
Мы, въ малодушномъ ожиданьи,
Дадимъ похитить свой вѣнецъ?...
Нѣтъ! нѣтъ!.....
Влеченью высшему послушны,
Мой другъ, оставимъ малодушныхъ,
Съ ихъ цѣлью жизни мелочной,
Съ самолюбивымъ ихъ расчетомъ,
Изнемогать подъ вольнымъ гнетомъ
И смыться темною волной.

Не охладимъ святаго рвенія;
Пойдемъ, съ надеждою, впередъ.
И если... пусть! Но шумъ паденья
Миліоны робкихъ потрясетъ.

Разставаясь, въ этотъ разъ, съ нимъ, я горячо благодарилъ его за довѣріе. „Думай объ этомъ дома, думай болѣе“, сказалъ онъ, крѣпко сжимая мою руку. — Планъ, съ его благими цѣлями для человѣчества, съ его независимостію, съ блестящею славою, былъ для меня, въ ту пору молодости, привлекателенъ; но какъ онъ еще въ колыбели, а между тѣмъ, и съ собственными желаніями, даже грезами, кому же легко разставаться, на зарѣ дней; а тутъ еще — обыденная сторона жизни, необходимая служба, съ ея обстановкой, скоро стали мнѣ убѣдительно подсказывать, что и Ершовъ будетъ принужденъ разстаться съ своимъ обаятельнымъ планомъ; что это — плоды его, пока независимой, одинокой жизни, прелестныя мечты его молодой, неопытной души.

При новомъ свиданіи, чрезъ нѣсколько дней, заговорили мы както о дневникахъ. „Я — сказалъ Ершовъ — долго велъ дневникъ; да какъ пересмотрѣлъ его, такъ и самъ испугался, и сжегъ его: все только одно идеальное. Однакожь, теперь стану записывать; съ новаго года сдѣлаю планъ и примусь. А ты ведешь дневникъ?“ спросилъ онъ меня. „Да, но не въ порядкѣ; иногда нѣсколько времени пропушу, да потомъ и припоминаю все на бумагѣ.“ — „Что жъ, и тотъ разъ записалъ? Помнишь — нашъ разговоръ (о путешествіи)?“ — „Нѣтъ еще, но запишу...“ Ершовъ слегка нахмурился. Впослѣдствіи онъ уже рѣдко упоминалъ о своемъ путешествіи; а мнѣ оно болѣе и болѣе представлялось неосуществимымъ. Послѣдующее покажетъ, что все это надо было отнести къ области мечтаній. Но — и планъ Колумба могъ бы надолго еще считаться мечтою...

При такихъ порывахъ и направленіяхъ, какая жизнь могла бы развернуться!... Для ученаго, кабинетнаго труда, требующаго долгихъ изслѣдованій, томительной разработки, глобальныхъ измышленій, Ершовъ, повидимому, не былъ созданъ;

онъ даже не только не помышлялъ о спеціальномъ ученѣ трудѣ, хотя благоговѣлъ предъ нимъ, но еще съ дѣтскимъ смѣхомъ говорилъ: „Я кандидатъ университета, а не знаю ни одного иностраннаго языка“, и почти не заботился объ изученіи ихъ. Да и какъ было теперь заботиться ему, при подготовкѣ дома—безъ средствъ, въ училищѣ—безъ способъ, а въ настоящую пору—при заплывшей въ груди дѣятельности? Конечно, обиліе матеріаловъ, носимыхъ имъ въ душѣ, довольствовало его, какъ и иныхъ величайшихъ поэтовъ. Никогда, однакожъ, незамѣтно было въ немъ заносчивости, гордости, что онъ поэтъ, авторъ. Словомъ, Ершовъ, въ Петербургѣ, только подростъ во всемъ томъ, съ чѣмъ прибылъ изъ Сибири, — онъ былъ пѣжная, благородная натура, съ самыми честными правилами, душа его полна лучшихъ порывовъ и силъ творческихъ, полна поэзіи. Пока самымъ замѣчательнымъ созданіемъ его явилась сказка, *Конекъ-Горбунокъ*. Надобенъ былъ просторъ, на которомъ могли бы воплотиться, готовившіяся въ душѣ его, созданія, но просторъ такой, который удовлетворялъ бы не только нравственной, а даже и физической его натурѣ. *Конька-Горбунка* онъ создалъ, такъ сказать, на рукахъ доброй няни,—при обстановѣ безмятежной, мирной. — Да и не всѣ ли подобныя созданія такъ создавались?—Когда ему пришла пора погружаться въ жизнь обыденную, онъ тотчасъ же сталъ тяготиться. Еслибъ съ рукъ той доброй няни приняли его, на-время, такіе же добрые, но умудренные опытностію, руководители!... Вообще Ершовъ, съ появленія его въ сборной комнатѣ университета до возвращенія въ Тобольскъ, съ 17-го до 22-го года своего возраста, мало въ чемъ измѣнился, сталъ только повыше ростомъ, помужественнѣе, нѣсколько развязнѣе, но сохранилъ всѣ прежніе свои обычаи, привычки и правила: нелюбовь къ заносчивымъ выходкамъ, отвращеніе, болѣе безмолвное, отъ всякаго заискиванія или домогательства честолюбиваго, корыстнаго; сохранилъ горячую любовь ко всему прекрасному: поэзія, міръ мечтательный были для него міромъ, изъ котораго онъ не выходилъ, или выходилъ, какъ выходитъ милый ребенокъ изъ школы, послѣ классовъ, только

для невинныхъ забавъ съ подобными ему сверстниками. Правда, нѣкоторая чуждаемость, нѣкоторое своенравіе, слѣдствіе начальнаго быта и воспитанія, неподвергшіяся еще переработкѣ въ свѣтскомъ движеніи, замѣчались въ немъ. Мы уже сказали, съ кѣмъ изъ студентовъ любилъ онъ сходить; отъ прочихъ держался всегда въ сторонѣ. Да и студентства, т. е. въ томъ видѣ, какъ оно иногда является повсюду, тогда не существовало въ Петербургскомъ университетѣ; студенты не занимались своимъ *саномъ*; трудились, одни — для науки, другіе — для диплома, а сходились между собою только близкіе. для развлечения, обыкновеннаго въ молодости. Прямую любовь къ чему-либо достойному, даже прекрасныя мечты Ершовъ встрѣчалъ сочувственно, а отъ ложнаго стремленія къ чему бы ни было, отъ самообольщенія отвращался. Одинъ изъ бывшихъ товарищей, сынъ довольно достаточныхъ родителей, пригласилъ его, какъ замѣчательнаго автора, къ себѣ на вечеръ; хотя этотъ вечеръ былъ почти семейный, но свѣтскіе приемы, обращеніе, свѣтская легкость во всемъ, такъ далекая отъ истинной грація, отъ прямой, скромной оцѣнки достоинствъ, эта ребячески безразборчивая игра словами и предметами дотого одолѣли его, что онъ недолго оставался въ этомъ обществѣ, ушелъ недовольный и ниразу болѣе туда не являлся. Для его дѣвственной, почти дѣтской натуры тягостны были, хотя иногда и неизбежныя, извиняемые возрастомъ, неопытностію, житейскіе приемы. Однажды былъ у него Т. Н. Грановскій, тоже университетскій его товарищъ, — впоследствии извѣстный профессоръ Московскаго университета, — и Е. П. Гребенка, молодой писатель. Грановскій, тогда только-что съ университетской скамьи, готовившійся къ отправкѣ, для усовершенствованія въ наукахъ, за границу, разговорился что-то много во славу сановника, содѣйствовавшаго ему въ отправкѣ за границу, и держался, какъ молодой свѣтскій человѣкъ, нѣсколько джентльменомъ. Ершовъ видимо тяготился увлеченіемъ молодаго человѣка, въ слова котораго Гребенка пускалъ повременамъ свои острые замѣтки. По уходѣ Грановскаго, Ершовъ опять ободрился. Охраняя, какъ весталка, священ-

ный огонь души своей отъ дыханій, чуждыхъ ему, онъ, однако, охотно проводилъ время у нѣкоторыхъ товарищей и въ семействѣ ихъ, гдѣ могъ оставаться въ своей сферѣ, быть, такъ сказать, нараспашку по-своему. Нельзя однако сказать, что онъ часто выходилъ изъ дома своего; даже любя драматическое искусство, какъ и каждую отрасль поэзіи, онъ, помнится, былъ только на представленіи явившейся тогда оперы „Робертъ“, и неразъ потомъ вспоминалъ образъ прекрасной „Изабеллы“, г-жу Шелихову *, плѣнившую его своею скромною благородною наружностію. Можно бы назвать исключеніемъ въ его бытѣ, что онъ, нѣкоторое время, бывалъ довольно часто въ семействѣ университетскаго своего товарища М—скаго; но — тутъ былъ случай, о которомъ онъ, и то очень сдержанно, разсказалъ своему пріятелю Т—борну: онъ заинтересовался сестрою М—скаго, и впервые вспыхнула въ немъ любовь, но ее потушила какою-то, непонравившеюся ему, выходкою сама М., и поэтъ возвратился въ свой міръ идеальный. Въ стихотвореніи, вырвавшемся тогда же изъ молодой огорченной души его, онъ осыпалъ упреками легкомысленную измѣнницу, грозилъ ей мщеніемъ, и—заключилъ:

Но полно, — скрылось обольщенье,
Любви завѣса спала съ глазъ;
Я все забылъ уже, — прощенье,
Вотъ месть, готовая для васъ.

А какъ дѣйствиительно понималъ онъ тогда любовь, — любопытно прочесть его стихотвореніе, написанное въ 1835 году:

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ **.

Я понималъ, я знаю всю прелесть любви!
Я жилъ, я дышалъ ненаспашно!
Недаромъ мнѣ сердце шептало: «живи»,
Въ минуты тревоги ненастной.

* Актриса въ русской оперѣ.

** Напечатано въ журн. „Библіотека для чтенія“, 1835 г., 11 т.

Недаромъ на душу, въ веселыхъ мечтахъ.
Порою грусть тихо слетала,
И тайная дума на легкихъ крылахъ
Младое чело осѣняла.

Но долго я въ жизни печальной блуждалъ.
По тернамъ стези одинокой;
Но тщетно я въ мѣрѣ прекрасной искалъ,
Какъ розы въ пустынѣ далекой.

И много обшелъ я роскошныхъ садовъ,
Но сердце ее не встрѣчало;
И много я видѣлъ прелестныхъ цвѣтовъ,
Но сердце упорно молчало.

Пустыней казался мнѣ мѣръ. На пути
Нигдѣ не слыхалъ я привѣта.
Зачѣмъ же, я думалъ, сей пламень въ груди,
И сердце восторгомъ согрѣто?

Но нѣтъ, ненапрасно тотъ пламень возжонъ,
И сердце въ восторгѣ трепещетъ!
Настанетъ мгновенье, — и радостно онъ
Въ очахъ оживленныхъ заблещетъ.

Настанетъ мгновенье, — и силой мечты
Возникнетъ мѣръ новый, чудесный.
То мѣръ упоенья! То мѣръ красоты!
То отблескъ отчизны небесной!

И радужнымъ свѣтомъ одѣнется высь.
И ярко въ душѣ отразится,
И въ сердце проникнетъ небесная жизнь,
И сумрачный взоръ прояснится.

Настало мгновенье... И радость очей —
Съ надзвѣздной долины эмира,

Хранитель мой, ангелъ, въ сіяньи лучей,
Приникнулъ надъ бездною міра.

Онъ видитъ глубокую тьму подъ собой,
Онъ слышитъ печальныхъ призванья;
Онъ сходитъ на землю воздушной тропой —
Утѣшитъ земныя страданья.

И міръ превратился въ роскошный чертогъ,
И въ тернахъ раскинулись розы,
И въ сердцахъ зажогся немолчный восторгъ,
И сладкія канули слезы.

О, сколько блаженства во взорѣ его!
О, сколько въ улыбкѣ отрады!
Всю вѣчность смотрѣлъ бы, смотрѣлъ на него:
Другой мнѣ ненадо награды.

Но нѣтъ! — то не ангелъ! Небесный жилецъ
На землю незримо нисходитъ;
Но нѣтъ! — то не смертный! Удольный пришлецъ
На небо собой не возводитъ.

То горняя въ мірѣ земномъ красота,
То цвѣтъ изъ эдемскаго рая,
То лучшая чистаго сердца мечта,
То дѣва любви молодая!

О, юноша! въ гордой душѣ не зови
Забавой мечты той прекрасной!...
Я понялъ, я знаю всю цѣну любви,
Я жилъ, я дышалъ ненапрасно.

Видимо, что это—произведение очень еще молодой души;
но мы можемъ утверждать, что заключающіяся въ немъ чув-
ства и понятія, какъ и всѣ лучшія душевныя свойства, Ер-
шовъ сохранилъ до самой смерти своей, въ чемъ каждый

можетъ убѣдиться изъ дальнѣйшаго. Вотъ, между прочимъ, какъ, въ лѣта уже зрѣлыя, выразился онъ о томъ же предметѣ:

Не тотъ любилъ, любви кто свѣдалъ сладость,
Кому любовь была на радость;
Но тотъ любилъ, кто съ первыхъ дней любви
Блещетъ слезъ поилъ палящій жаръ крови;
Кто испыталъ всѣ муки и терзанья
Любви отвергнутой; кто въ сердцахъ хоронилъ
Послѣдній лучъ земнаго упованья,
А въ глубинѣ души молился и любилъ.

Доселѣ мы характеризовали Ершова такимъ, какимъ знали его въ университетѣ и до отъѣзда учителемъ въ Тобольскую гимназію, когда ему былъ только двадцать второй годъ отъ-роду. Въ нашей памяти обнаружившійся характеръ молодого товарища сливается, невольнымъ образомъ, съ характеромъ его сказки, *Конекъ-Горбунокъ*: такое же вѣрованіе въ несбыточное, чудесное, безпечность о насущномъ, преданность Промыслу.... Ершову, наконецъ, такъ хотѣлось возвратиться въ Сибирь, что онъ даже рѣшился поступить, впрочемъ на короткое время, учителемъ латинскаго языка въ Тобольской гимназіи, для преподаванія котораго онъ вовсе не былъ готовъ. Лѣтомъ 1836 года, безъ долгихъ разставаній съ своими знакомыми и близкими, отправился онъ, вмѣстѣ съ своею старушкою-матерью, въ Тобольскъ, оставивъ въ душѣ немногихъ, знавшихъ замыслы его, надежду на осуществленіе современемъ задуманнаго имъ громаднаго созданія: *Иванъ-Царевичъ*.... Не знаемъ, кто содѣйствовалъ ему къ полученію учительскаго мѣста въ Тобольской гимназіи; объ участіи, при опредѣленіи, онъ просилъ бывшаго въ то время попечителемъ Санктпетербургскаго учебнаго округа, князя Дондукова-Корсакова; впрочемъ это насъ тогда мало интересовало: служба неизбѣжна, думали мы, однимъ — по общественнымъ условіямъ, другимъ — для насущнаго хлѣба, а мѣсто каждому, хоть на краю свѣта, достается все-таки при содѣйствіи болѣе или менѣе сильнаго; только груст-

ныя предположенія тревожили нѣкоторыхъ изъ насъ. Ершовъ отправлялся охотно и на отсовѣтованія мало обращалъ вниманія. Вздѣлѣяно ли было это желаніе возвращенія въ Сибирь тѣмъ, что тамъ — родина, тамъ есть у него родственники, давнишніе знакомые; тамъ гимназія, гдѣ онъ воспитывался; тамъ привычки его съ дѣтства; все это могло подкрѣпляться задуманнымъ путешествіемъ по Сибири, — както незадолго до отъѣзда онъ даже и выразилъ мнѣ свою надежду на возможность осуществленія тамъ этой мысли, еще непокинувшей его; желаніе это могло подерѣпляться и тайнымъ пріятнымъ чувствомъ — явиться съ именемъ тамъ, гдѣ его знали ребенкомъ, ученикомъ; могло поддерживаться и нѣкоторымъ уклоненіемъ отъ Петербурга, гдѣ онъ былъ какъ молодой человѣкъ, чуждый условіямъ столичной жизни, неосвоившійся еще съ ними, нерасположенный къ нимъ, какъ заѣзжій гость, какъ незадавшійся мыслию искать гражданской пѣли, такъ-называемой карьеры; притомъ же онъ — сынъ, любящій свою старушку-мать, у которой въ Петербургѣ не было ни родныхъ, ни близкихъ, и которая вспоминала пріветный для нея Тобольскъ. Да, кажется, Ершовъ и пріѣхалъ въ Петербургъ, съ полнымъ намѣреніемъ всѣхъ членовъ семейства, остаться здѣсь только на время университетскаго курса. Можетъ быть, и тайное, хотя и напрасное безпокойство о своемъ недостаточномъ развитіи, образованіи научномъ подстрекало его уѣхать изъ Петербурга. Все это могло вліять на молодаго неопытнаго человѣка, неознакомившагося еще съ жизнію, даже неполнѣ развившагося, въ которомъ шире развилось только начало поэтическое. Еще въ 1835 году проявился весь тогдашній Ершовъ въ стихотвореніи *Желаніе* *. Мы говоримъ весь, потому что восторженность этого стихотворенія вполнѣ отражаетъ, какъ въ зеркалѣ, ту восторженность, какою онъ тогда былъ проникнутъ, и потому что каждое и малѣйшее его созданіе исходило прямо изъ своего источника, было изліяніемъ души его. Съ горестію, но онъ оставилъ лиру, когда душевнымъ потребно-

* Напечатано въ «Библіот. для чтенія», 1835 г., т. 13.

стамъ его не мерпала даже и надежда. Мы приведемъ это характеристичное стихотвореніе: оно поясняетъ, какія желанія начали шевелиться въ душѣ молодаго человѣка.

Чу, вихорь пронесся по чистому полю!
Чу, крикнулъ орелъ въ грозовыхъ облакахъ!
О, дайте мнѣ крылья! о, дайте мнѣ волю!
Мнѣ тошно, мнѣ душно въ тяжелыхъ стѣнахъ.

Рости ли нагорному кедру въ теплицѣ,
И краснаго солнца и бурь не видать?
Дышать ли пугаргу свободно въ темницѣ,
И вихря не вѣять и тучи не рвать?

Ни чувству простора, ни сердцу свободы,
Ни вольнаго лету могучимъ крыламъ!
Все мрачно, все пусто, и юные годы,
Какъ цѣпи, влачу я по чуждымъ полямъ!

И утро заблещетъ, и вечеръ затлѣетъ,
Но горестъ могилой на сердцѣ лежить.
И жатва на нивѣ душевной не зрѣетъ,
И пламень небесный безсвѣтно горитъ.

О, долголь стенать мнѣ подъ тягостнымъ гнетомъ?
Когда полечу я на свѣтлый востокъ?
О, дайте мнѣ волю! — орлинымъ полетомъ
Я солнца-бъ коснулся и пламя возжогъ.

Я-бъ рѣялъ въ зефирѣ, я мчался-бъ съ грозомъ,
И крылья разлиvomъ зари позлатилъ;
Я жадно-бъ упился небесной росой
И ниву богатою жатвой покрывъ.

Но если бесплодно страдальца коленье,
Но если мнѣ чуждо желанье души, —
Мой ангелъ-хранитель, подай мнѣ терпѣнье,
Иль пламень небесный во мнѣ потуши!

*

Такимъ зачаткамъ желаній какое удовлетвореніе могъ представить отдаленный губернской городъ, отрѣзанная жизнь отъ всего образованнаго міра? Какое поле и какое солнце взлелѣять такія семена?... Заключительное четверостишіе могло пугать за будущее поэта.... Ершовъ, по окончаніи университетскаго курса, не тотчасъ поступилъ на каеэдру, оставался въ Петербургѣ еще два года: онъ былъ въ то время только девятнадцати лѣтъ, не освоился еще съ пріемами педагога, въ чемъ и укрѣплялся самъ собою, чтеніемъ; да и это мѣсто учителя надобно еще было получить. Ктому же, сфера образованныхъ, даровитыхъ людей, гдѣ онъ былъ принятъ, привлекала его; а еще и его замысль — путешествовать по Сибири, казалось, удерживалъ его въ раздумьи; окончательно рухнулъ этотъ замысль только въ Тобольскѣ. Все сказанное, даже и не все вмѣстѣ, могло тянуть Ершова, при его тогдашнемъ настроеніи, въ Сибирь, на родину, туда, гдѣ, подъ сказки добраго генія, онъ засыпалъ такъ сладко, и, пробудясь, самъ разсказалъ людямъ, какбы для минутнаго самозабвенія ихъ среди тревожныхъ суетъ, одну изъ тѣхъ чудныхъ сказокъ, которыя, какъ и колыбельная пѣсня, убаюкиваютъ одинаково и ребенка и Грознаго.

Припоминая теперь тогдашняго молодого Ершова, съ тѣми свойствами, какія обнаружались въ немъ, выдвинутого самою природою на такую замѣтную ступень, подававшего надежду на новое прекрасное созданіе, и представляя себѣ всю послѣдующую жизнь его, мы жалѣемъ, что не встрѣтился ему въ ту пору человѣкъ, умудренный опытомъ, который, какъ родная мать, слившись съ его слишкомъ нѣжною душою, вывелъ бы его изъ мечтательнаго бесплоднаго настроенія, оторвалъ бы отъ него хотя и благородные, но юношескіе, несбыточные порывы, желанія; не далъ бы ему уклониться отъ прямого пути его дарованія; помогъ бы ему и матеріально — хоть доставленіемъ необременительнаго мѣста службы, — вѣдь есть же такія мѣста для иныхъ, — хоть библиотекаря въ Императорской публичной библіотекѣ, хоть чиновника особыхъ порученій, или даже иное мѣсто, только обезпечившее бы его, хоть временно, чего онъ впоследствии,

какъ увидимъ, и желалъ, и что дало бы ему возможность и побывать въ Tobольскѣ, оглядѣться тамъ и въ жизни, побывать внѣ Россіи, повидать свѣтъ въ иныхъ странахъ, и — жить въ столицѣ, извѣдывать міръ, человѣка, самого себя и остаться вѣрнымъ служителемъ музъ, дойти дотого, чтобы и онъ могъ, съ убѣжденіемъ могъ сказать:

«Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать!»

Самъ собою молодой Ершовъ не могъ придти къ этому — при его непрактическомъ еще взглядѣ на все окружавшее, при его неопытности въ свѣтѣ, при его незнаніи жизни, при той, отъ самой колыбели его, обстановкѣ, изъ которой не успѣлъ онъ еще выдти, тѣмъ болѣе, что и жизнь самого общества не имѣла много привлекательнаго, а даже представляла много смѣшныхъ, иногда ненавистныхъ ему сторонъ. Упрекнуть ли Ершова за это въ слабодушіе? Не меценатъ нуженъ былъ ему: онъ отклонился бы отъ него, но человѣкъ просвѣщенный, съ сердцемъ, истинно любящимъ, и сильный въ мірѣ. Какъ жаль, что и Общество для пособія нуждающимся литераторамъ тогда еще не существовало... Пусть все это покажется столько же фантастичнымъ, какъ и нѣкоторыя желанія Ершова, мы остаемся на сторонѣ тѣхъ, которые сами испытали хоть что-нибудь подобное. Жаль, что и вопросы то нѣжнѣшіе, намъ современные, тогда почти не подымались. Многихъ изъ этихъ вопросовъ Ершовъ не сталъ бы и слушать, питая къ нимъ отвращеніе, какъ къ выходкамъ ума заносчиваго; иные вопросы, напримѣръ, о правахъ женщины, гдѣ крайніе матеріалисты чуть не надѣются изъ розы сдѣлать березу, возбуждали бы въ немъ горькую улыбку. Когда *разлазольствія* о правахъ женщинъ достигли и до Tobольска, тогда Ершовъ такъ улыбнулся въ эпиграммѣ своей:

ПРОЕКТЪ НОВАГО УСТАВА

Дабы прогрессъ съ закономъ согласить,
И женщинъ приравнять мужчинамъ,
Имъ дозволяется отнынѣ
Усы и бороду носить.

Или, вотъ какой шуткой откленился онъ

НИГИЛИСТУ-ЕСТЕСТВЕННИКУ.

Ты говоришь, что, безъ изъятія,
Мы всё родня, что всё мы братья.
Ну, чтожъ? Прекрасныя слова!
Но словъ однихъ для дѣла мало:
Вѣдь, по законамъ естества,
Необходимы, для родства,
Единый родъ, одно начало.
Но здѣсь-то цѣлый океанъ
Положенъ вами въ раздѣленье:
Вѣдь мы — Адама поколѣнье,
А вы — потомки обезьянъ.

Хотя такія эпиграммы явились уже гораздо въ зрѣломъ возрастѣ Ершова, но основныя мысли нераздѣльны были и съ его молодостью. Зато многіе другіе вопросы стали бы стучаться въ его сердце, пылавшее любовью къ отчизнѣ и человѣчеству... Но оставимъ это,—желаніе Ершова исполнилось, онъ въ Tobolskѣ. Съ какимъ запасомъ свѣдѣній научныхъ и особенно житейскихъ возвратился онъ въ губернский городъ? Чѣмъ будутъ удовлетворяться растущія потребности души его? Кто заступитъ ему тѣхъ, съ кѣмъ сошелся онъ уже какъ авторъ, какъ талантъ, какъ поэтъ?... Теперь онъ на службѣ, *значитъ* — полезный гражданинъ. Совершенная правда: Ершовъ и не могъ не быть полезнымъ и на службѣ и въ семьѣ своей. А не приноситъ ли, повторимъ, его *Конекъ-Горбунокъ* свою долю пользы? Изъ крупицъ составляется хлѣбъ насущный; чѣмъ лучше крупницы, тѣмъ питательнѣе хлѣбъ: чѣмъ болѣе лучшимъ чтеніемъ напитывались мы въ дѣтствѣ, тѣмъ легче намъ — хотъ сообщать свои мысли въ возрастѣ зрѣломъ...

По выходѣ изъ университета, Ершовъ, втеченіе 1834, 1835 и 1836 годовъ, до отъѣзда въ Сибирь, написалъ, кромѣ сказки и упомянутыхъ либретто, нѣсколько стихотвореній и помѣщалъ эти послѣднія въ журналъ „Библіотека для чте-

ніа“, издававшемся А. Ф. Смирдинымъ, подъ редакціею О. И. Сенковского. Достоинство этихъ стихотвореній, уступающихъ преимуществу сказеѣ его, заключается въ легкомъ, благозвучномъ языкѣ, въ благородствѣ мыслей и предметовъ; для насъ они важны тѣмъ, что всѣ они создавались не по навѣянію извнѣ, или по какому-либо корыстному побужденію, а всегда по настоящему требованію сердца: они,—какъ и всѣ произведенія Ершова,—зеркало его поэтического направленія вообще и его характера вѣстности. А какъ поэтъ былъ вскорѣ стѣсненъ въ саморазвитіи, жилъ въ маломъ кругѣ жизни, и даже попалъ подъ гнетъ ея, то, естественно, и успѣлъ въ немногѣ, ограничился только внутреннею жизнію своей души, фантазіею, молодыми, неокунувшимися въ опытъ порывами, и не могъ представить въ своихъ произведеніяхъ предметовъ, глубоко прочувствованныхъ, изъ пучины житейской вынесенныхъ. Онъ и самъ очень скромно отзывался о своихъ стихотвореніяхъ, какъ увидимъ въ одномъ изъ писемъ его, въ 1847 году, когда задумалъ было отдѣльное ихъ изданіе. Въ имѣющемся у насъ рукописномъ собраніи его стихотвореній *, съ помѣтками годовъ, а иногда и дней, въ которые они написаны, находимъ, что большинство его поэтическихъ произведеній относится ко времени 1833 по 1836 годъ, т. е. къ тому времени, когда онъ былъ почти свободенъ отъ обыденныхъ житейскихъ заботъ. Въ 1833 году написана имъ: *Сцена въ лагерѣ*, подъ впечатлѣніемъ бесѣды съ братомъ о духѣ русскаго солдата; въ 1834 году: *Молодой орелъ*; въ 1835 году: *Желаніе*, *Первая любовь*, *Тимковскому* (по случаю отъѣзда его въ Америку), *Сибирскій казакъ*. Старинная былъ, — *Русская тѣсня*, *Туча*, *Прощаніе съ Петербургомъ*, *25-е Декабря 1835 г.*, *Дубъ*, *Ночь*, *Ночь въ Рождество Христова*, *Семейство розъ*, *Молитва 25 декабря 1835 года*, *Фома куз-*

* Большая часть стихотвореній П. П. Ершова напечатана въ издававшемся А. Ф. Смирдинымъ, подъ редакціею О. И. Сенковского журна. «Библіотека для чтенія»; нѣкоторыя — въ журналѣ «Современникъ», издававшемся П. А. Плетневымъ; немногія — въ иныхъ изданіяхъ.

неизг; въ 1836 году: *Посланіе къ другу*. Эти произведенія чисто поэтическія, такъ сказать, заоблачныя, не заключають въ себѣ нисколько духа своекорыстнаго, какъ это видно отчасти и изъ самаго оглавленія ихъ, и подтверждали, что въ душѣ молодаго Ершова лежатъ дорогія семена для будущаго. Такой же духъ господствуетъ и въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ, написанныхъ уже въ Tobольскѣ, втеченіе 1837 года: *Вопросъ, Видѣніе, Часъ тайны, Государю Наслѣднику, на прѣздѣ его въ Tobольскъ въ 1837 году, Друзьямъ, Музыка*. О послѣдующихъ стихотвореніяхъ и другихъ литературныхъ произведеніяхъ его скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Нельзя не сознать, читая стихотвореніе *Вопросъ* *, написанное на порогѣ къ зрѣлому возрасту, что, по заключающимся въ немъ мыслямъ, вопросамъ, можно было ожидать отъ Ершова созданій, и — созданій долговѣчныхъ. Приведемъ это стихотвореніе, несмотря на его растянутость.

Поэтъ ли тотъ, кто съ первыхъ дней сознанья,
Зерно небесъ въ душѣ своей открылъ,
И, какъ залогъ верховнаго призванья,
Его въ груди заботливо хранилъ?
Кто межъ людей душой уединялся,
Кто вкругъ себя міръ цѣлый собиралъ;
Кто мыслию до неба возвышался
И предъ Творцомъ во прахъ себя смирялъ?

Поэтъ ли тотъ, кто съ чудною природой
Святой союзъ издѣтства заключилъ;
Связалъ себя разумною свободою
И міръ и духъ сознанью покорилъ?
Кто воспиталъ въ душѣ святыя чувства;
Къ прекрасному любовію дышалъ;
Кто въ области небеснаго искусства
Умѣлъ найти свой дивный идеалъ?

* Напечатано въ журн. «Библіотека для чтенія» 1838 г. т. XXX августъ.

Поэтъ ли тотъ, кто всюду во вселенной
Духъ Божій—жизнь таинственно прозрѣлъ,
Связалъ съ собой, и думой вдохновенной
Живую мысль на всемъ напечатлѣлъ?
Кто тайныя творенія скривали,
Не мудрствуя, съ любовію читалъ;
Кого земля и небо вдохновляли,
Его жизнь съ мечтой невольно сочеталъ?

Поэтъ ли тотъ, кто нить живыхъ сказаній
На хартіи сочувственно слѣдилъ;
Кто разгадалъ хаосъ бытописаній
И опытомъ себя обогатилъ?
Кто надъ рѣкой кипѣвшихъ поколѣній,
Въ глухой борьбѣ народовъ и вѣковъ,
Въ волнахъ огня, и крови, и смитеній,
Провидѣлъ перстъ правителя міровъ?

Поэтъ ли тотъ, кто свѣтлыми мечтами
Волшебный міръ въ душѣ своей явилъ,
Согрѣлъ его и чувствомъ и страстями
И мыслию высокой оживилъ?
Кто предъ мечтой младенцемъ умилялся,
Кто на нее съ любовію взиралъ;
Кто предъ своимъ созданьемъ преклонялся
И радости въ восторгѣ замиралъ?

Поэтъ ли тотъ, кто съ каждой каплей крови
Любовь въ себя чистѣйшую пріялъ;
Кто и живетъ и дышетъ для любви,
Чья жизнь—любви божественный фіалъ?
Кто все готовъ отдать, безъ воздаянья,
И счастье дней безжалостно разбить,
Лишь только-бы, подъ нгами страданья,
Свою мечту прекрасную любить?

Поэтъ ли тотъ, кто, въ людяхъ сиротѣя,
Отвергнутый, ихъ въ сердцахъ не забылъ;

Кто раздѣлялъ терзанья Прометея,
И для кого скалой міръ этотъ былъ?
Кто, скованный ничтожества цѣпями,
Умѣлъ сберечь вѣнецъ души своей;
Кто, у судьбы подъ острыми когтями,
Не и-мѣнилъ призванью первыхъ дней?

Поэтъ ли тотъ, кто холодъ отверженья
Небесною любовью превозмогъ,
Врагамъ принесъ прекрасныя видѣнья,
Себѣ же взялъ терновый лишь вѣнокъ?
Кто не искалъ людскихъ рукоплесканій;
Своей мечтѣ цѣны не положилъ,
И въ чувствѣ лишь возвышенныхъ созданій
Себѣ и имъ награду находилъ?

Пусть судить міръ: наслѣдникъ благодати—
Пророкъ ли онъ, иль странный на землѣ?
Горитъ ли знакъ божественной печати
На пасмурномъ мыслительномъ челѣ?
Пусть судить онъ!—Но если міръ лукавый,
Сорвавъ себѣ видѣній лучшій цвѣтъ,
Лишить его и имени и славы,
Пускай рѣшитъ: кто-жъ онъ—его поэтъ?

Жаль, что неизвѣстны побудительныя причины появленія
этихъ вопросовъ. Явилось ли стихотвореніе вслѣдствіе грусти,
что поэтъ не въ своемъ кругѣ жизни, слишкомъ пожертво-
валъ собою, и—онъ ищетъ утѣшенія, и музыкою лиры уто-
ляетъ свою грусть; или—оно вызвано замѣчаніями, укорами
людскими, что еслибы онъ былъ истинный поэтъ, то скорѣе
остался бы въ коловоротѣ жизни, нежели бы поселился въ
глуши, сталъ тамъ педагогомъ, и — онъ силится вразумить
людей.... Какъ-бы то ни было, но эти вопросы обнаружи-
ваютъ уже сердечную тревогу поэта: до этой минуты онъ
не думалъ объ анализѣ значенія—поэтъ.

Пусть далѣе о своей жизни расскажетъ самъ Ершовъ въ
перепискѣ съ пріятелями, знакомыми и близкими родными.

Письма его сохранялись не съ цѣлію печатанія ихъ, а какъ дружескія воспоминанія. Считаю такой способъ для нашихъ *воспоминаній* о его жизни самымъ правдивымъ: письма эти писаны, какъ увидимъ, со всею возможною откровенностію и представляются, не только по содержанію, но и по слогу ихъ, самымъ вѣрнымъ отраженіемъ души и характера его. Они писались безъ подготовки, прямо съ присѣста. Въ нихъ онъ, безсознательно, оставилъ свое жизнеописаніе. Можетъ быть, они покажутся нѣкоторымъ читателямъ безцвѣтными, однообразными; въ нихъ Ершовъ явится иногда даже мелочнымъ, оправдаетъ истину, выраженную и въ стихѣ Пушкина о поэтѣ:

«И межъ сыновъ ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожѣй онъ»....

но для наблюдателя, для психолога, для мыслителя, выводящаго заключенія для какой-либо полезной цѣли, они будутъ дороги, и помогутъ разрѣшенію вопроса, поставленнаго въ началѣ нашихъ *воспоминаній*.

Въ приведенной выпискѣ изъ перваго письма Ершова, изъ Тобольска, замѣтно было уже, какъ *радостно* встрѣтилъ онъ голосъ изъ Петербурга, и едва послѣ четырехмѣсячнаго пребыванія въ Сибири. Въ томъ же письмѣ, для удовлетворенія любопытства Т—борна, Ершовъ говоритъ о своемъ житьѣ-бытьѣ: „По крайней мѣрѣ набросимъ хоть эскизъ великолѣпной картины, въ которой главное лице я, а рамы—просторный городъ Тобольскъ. Слушай же. Я пріѣхалъ въ Тобольскъ 30-го іюля, ровно въ вечерню, и остановился въ домѣ моего дяди. На другой день, пріодѣвшись какъ слѣдуетъ, явился, по обязанности, сначала къ директору, потомъ къ губернатору *, потомъ къ князю **. Директоръ принялъ меня ни-то, ни-се; князь сначала былъ

* Гражданскій губернаторъ Х. Х. Поваловъ-Вильковскій.

** Бывшій генералъ-губернаторъ Западной Сибири, князь П. Д. Горчаковъ.

довольно холоденъ, но въ послѣдствіи изъявилъ торжественно—при всемъ собраніи здѣшнихъ чиновъ и властей—свое удовольствіе, что Ершовъ служить въ Тобольскѣ. Но зато губернаторъ обласкалъ меня до нельзя. Ну-съ, черезъ недѣлю я вступилъ въ должность латинскаго учителя, и цѣлый мѣсяцъ мучилъ латинью и себя и учениковъ“.... Вотъ какъ объ этомъ преподаваніи рассказывалъ Ершовъ, уже въ послѣдніе годы своей жизни, тому же пріятелю своему З—скому, отъ котораго мы получили нѣкоторыя, приведенныя нами, свѣдѣнія о дѣтствѣ Ершова. З—скій прибавляетъ, что рассказъ, воспроизводимый имъ на память, теряетъ весь свой букетъ: покойный былъ рассказчикъ образцовый; какимъ-нибудь оригинальнымъ русскимъ словомъ или несовѣмъ обычнымъ оборотомъ онъ умѣлъ придать особенный юмористическій колоритъ самому обыкновенному разсказу.... „Изъ скромности, конечно,—говорилъ Ершовъ—взялся я учить въ младшихъ классахъ; въ старшихъ былъ тогда извѣстный Петръ Кузьмичъ *—собаку съѣлъ въ латини. Готовился я къ каждому классу, и дѣло шло отлично. Да вдругъ, мнѣ на бѣду, Петръ Кузьмичъ и захворалъ. Nolens volens, а пришлось заняться въ старшихъ классахъ. Прихожу. Ну-съ, чѣмъ-молъ заниматься изволите?—Переводимъ Virgilіа. Ну, думаю, попался, какъ куръ во щи. Гм, Virgilіа; это недурно; да дѣло въ томъ, что за Virgilіа-то беремся, а подѣ-часъ я грамматики не знаемъ. Ну-ко, — обращаюсь къ одному,—просклоняйте то-то. И,—о, радость!—въ туникъ мой малый. Ну, просто, готовъ былъ разцѣловать его. Значить,—Virgilіа-то мы пока въ сторону, а повторимъ латинскую грамматику. И начали; только какъ мы ни растягивали, а вижу—дѣло плохо; еще класса два, и нужно будетъ или приняться за Virgilіа, или заключить скандаломъ,—избѣгая классической мудрости, подать реальный рапортъ о болѣзни. Юпитеръ спасъ: какъ-разъ ко времени Петръ Кузьмичъ выздоровѣлъ, и я со славою ретировался. Другой разъ, сижу я съ млад-

* П. К. Рязановъ извѣстенъ былъ между сослуживцевъ своими странностями.

шими да занимаюсь своей любезной грамматикой. Является отъ Петра Кузьмича мальчуганъ съ книгой. Вотъ Петръ Кузьмичъ сомнѣвается, какъ перевести это мѣсто. Это мѣсто? Гм.... А какъ самъ Петръ Кузьмичъ переводить это-то мѣсто? Такъ-то. Да, иначе и перевести нельзя“.... „Но какъ во всѣхъ вещахъ есть конецъ,—продолжаетъ Ершовъ въ началѣ нами выпискѣ изъ письма его,—или, какъ говорить блаженной памяти Горацій, *modus in rebus*, то и наша обоюдная мука кончилась къ совершенному удовольствію обѣихъ сторонѣ. И въ половинѣ сентября я торжественно вступилъ на кафедру философіи и словесности, въ высшихъ классахъ, и получилъ связку ключей отъ знаменитой, хотя и неутвержденной въ этомъ званіи, гимназической библіотеки. Но главное въ томъ, что я пользуюсь совершеннымъ раздольемъ: часовъ немного, и учениковъ немного“. Упомянувъ о числѣ сослуживцевъ, онъ продолжаетъ: „Но изъ всѣхъ ихъ я болѣе сошелся съ моимъ предшественникомъ — Б-баловскимъ, надъ фамиліею котораго такъ много смѣялся М-скій. И скажу отъ души, что рѣдко встрѣтилъ человѣка съ такими достоинствами. Я провелъ съ нимъ лучшіе часы въ Tobolskѣ; но теперь онъ отъ меня въ такомъ же точно разстояніи, какъ я отъ тебя, т. е. въ 3000 верстахъ — въ Иркутскѣ. Изъ другихъ знакомыхъ моихъ я назову тебѣ только двоихъ: В-лицкаго, воспитанника Парижской консерваторіи, и Ч-жова-морьяка, родственника (племянника) нашего профессора Д. С. Ч. Читаю рѣдко, да и не хочется; зато музыка—слушай не хочи! Каждую среду хожу въ здѣшній оркестръ, состоящій изъ шестидесяти человѣкъ, учениковъ Алябьева, которыми нынче дирижируетъ В-лицкій. Играютъ большую частію увертюры новѣйшихъ оперъ и концерты“.... Такъ ли бы отозвался человѣкъ, довольный цѣлю, къ которой стремился?—Приписывая въ концѣ письма: „Пиши, какъ можно чаще и какъ можно больше; отвѣтомъ не замедлю“, онъ прибавляетъ: „Маменька тебѣ кланяется. Она все скучаетъ здоровьемъ“. А надобно замѣтить, что старушка мать была теперь уже единственнымъ и любимымъ его спутникомъ.

Необходимо узнать, какъ легко сходился Ершовъ и

въ Тобольскѣ съ людьми, умѣвшими цѣнить и талантъ въ немъ и его самого. На первыхъ порахъ новаго пребыванія его въ этомъ городѣ, встрѣтился онъ съ нѣсколькими очень образованными и даровитыми личностями, случайно занесенными въ тотъ край. Между ними онъ могъ освѣжаться отъ обыденной губернской жизни. Какъ горячій любитель музыки, онъ особенно сблизился съ бывшимъ въ числѣ этихъ лицъ, извѣстнымъ русскимъ музыкантомъ, Алябьевымъ. Ершовъ впоследствии рассказывалъ, даже вспоминалъ и подъ конецъ своей жизни, какую пріятельскую шутку разыгралъ онъ однажды съ Алябьевымъ, которая тоже характеризуетъ природную игривость ума его. Алябевъ, въ спорѣ какъ-то съ Ершовымъ, сказалъ ему, шутя, что въ музыкѣ онъ, Ершовъ, пасъ, не смыслитъ ни уха, ни рыла. „Ну, братъ, я докажу тебѣ, на первой же репетиціи, что ты ошибаешься! возразилъ я“ — говорилъ Ершовъ. — „Ладно, увидимъ“, — промолвилъ Алябевъ.... Вотъ и репетиція. Сѣли мы съ нимъ поближе къ музыкантамъ. Я далъ ему слово, что малѣйшій фальшъ замѣчу. Въ то время первой скрипкой былъ нѣкто Ц-тковъ, отличный музыкантъ; онъ, при каждой ошибкѣ въ оркестрѣ, такіа рожи строилъ, что хотъ вонъ бѣги. Я съ него глазъ не спускаю: какъ только у первой скрипки рожа, я и толкну Алябева. Не вытерпѣлъ онъ, въ половинѣ пьесы всталъ, да и поклонился мнѣ.... Когда дѣло объяснилось, мы оба расхохотались“. Но такіа лица, товарищи Ершова по даровитости, недолго окружали его: когда они оставили Тобольскъ, Ершовъ остался почти одинокимъ.

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 12-го декабря того же 1836 года, Ершовъ пишетъ: „что ни говори, а ты, Требо-ніанъ *, славный малый, и не только празднуешь получение писемъ любящихъ тебя друзей, но и тотчасъ-же отвѣчаешь имъ. А это въ нынѣшнія времена—особенно въ Петербургѣ — большая рѣдкость. Разумѣется, что о насъ, провинціалахъ, тутъ и слова нѣтъ: мы ждемъ не дождемся

* Такъ Ершовъ шутку называлъ иногда Т-борна, по созвучію его фамиліи съ этимъ именемъ.

московской почты, чтобы тотчасъ же бѣжать въ почтовую контору—спрашивать—нѣтъ ли писемъ, и если счастье намъ поблагопріятствуетъ, то мы трубимъ всеобщую тревогу и тутъ же садимся писать отвѣтъ, каковъ бы онъ, на радостяхъ, ни вышелъ. Да мы объ этомъ и не заботимся, лишь бы не замедлить. Поэтому, гг. столичные обитатели, просимъ васъ покорно неслишкомъ строго выискивать за наши маранья, а болѣе смотрѣть на наше усердіе. Притомъ, вы живете въ такомъ мірѣ, гдѣ каждый часъ приносить вамъ что-нибудь новенькое; а наши дни проходятъ такъ однообразно, что можно преспокойно проспать цѣлые полгода и потомъ безъ запинки отвѣчать—*все обстоитъ благополучно*. Ты просишь моихъ стиховъ, но надобно узнать прежде — пишу ли я стихи, и даже—можно ли здѣсь писать ихъ. Твой обширный Тобольскъ, при хорошихъ ногахъ, можно обойти часа въ три съ половиной, а на извозикѣ, или по здѣшнему на ямщикѣ,—довольно и одного часа. Разгуляться можно, не правда ли? Къ числу рѣдкостей принадлежитъ одна только погода. И въ самомъ дѣлѣ, я не могу понять—что сдѣлалось съ Сибирью? Или это мистификація природы, или Сибирь вспоминать начинаетъ свою старину, т. е. времена допотопныя, когда водились здѣсь мастодонты и персики. Представь себѣ — 12 декабря, время, въ которое, за 6 лѣтъ, нельзя было высунуть носа, подъ большимъ опасеніемъ, теперь термометръ Реомюра стоитъ на 3°! Только что не таетъ. Но, несмотря на эту умѣренность, здѣшняя атмосфера тяжела для головы, и для сердца. Съ самаго моего сюда пріѣзда; т. е. почти пять мѣсяцевъ, я не только не могъ порядочно ничѣмъ заняться, но не имѣлъ ни одной минуты веселой. Хожу, какъ угорѣлый, изъ угла въ уголъ и едва не закурываюсь табакомъ и цигарами. Кромѣ ученой моей должности, рѣшительно не выхожу никуда, даже къ дядѣ, который меня очень любитъ, и къ тому являюсь только по воскресеньямъ и то по утру, не болѣе какъ на полчаса. Ты, можетъ быть, скажешь, что я скучаю по недостатку въ знакомыхъ. Не думаю. Правда, здѣшнія знакомства мои очень ограничены—два-три человѣка, но такихъ людей поискать и

въ Петербургѣ. Я, помнится, писалъ къ тебѣ о нихъ въ прошедшемъ письмѣ. Читать теперь совсѣмъ нѣтъ охоты, да и нечего. Гимназическая библіотека, которую я, какъ библіотекарь, знаю какъ мои пять пальцевъ, и на которую я до-рогой надѣялся, представляетъ такъ мало пособій, что нельзя сказать; а если изъ этой малости выкинуть еще соръ, то и останется ровно ничего. А назначено 700 рублей ежегодно на книги: кажется, можно бы кой-что завести. Да, благо не кому подумать объ этомъ. Ко всему этому присоеди-ни еще мое внутреннее недовольство всѣмъ, что я ни сдѣлалъ, что я ни думаю дѣлать, и ты будешь имѣть довольно вѣрное понятіе о теперешнемъ моемъ положеніи. Скоро 22 года; на-зади—ничего; впереди.... Незавидная участь!“... Будто за-ключенный пишетъ эти строки. Можно бы подумать, что это—только естественная грустная минута молодого чело-вѣка; но—Тобольскъ тѣсенъ для него, атмосфера Сибири тяготитъ его голову, даже сердце; для чтенія нѣтъ книгъ...

Въ слѣдующемъ письмѣ къ Т-борну, отъ 5 марта 1837 г., набросанномъ довольно разсѣянно, встрѣчаются фразы: „между тѣмъ, какъ мы, грѣшные, зѣваемъ чудеснѣйшимъ образомъ въ многоскучномъ градѣ Тобольскѣ“.... „Вотъ мы сходимъ раза два въ храмъ Минервы, въ Тобольскую гимна-зію, да и сидимъ себѣ часа съ два, отдыхая. Впрочемъ и то сказать—человѣкъ человѣку розъ“.... Въ прошлую субботу (это было на масленицѣ), сидѣлъ я, въ ожиданіи будущихъ благъ, подъ окномъ и зѣвалъ по обыкновенію. Народъ тол-пами шелъ по улицѣ, кто за блинами, кто отъ блиновъ,—здѣсь уже обычай таковъ“.... Вообще все письмо написано подъ вліяніемъ томительной скуки. Только въ концѣ письма видно, что и малѣйшій случай, затронувшій Ершова, такъ сказать, за живое, нашелъ въ немъ радушнаго дѣятеля; онъ пишетъ: „...Новый годъ я встрѣтилъ нерадостно. Зато ма-слинку отвелъ до желанъ сердца. Былъ и въ кіатрѣ, кото-рый устроили наши молодцы — ученики гимназій, и сказать тебѣ не въ шутку, играли ей-же-ей порядочно. Къ пасхѣ готовится новое, и я, отъ нечего дѣлать, написалъ для дру-жковъ двѣ піески презабѣйныя: одна—*Сельскій праздникъ*, на-

родная картинка, въ двухъ частяхъ, для хороводовъ; а другую еще пишу: это будетъ прекомическая опера, а растянется она на три дѣйствія, а имя ей дается: *Якутское*. Еще пріятель мой Ч-жовъ готовитъ тогда же водевильчикъ: *Черендоловъ*, гдѣ Галя пречудесная пишка будетъ поставлена. А куплетцы въ немъ — что ну, да на, и въ Питерѣ послушать захочется“.... Эти піески * Ершова мы прочитали; онѣ обнаруживаютъ доброе намѣреніе доставить молодымъ питомцамъ забавное и полезное развлеченіе; обѣ онѣ въ народномъ духѣ, и хотя написаны слегка, но не безъ сценическаго интереса, и языкомъ, который Ершову во всемъ такъ доступенъ. Названіе піески: *Якутское* измѣнено въ рукописи на: *Якутскіе божки*. *Опера-фарсъ*. *Сюжетъ заимствованъ изъ якутскаго преданія*. *Музыка изъ разныхъ оперъ*.

Въ письмѣ, отъ 5 мая 1837 года, Ершовъ искренно благодаритъ Т—борна, что онъ не урѣзаетъ письмами, и негодуетъ на бывшаго товарища М—скаго, который, вопреки своимъ обѣщаніямъ, не написалъ къ нему доселѣ ни строчки. Надобно сказать, что этотъ М—скій принадлежалъ къ породѣ людей-мотыльковъ: онъ былъ добрый малый, умеръ молодымъ, а прожилъ безслѣдно. Сближеніе Ершова съ такими личностями оправдывается только его молодостью и радушною встрѣчею всякаго проявленія чистой стороны развертывавшейся жизни. — Далѣе въ этомъ же письмѣ Ершовъ заботливо проситъ сообщить ему о смерти бывшаго университетскаго товарища, талантливо начавшаго карьеру писателя, Булгакова *, окончившаго жизнь свою печально — въ Обуховской больницѣ, разстройствомъ душевныхъ силъ, слѣдствіемъ несчастной любви; и затѣмъ снова обращается къ своей тягостной скукѣ и уже неудержимо вздыхаетъ о счастливыхъ дняхъ, проведенныхъ въ Петербургѣ. Онъ пишетъ:

* Не были печатаны.

** Изъ его водевилей; игранныхъ на сценѣ, напечатаны: *Артистъ*; *Два мужа*; *Тише ѣдешь, дальше будешь*; *Жена сосѣда, или мужья въ западнѣ*; *Дебютантъ, или страсть къ театру*.

„А ты все-таки не измѣняешь гостинному твоему характеру—вѣчно въ движеніи: то танцуешь съ бархатцомъ, то любезничаешь съ наливнымъ яблочкомъ, то странствуешь по театрамъ (скоро и по дачамъ), то..., а Богъ тебя знаетъ, что ты еще такое дѣлаешь. А я, братъ, сижу себѣ сиднемъ, въ подобіе Ильѣ-Муромцу, котораго я собираюсь воспѣть когда-нибудь, хотя скуки ради.—Развѣ упомянуть тебѣ о моихъ хожденіяхъ въ гимназію и изъ гимназіи и въ музыкальную и изъ музыкальной. Остальное время сижу дома, паю сигары и думаю о прежнихъ счастливыхъ дняхъ. А славное то было время! Поневолѣ вздохнешь, призадумавшись. Ты скажешь—пріѣзжай сюда! Да, скоро сказка сказывается: радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ. Остается какъ-нибудь убивать время, пополамъ—да какой чортъ пополамъ—съ девяносто девятью частями скуки, да съ одной частью отрады. Писать не пишу—потому что не хочется; а не хочется—потому что скучно; а скучно—потому... да ты причину этого смекнешь самъ. Ну, такъ видишь ли, что мои обстоятельства не совсѣмъ-то благопріятны. Хотѣлъ-было, отъ нечего-дѣлать, влюбиться, и ужъ выбралъ одинъ предметъ чрезвычайно хорошенекій, да что-то опять раздумалъ. Вѣдь здѣсь любовь всегда должна кончиться вождедѣннымъ бракомъ, чтобы не навести на жизнь свою или хоть на сердце черную полосу; но къ браку я вовсе не вождедѣю. Я совсѣмъ не семейной природы. Мнѣ бы посохъ въ руки, да и маршъ гулять во всѣ четыре стороны—людей посмотрѣть и себя показать. Ужъ такимъ создала меня мать-природа...“

Даже и въ увлеченіи, такъ свойственному душѣ молодой, Ершовъ, въ окружающемъ его обществѣ, принужденъ былъ сдерживать себя. А между тѣмъ, какъ благотворно могъ дѣйствовать на него свѣтлый умъ, выработавшаяся способность; какъ вліятеленъ былъ бы для него кругъ людей, вполне развитыхъ; онъ говоритъ далѣе въ письмѣ: „...въ Петербургѣ я былъ небольшою любитель музыки, а здѣсь влюбился въ нее по уши... А причина не въ томъ, что здѣсь лучше играютъ,—это было бы жестокое нареканіе на вашъ суперъ-гармоническій соборъ; а въ томъ, что я теперь почти

каждый день вожусь съ однимъ композиторомъ, котораго судьба забросила сюда изъ Парижской консерваторіи. Онъ мнѣ растолковалъ кое-что, и я теперь начинаю разбирать уже фуги и контрапункты..." „Но изъ этого, сдѣлай милость, не заключи, что я чудесно теперь играю на флейтѣ. Совсѣмъ нѣтъ; я чуть-чуть ее не оставилъ, по той причинѣ, что губа у меня дура, никакъ не можетъ сложить хорошаго амбушюра..." Среди пустынного однообразія, его очень обрадовало представившееся Tobольску и всей Сибири необыкновенное событіе—посѣщеніе Великаго Князя Наслѣдника, нынѣ благополучно царствующаго Государя Императора. Онъ пишетъ въ томъ же письмѣ: „...29 или 30 мая къ намъ будетъ Государь Наслѣдникъ (и Жуковский--въ свитѣ). Не знаю, сколькими днями подарить Его Императорское Высочество нашъ пустынный Tobольскъ; во всякомъ случаѣ мы чрезвычайно рады Его пріѣзду. Онъ оживитъ нашу пустыню. Коли можно будетъ, я сообщу тебѣ о пребываніи Его въ нашемъ городѣ, разумѣется, что увидать глаза мои, или услышать мои уши..." Въ концѣ письма онъ опять заботливо упоминаетъ, что матушка его очень слаба „лечится давно, но все безъ пользы"; и въ слѣдующемъ же письмѣ, отъ 2 іюля 1837 года, благодаря Т—борна, за посѣщеніе могилы брата его, онъ сообщаетъ о пребываніи въ Tobольскѣ Государя Наслѣдника. Приведемъ вполнѣ это мѣсто письма, любопытное, какъ по извѣстію очевидца о пребываніи Государя Наслѣдника въ Tobольскѣ, такъ и по замѣчательнымъ приему и словамъ, обращеннымъ В. А. Жуковскимъ къ Ершову. „...Еще за два мѣсяца до прибытія Его Высочества въ Tobольскъ получено было здѣсь о томъ извѣстіе и тотчасъ же сдѣланы были распоряженія объ устройствѣ дорогъ и города. Сибирь пробудилась: куда ни взглянешь, вездѣ жизнь, вездѣ дѣятельность. Гимназія наша тоже послѣдовала общему примѣру, и намъ, сирѣчь, учителямъ, навязано было дѣлать по самую шею. Особенно работалъ я грѣшный. Какъ учитель словесности, я долженъ былъ приготовить сочиненія учениковъ, т. е. дать имъ такой видъ, чтобы Его Высочеству можно было на нихъ взглянуть. Какъ библіотекаръ,

долженъ былъ составить новый систематическій каталогъ книгъ, классифицировать ихъ, лѣпить номера и, за неумѣніемъ писцовъ дирекціи иноязычной грамотѣ, долженъ былъ и переписать каталогъ набѣло—такъ листовъ до двадцати пяти. Наконецъ, какъ человѣкъ, который занимается виршеписаніемъ, я долженъ былъ, по порученію генераль-губернатора, приготовить привѣтствіе. Изъ всего этого ты можешь заключить, что работы у меня было довольно. Государь Наслѣдникъ пріѣхалъ къ намъ въ ночь, съ 1 на 2 іюня, и остановился въ генераль-губернаторскомъ домѣ, насупротивъ моей квартиры. Поутру, 2 числа, я отправился къ В. А. Жуковскому и былъ принятъ имъ какъ другъ. Во время посѣщенія гимназіи Государемъ Наслѣдникомъ, вся наша братія была представлена Его Высочеству. Когда очередь дошла до меня, то генераль-губернаторъ и Жуковскій сказали что-то Его Высочеству, чего я не могъ слышать; и Его Высочество отвѣчалъ: *„Очень помню“*; потомъ обратился ко мнѣ и спросилъ, гдѣ я воспитывался и что преподаю? Тутъ Жуковскій сказалъ вслухъ: *„Я не понимаю, какъ этотъ человекъ очутился въ Сибири.“* Вечеромъ Великій Князь былъ въ собраніи и остался чрезвычайно довольнымъ. Надобно сказать правду, что и городъ не щадилъ ничего для принятія. Однихъ посѣтителей было до пятисотъ человѣкъ. Государь Наслѣдникъ, кромѣ польскаго, протанцовалъ четыре французскія кадрили. Здѣсь былъ онъ въ казачьемъ мундирѣ; въ прочее же время носилъ мундиръ преображенскаго полка. Остальное узнаешь изъ газетъ, если уже не узналъ...”

Въ письмѣ, отъ 3 сентября 1837 года, набросанномъ, какъ видно, среди одиночнаго томленья,—чѣмъ нѣсколько можно объяснить и эту учащенную его переписку,—Ершовъ ропщетъ на скуку преподаванія и закончиваетъ словами: „...Впрочемъ, нѣтъ худа безъ добра. И я готовъ даже подтвердить старинную латинскую поговорку: *docendo discimus*, хотя съ небольшимъ ограниченіемъ. Притомъ—участвовать въ дѣлѣ образованія—вещь тоже не послѣдняя...” Въ это время ему почти окончивался 23 годъ отъ-роду: безраздѣльность жизни, при печальной обстановкѣ, естественно еще

болѣе томила его, и естественно, что онъ сталъ ощущать потребность въ другѣ сердца, въ жизни семейной; еще старушка мать замѣняла ему семью. Въ этомъ же письмѣ къ Т—борну онъ передаетъ, полупутя, что на торжественномъ актѣ, въ гимназін, въ іюлѣ мѣсяцѣ, гдѣ, за слабостію его груди, читалось однимъ изъ товарищей его, сочиненное имъ „преудивительное слово, причеиъ одни изъ посѣтителей слушали, другіе скучали, третьи зѣвали... Что же г. учитель словесности? —спросишь ты. А онъ, изволите видѣть, во все время акта смотрѣлъ на одну премиленькую даму, которая ему съ нѣкотораго времени очень приглянулась, хотя онъ за ней и не думаетъ волочиться... А въ самомъ дѣлѣ, — премиленькая. Что за благородныя черты! что за выраженіе! что за глаза!—На другой день я былъ нарочно въ благородномъ собраніи и рѣшительно не спускалъ глазъ съ нея. И она иногда поглядывала на длинную мою фигуру, вооруженную очками, съ бакенбардами à la quatre diable... Впрочемъ, на первый случай довольно этого; а то ты подумаешь невѣсть что объ мнѣ.—Кстати, что madame Chelikhoff (старшая)? А мнѣ она иногда и даже довольно часто приходитъ на умъ. Когда пойдешь на „Роберта“, то поклонись „Изабеллѣ“, или хоть похлопай хорошенько. Это будетъ знакомъ, что ты не станешь трунить надъ моими проказами...“ Кто не увидитъ въ этихъ дружескихъ откровеніяхъ всю чистоту, прекрасную сторону увлеченій Ершова? Письмо свое окончиваетъ онъ нѣсколькими словами о прогулкахъ своихъ, во время каникулъ, въ разныя стороны отъ Tobolska: между прочимъ посѣтилъ онъ Искеръ, былъ въ Сузгунѣ, гдѣ жила одна изъ женъ Кучума, по преданію, красавица,—гдѣ, однакоже, напрасно искалъ остатковъ древностей.

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 26 ноября 1837 года, Ершовъ извиняется въ долгомъ молчаніи постигшемъ его опасною болѣзнію, нервической горячкой, которою и самъ докторъ былъ доведенъ почти до отчаянія въ его выздоровленіи. „Но, вѣрно, еще мнѣ должно позить“—заключаетъ онъ. — „Пускай! я не отказываюсь. Только, повѣришь ли, право, не знаю, что наконецъ выйдетъ изъ этого!...“ Кромѣ

печальной обстановки, мы видимъ, что Ершовъ стоитъ теперь на той рубежной, роковой точкѣ жизни, когда человѣкъ начинаетъ оглядываться и спрашиваетъ себя тревожно: чтó же сдѣлано на пути пройденномъ и съ какимъ запасомъ идти въ дальнѣйшій путь? Кто будетъ спутникомъ? кто — пособникомъ?... Продолжая письмо въ грустномъ тонѣ воспоминаний о могилѣ брата, онъ говоритъ о своемъ препровожденіи времени. „...Взамѣнъ извѣстій твоихъ о дѣлахъ и службѣ, я напишу также, какъ я убиваю время. Встаю обыкновенно въ 9 часовъ и, отправивъ всѣ обязанности человѣка и христианина, przygotowuję къ моимъ лекціямъ (которыя у меня теперь только по послѣобѣдамъ). Въ 12 часовъ обѣдаю и, въ исходѣ перваго часа, иду въ гимназію на три часа — отъ 1 до 4. Потомъ прихожу домой, пью кофе и или читаю что-нибудь, или мечтаю, или — просто ничего не дѣлаю. Послѣ — я сажусь заниматься, если не расположенъ идти къ кому-нибудь изъ своихъ знакомыхъ. Въ 9 часовъ ужинаю и потомъ, когда все въ домѣ утомится, я снова обращаюсь къ своимъ занятіямъ, и просиживаю обыкновенно до 2 и до 3 часовъ утра, а иногда даже до 7, что впрочемъ очень рѣдко. Наутро та же исторія. По вторникамъ у меня сборъ пріятельскій: играемъ въ шахматы, болтаемъ всякій вздоръ, не исключая совсѣмъ и дѣльнаго разговора, а если есть, то читаемъ что-нибудь изъ своихъ сочиненій. О картахъ въ домѣ моемъ нѣтъ и помину. И я, съ самаго пріѣзда сюда въ Tobolskъ, только два раза садился за зеленое поле, и то — не могъ отказаться. Ну-съ, по воскресеньямъ ѣзжу иногда въ здѣшнее собраніе, особенно если знаю, что тамъ будутъ нѣкоторыя особы. Впрочемъ, я тамъ болѣе наблюдатель, нежели дѣйствитель. Вотъ, кажется, и все. Ты видишь, что я не могу пожаловаться на недостатокъ единообразія, а слѣдовательно — и скуки. Что жъ дѣлать? Станемъ сидѣть у моря да ждать погоды. Съ нетерпѣніемъ жду весны, съ которою снова намѣренъ начать мои прогулки по всѣмъ четыремъ сторонамъ, и особенно — посѣтить холмъ *Suzig*, о которомъ ты, можетъ быть, узнаешь изъ „Библіотеки для Чтенія“, куда я отправилъ, уже

съ мѣсяцъ, небольшую повѣсть, подъ названіемъ: *Suzie* и потому не объясняю теперь, что́ это за извѣстіе...

Какъ видно, кромѣ любви къ природѣ, мысль путешествія по Сибири, которымъ онъ такъ былъ увлеченъ въ Петербургъ и которое было однимъ изъ главныхъ побужденій отправки его даже на службу въ Tobolskъ, несовсѣмъ оставила его еще, хотя осуществленіе ея стало невозможнымъ. Объ одномъ изъ соучастниковъ въ этомъ замыслѣ, на котораго онъ, какъ на образованнаго и достаточнаго человѣка, преимущественно надѣялся, спрашиваетъ онъ коротко въ письмѣ, отъ 14 февраля 1838 года: „....Да скажи, пожалуйста, неужели К. Т—скій пріѣхалъ въ Петербургъ? Ты, я думаю, иногда встрѣчаешься съ братомъ его Алексѣемъ. Если же онъ не пріѣхалъ, то спроси—писалъ ли онъ нынче изъ Америки: въ 1836 году я получилъ отъ него письмо, а въ 37 не получалъ ни словечка...“ Но до этого мимоходомъ сдѣланнаго вопроса, безъ всякаго объясненія, которое, конечно, было бы тягостно для него, при разлетающихся увлекательныхъ надеждахъ, онъ, въ томъ же письмѣ, по обычному приему въ перепискѣ съ пріятелемъ, рассказываетъ, что новый, 1838 годъ встрѣтилъ онъ не скучно, а потомъ до самой масленицы „скупалъ самымъ чудеснѣйшимъ образомъ“, и продолжаетъ: „На масленицѣ же тѣшилъ въ театрѣ, да, въ театрѣ, который мы (т. е. учителя гимназій) построили на свой счетъ въ залѣ гимназій, чтобы доставить развлеченіе ученикамъ и потѣшить собственную охотку. Играли все ученики гимназій, а чтобъ сказать тебѣ, что они недурно знали свое дѣло, то напишу, что режиссеромъ ихъ былъ я. Но шутки въ сторону. Театръ нашъ шелъ славно, говоря и не о Tobolskѣ. Обширная сцена, хорошія декорациі, отличное (восковое) освѣщеніе, увертюры изъ лучшихъ оперъ въ антрактѣ, разыгрываемыя полнымъ оркестромъ и, наконецъ, славные костюмы (особенно въ волшебной піесѣ: *Прекрасный принцъ*),—все это сдѣлало спектакль хоть куда! Всего было три представленія (по пяти піесъ, въ одномъ дѣйствіи каждая): первое — только для учителей гимназій, а два послѣднихъ — для всей публики; изъ нихъ въ одномъ было до 400

человѣкъ, а въ другомъ — столько, что едва вмѣщала зала. Знай нашихъ! И скажу тебѣ еще: одинъ изъ игравшихъ учениковъ — еслибъ дать ему надлежащее сценическое воспитаніе — былъ бы изъ первыхъ актеровъ и на вашей сценѣ. Чудо! каждое его слово, каждый жестъ, каждое движеніе лица было комическимъ въ высшей степени. Съ самаго появленія его на сцену до выхода — рукоплесканія не умолкали. Онъ нынче выходитъ изъ гимназіи и долженъ прослужить шесть лѣтъ въ ученой службѣ; а тамъ я посоветую ему — ѣхать въ Петербургъ и прямо на сцену. Фамилія его Рихтеръ. Опять нѣмецъ! Вѣдь намъ безъ нѣмцевъ нѣтъ спасенья! Радуйся, сынъ Германіи!...

Вотъ какъ оживленно заговорилъ Ершовъ, какое дѣятельное принялъ участіе, когда коснулось дѣла общественнаго удовольствія и пользы, когда коснулось хоть частію того, чѣмъ такъ пронизнуты были его душа и сердце. Но послѣ занятій учительскихъ, послѣ случайнаго событія — ученической забавы въ гимназіи, что представлялось Ершову? представлялся ли хоть исходъ изъ этого положенія, при его ничтожныхъ средствахъ?... Вслѣдъ за приведеннымъ рассказомъ, и нѣкоторыми еще порученіями, онъ говоритъ: „...Что жъ бы еще написать тебѣ такое?— Въ самомъ дѣлѣ, еслибъ сдѣлать меня корреспондентомъ тобольскихъ новостей, то я порядкомъ бы призадумался. Писать же, что я думаю, что намѣренъ сдѣлать — не достанетъ бумаги. Ты, по крайней мѣрѣ, тѣмъ счастливъ, что можешь описывать любовныя свои похождения, а я, братъ, съ самаго пріѣзда сюда, еще ни разу не влюбился, хоть и было въ кого, напр. та смазливая нѣмочка (опять нѣмцы), которую увидѣлъ я на актѣ, — помнишь? или одна... ну, не скажу всего, довольно, что никогда имя не приходилось такъ встать: Серафима. Впрочемъ сердечныя мои подвиги ограничиваются одними взглядами, и то въ почтительномъ разстояніи — черезъ очки... Что до стиховъ, то доложу тебѣ, можетъ быть, тебѣ уже извѣстное обстоятельство, что посланная мною въ „Библіотеку“ повѣсть обракована Сенковскимъ, разругана Б. и сравнена Г. съ его исторіею моголовъ. Жду весны, чтобъ снова начать неудачи.“

На полѣ послѣдней страницы этого письма приписано: „Маменька очень слаба здоровьемъ“. Эта приписка, по прочтеніи письма, является раною на сердцѣ молодого человека, раною, которая много мѣшала ему въ минувшемъ и грозитъ въ будущемъ.

Черезъ восемь мѣсяцевъ, послѣ этого извѣстія, онъ пишетъ къ Т—борну, отъ 4 октября 1838 года: „Черезъ столько лѣтъ молчанія, ты получишь это письмо; но не вини меня. Я цѣлое лѣто былъ самъ не свой, и только развѣ какая-нибудь необходимость заставляла меня братья за перо. Ты, вѣрно, слышалъ о причинѣ моего молчанія, а если нѣтъ (что — вѣрнѣе: въ противномъ случаѣ ты не поскупился бы письма на два), то вотъ тебѣ просто-на-просто: съ 16 апрѣля этого года я осиротѣлъ душой и тѣломъ, и въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ (т. е. въ октябрѣ) исполнится полгода, какъ я проводилъ мою маменьку въ послѣднее жилище — въ могилу. Съ ней скоронилъ я послѣднюю изъ *родныхъ*: правда—*родственниковъ* у меня много, но всѣ они замѣнятъ ли одного *родного*? Ты понимаешь различіе этихъ двухъ словъ.—Теперь самъ не знаю, на что рѣшиться: ѣхать въ Петербургъ? Но зачѣмъ? Успѣхи мои въ службѣ или въ занятіяхъ порадуютъ ли кого-нибудь? — согрѣютъ ли охладѣвшее сердце матери? Ты скажешь: для себя, для себя собственно. Благодаренъ; но я не эгоистъ. Тобольскъ же привязываетъ меня къ себѣ только (пока) могилою матери. Ей-Богу, не знаю, что дѣлать.—Занятія мои двухъ родовъ: одни — гимназическія, которыя, кромѣ скуки, не приносятъ мнѣ ничего, если не взять въ соображеніе порядочное жалованье; другія же — домашнія: все спускаю съ рукъ и, разумѣется, большею частію за бездѣлицу. Когда окончу это, тогда подумаю покрѣпче о своей участи. А до того времени, пусть все идетъ такъ, какъ угодно Богу. Притомъ затѣвать что-нибудь длинное я вовсе не намѣренъ: тѣлесный составъ мой годъ отъ году слабѣетъ; а настоящее одиночество поможетъ докончить его разстройство. Годъ, два — и ты можешь, идя на Охту *, —

* На кладбищѣ Большой Охты похороненъ братъ Ершова, Николай.

помянуть съ братомъ и меня. И прекрасно.—Зачѣмъ нѣтъ со-
мною теперь никого изъ моихъ старыхъ пріятелей. По край-
ней мѣрѣ можно бы, разговаривая съ ними, передать имъ и
то и то, и хоть немножко облегчить свое горе. Одинъ и
опять одинъ!... Я радъ, что ты веселъ. Это могу заключить
изъ послѣдняго письма твоего, которое написано подъ влія-
ніемъ веселости. И мой совѣтъ — не упускай случая:

Они проходятъ — дни веселья...

А! старые знакомые! стихи! Два года уже, какъ я не писалъ
ни одного *, и около полугода, какъ не читалъ ни строки.
Самъ удивляюсь моей дѣятельности. Иногда даже приходило
мнѣ на мысль: какъ бы сдѣлать это, чтобы съ перваго моего
дебюта предъ публикою на Конькѣ-Горбункѣ до послѣдняго
стихотворенія, напечатаннаго, противъ воли моей, въ какомъ-
то альманахѣ, все это — изгладилось дочи́ста. Я тутъ не
тералъ бы ничего, а выигралъ бы спокойствіе неизвѣстности.
Но въ понизу этихъ великодушныхъ мечтаній, *Иванъ-Царе-
вичъ* (помнишь? поэма въ 10 томахъ и въ 100 пѣсняхъ)
приходитъ мнѣ на умъ, и я рѣшаюсь ждать того времени,
когда стукнетъ мнѣ 24 или лучше 25 лѣтъ. Это случится
въ 1839 или въ 1840 году, и тогда —

«Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ,
и пр. и пр. и пр.»

Этимъ заключился второй періодъ жизни Ершова. Пер-
вымъ періодомъ можно назвать появленіе его на свѣтъ до
возвращенія, въ 1836 году, въ Tobольскъ, — лучшее время
для его дарованія. Второй періодъ — до смерти матери, — по-
чти безотрадная жизнь, угнетаемая скукою среди людей
чуждыхъ ему, при измѣняющихся и исчезающихъ планахъ и
надеждахъ. Теперь начинается третій періодъ, порожденный
отчасти предшествовавшимъ, — періодъ жизни положительной,
но все таки жизни человѣка-поэта.

* Два года надобно принять здѣсь только за выраженіе негодо-
ванія: въ 1837 и 1838 годахъ написано имъ нѣсколько небольшихъ
стихотвореній.

Въ письмѣ, отъ 9 декабря 1838 года, Ершовъ, прося Т-борна объ участіи по исходатайствованію пенсіи одной вдовѣ и объ условіяхъ съ книгопродавцемъ, желавшимъ издать вновь его сказку, *Конекъ-Горбунокъ*,—пишетъ: „Поѣздка моя въ Петербургъ рѣшится не ранѣе новаго года. И если одно обстоятельство (о немъ узнаешь позже) кончится, то въ январѣ же мѣсяцѣ отправляются письма къ князю Дондукову-Корсакову и къ П. А. Плетневу, * съ просьбою о переводѣ меня въ Питеръ. Еслиже — то навсегда останусь въ Тобольскѣ, буду служить и писать про-себя. Извѣстность на покойствіе и, можетъ быть, на домашнее счастье, право, мѣна не совѣмъ невыгодная. Зачѣмъ нѣтъ тебя теперь подлѣ меня? О многомъ бы я поговорилъ съ тобою. Повѣрять бумагѣ все — нельзя. Довольствуйся однимъ признаніемъ, что я—вотъ ужъ нѣсколько мѣсяцевъ не знаю самъ, что со мною дѣлается. Одна мысль преслѣдуетъ меня неотступно, и эту мысль, ты угадаешь,—ты точно въ тѣхъ же обстоятельствахъ, какъ и я. Но у тебя есть надежда; у меня только препятствія съ обѣихъ сторонъ—и съ моей и съ ея... 24 года мнѣ минетъ въ февралѣ. И неужели я долженъ связать себя въ эти лѣта обѣтомъ вѣчнымъ!—Но пусть будетъ то, что угодно Богу. Только ни слова объ этомъ! Если и тебѣ не дѣлаю полной откровенности, значитъ, что я имѣю причину молчать. Ты самъ, да, ты самъ удивишься, если я когда-нибудь открою тебѣ все. Подожду, что скажетъ январь. Иногда рождается во мнѣ мысль: можетъ быть, судьба, чтобы утишить грусть мою, дала мнѣ эту игрушку, и потомъ сама же разобьетъ ее, когда не будетъ въ ней надобности. Но это — одну болѣзнь вылечить другою. Будь здоровъ, мой милый, влкаяйся всѣмъ роднымъ твоимъ и моимъ знакомымъ“.

Кто не увидитъ—какою чистотою и какою еще дѣтско-стію дышать эти строки письма Ершова? Кто не пожелаетъ молодому достойному человѣку всѣхъ благъ на прекрасную

* Петръ Александровичъ Плетневъ, бывшій профессоръ, впоследствии ректоръ С.-Петербургскаго университета, содѣйствовавшій Ершову совѣтами.

будущность? И вмѣстѣ—кто, съ сердечною трѣвогою, не пожалѣетъ, что нѣтъ теперь около него такихъ лицъ, которыя сказали бы ему доброе напутственное слово, въ которомъ онъ, видимо, нуждается; которыя могли бы и облегчить ему трудности на новомъ пути и—сохранили бы обществу поэта-творца...

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 27 февраля 1839 года, Ершовъ говоритъ: „Не взыщи меня за выраженіе, но, ей Богу, если я пишу это письмо, такъ приношу дань дружбѣ. А почему? Причина очень простая: я желалъ бы всѣ минуты труда и досуга посвящать только одной мысли, и эта мысль—ты догадываешься. Богъ знаетъ, что со мною будетъ. Вчера пріѣхалъ сюда изъ Петербурга одинъ мой знакомый. При встрѣчѣ со мной, первыя слова его были: „Мнѣ непременно приказано гнать васъ отсюда“. За что же такая немилость? Онъ сообщилъ мнѣ нѣкоторые обстоятельства, очень, очень для меня лестныя, и которыя мнѣ много доставили бы, еслибъ я поѣхалъ въ Питеръ. Но при первомъ вопросѣ сердцу, оно облилось—если не кровью, такъ слезами. Нѣтъ! Одного только просилъ бы у судьбы—пусть она за извѣстность наградить меня тихимъ счастьемъ, я благословлю ее. Не хочешь ли прочесть маленькую фантазію. Она, вѣроятно, понравится тебѣ, если ты примешь ее не болѣе, какъ за импровизацію сердца.

Проходятъ дни безумнаго волненья;
Душа зоветъ утраченный покой;
Задумчиво ужъ чашу наслажденья
Я подношу къ устамъ моимъ порой.
Иная мысль въ умѣ моемъ тѣснится,
Иное чувство движетъ грудь:
Мнѣ вольный кругъ цѣпями становится,
Хочу въ тиши семейной отдохнуть.
Исчезъ обманъ мечты самолюбивой;
Открылась вся дней прежнихъ пустота;
Другую мнѣ рисуетъ перспективу
Въ дали годовъ спокойная мечта.

Домашній кровъ... одинъ или два друга...
Поэзія... мѣна простыхъ затѣй...
А тутъ любовь... прекрасная подруга
И вокругъ нея веселый кругъ дѣтей. *

Скажи—Амен"... И затѣмъ, прося Т-борна объ исполненіи нѣсколькихъ порученій, заключаетъ письмо: «Кончу снова поэзіей. 22 февраля (помнишь ли этотъ день?) дружки мои ** сдѣлали мнѣ такой сюрпризъ, который заставилъ меня пролить довольно сладкихъ слезъ, и котораго мнѣ не забыть никогда. Объ немъ—въ слѣдующемъ письмѣ"...

Прелестныя минуты увлеченія молодой возвышенной души. Какъ далеко отъ нея все обыденное!.. Но—въ имѣющихся у насъ бумагахъ покойнаго Ершова есть листокъ, съ набросаннымъ на немъ стихотвореніемъ, неизвѣстно—обработаннымъ ли впоследствии. Стихотвореніе это помѣчено 16 марта, 1839 года, ровно черезъ двѣ недѣли послѣ приведеннаго письма. Надъ стихотвореніемъ, писаннымъ карандашемъ, нарисованъ, тоже карандашемъ, недовольно искусно и слегка, видокъ: вправо, на высокомъ берегу рѣки—замокъ съ башнями; на противоположномъ, низменномъ берегу — могила, на ней крестъ, подъ елью, за нею, влѣво,—березы, начало лѣса. Изъ-за высокаго берега подымается солнце. Стихотвореніе, поверхъ рисунка, озаглавлено: *Перв. весен. цвѣтокъ.*

Утро дохнуло прохладой. Ночные туманы, вѣясь, —
Понеслися далеко на западъ. Солнце привѣтно
Взглянуло на землю. Все снова живетъ и вкушаетъ
Блаженство.—Но ты не услышишь ужъ счастья,
О, замокъ моихъ прародителей! Пусть солнце
Своимъ лучемъ золотитъ шпицы башенъ твоихъ.
Пусть вѣтеръ шумитъ въ твоихъ стѣнахъ опустѣлыхъ,
Пусть ласточка щебечетъ подъ высокимъ карнизомъ
Веселую пѣсню;—ты не услышишь ужъ жизни

* Это стихотвореніе, подъ заглавіемъ: *Перемяна*, напечатано въ журн. «Библиот. для чтенія», 1840 г., т. 39.

** Такъ Ершовъ называлъ иногда воспитанниковъ гимназій.

И счастья.—Склоняся уныло надъ тихой долиной,
Вашни твои какъ будто смотреть на эту могилу,
Гдѣ схоронено все, что тебя оживляло.
О, еслибъ подслушать, что говорить одинокая ель надъ тобою.
Зачѣмъ преклоняетъ къ землѣ вершину свою
И слезы росы отрясаетъ съ листьевъ своихъ;
О, еслибъ прочесть, что мохъ начерталъ на стѣнахъ опустѣлыхъ,
Много бы, много сказали эти тайныя буквы;
Ихъ поняло бъ сердце, мечта бы ихъ полюбила,
И чувство, глубокое чувство ихъ затаяло.

Это первый весенній цвѣтокъ, первая пѣснь, первая мечта, вылетѣвшая изъ груди молодого поэта, такъ охваченной, казалось, любовью и вождельнною будущностью! Кто не пожелаетъ, чтобы прекрасныя созданія, какого бы содержанія и въ какой бы ни было формѣ, вылетали непрестанно изъ души поэта, чтобы никогда не смолкалъ звонъ его лиры — и радостный и грозный. Но отчегожъ, среди упоенія готовящагося блаженства, вдругъ неожиданно первымъ цвѣткомъ, первую пѣсню являются глубоко грустныя мысли, предметы печальной думы? Что навело поэта на представленіе и разрушающагося замка и унылой недѣтельности, въ видѣ могильнаго тлѣнія?...

Отъ 24 іюля 1839 года, Ершовъ пишетъ: „Я долго не отвѣчалъ тебѣ, мой милый Т-борнъ, и пишу теперь такое короткое письмо не безъ причины. Но объ ней послѣ. Въ сентябрѣ, а можетъ и раньше, ты получишь огромное письмо обо всемъ. Теперь скажу только, что я завязалъ одно изъ тѣхъ дѣлъ, отъ которыхъ зависитъ судьба жизни. Догадываешься? Но до времени—молчаніе. Теперь снова просьба; только не скучай, пожалуйста, моею докучливостію. Изъ всѣхъ пріятелей ты одинъ только такой человѣкъ, на котораго можно положиться. Поэтому, вини не меня, а скорѣе твою исправность. Вотъ въ чемъ дѣло. Въ предписаніи, журналѣ М. Н. П. 1837 года декабрь (или 1836), министра народнаго просвѣщенія попечителямъ учебныхъ округовъ сказано: выдавать опредѣляющимся въ ученую службу не въ зачетъ

третье жалованье съ тѣмъ, чтобы выслужить въ этой службѣ не менѣе двухъ лѣтъ. Сверхъ того законами положено—отправляющемуся на службу въ Сибирь получать полный окладъ жалованья и двойные прогоны. Последнее я получалъ при отъѣздѣ изъ Петербурга; теперь хлопоталъ о первомъ. Дѣло доходило до министра, и мнѣ отказано подъ тѣмъ предлогомъ, что я воспользовался полнымъ окладомъ. Не знаю — хорошо-ли представлено было министру мое дѣло. Эти два преимущества совершенно различны: однимъ пользуются только служащіе по министерству просвѣщенія, другимъ же— всѣ, служащіе въ Сибири. Притомъ же, не знаю, почему отказано *одному* только *мнѣ* въ третьемъ жалованьи: товарищи мои получили его, несмотря на то что они, такъ же какъ и я, воспользовались полнымъ окладомъ. Справься, мой милый, въ министерствѣ, или попроси отъ моего имени А. В. Никитенко *. Что скажутъ они? Возобновлять ли мою просьбу (я я знаю, что она справедлива) и въ какомъ видѣ? 600 руб. не бездѣлица для меня. Въ министерствѣ ты, вѣроятно, увидишь мое дѣло и подробности о немъ узнаешь. Да не замедли отвѣтомъ. Еще одно обстоятельство. Сначала въ просьбѣ моей отказали по той причинѣ, что я опредѣленъ до введенія новыхъ штатовъ въ Тобольской гимназіи. Я доказалъ противное. Помогли же мнѣ, мой милый. Кромѣ тебя мнѣ обратиться не къ кому. Кланяйся П. А. Плетневу, Пожарскому, Масальскому ** и всѣмъ моимъ знакомымъ. Можетъ быть, судьба нынѣшнимъ же годомъ заставитъ меня съ вами увидѣться. Но, милый Т-борнъ,—для моего счастья, не желай мнѣ этого“.

Мы привели это письмо цѣликомъ, по многимъ поводамъ, которые для читателя-психолога очень важны. Прекрасный пылъ души молодого поэта усиливается, а—заботы, хотя неизбежныя, естественныя, но обыденныя, заботы о насущномъ

* Александръ Васильевичъ Никитенко, бывшій тогда профессоръ въ С.-Петербургскомъ университетѣ, признававшій талантъ Ершова и содѣйствовавшій ему совѣтами.

** Пожарскій, молодой писатель и М. Масальскій, братъ писателя, К. П. Масальскаго, университетскіе товарищи Ершова.

поднимаются и притомъ — вдали отъ мѣста удовлетворенія...

Эти заботы, если взглянуть только на первыя строки слѣдующаго письма Ершова, отъ 26 октября 1839 года, повидимому, унікають. Онъ пишетъ къ Т—борну: „.....Ты спрашиваешь — каковъ я съ директоромъ? Ни хорошо, ни худо. Больше ничего сказать не могу. Но, во всякомъ случаѣ, мнѣ придется отказаться отъ награжденія: потому что директоръ, безъ просьбы, не представитъ (хотя бы и слѣдовало кой-за-что), а я просить вовсе не намѣренъ. Пусть будетъ воля Божія да милость царская!“. И потомъ продолжаетъ: теперь слѣдуетъ развязка всѣхъ намековъ, которыми наполнены были письма къ тебѣ. Она коротка, только два слова, но зато какія два слова: я женатъ. Если ты любишь меня, то поздравись и, вѣрно, пожелаешь всего лучшаго. Рассказывать тебѣ всѣ обстоятельства — не позволяетъ ни время, ни осторожность переписки. Скажу только, что я былъ влюбленъ почти два года, испыталъ и доброе и худое, что дѣлаетъ любовь раемъ и адомъ; два раза писалъ въ Петербургъ о переводѣ меня туда и два раза возвращалъ съ почты мои просьбы. Однимъ словомъ, былъ влюбленъ *comme il faut*. Наконецъ, видя, что отъ борьбы моей съ самимъ собою мнѣ не лучше, рѣшился поступить по-Александровски — разрубить узелъ свадьбою. Но и тутъ судьба поиграла мною. На первое предложеніе мое я получилъ отказъ. Въ первую минуту самолюбіе или, если хочешь, гордость взяла верхъ надъ страстію, и я рѣшился вылечить себя. Но недѣля, одна только недѣля доказала мнѣ, какъ слаба человѣческая природа. Тоска, какой я не испытывалъ еще въ жизни, дотого овладѣла мною, что я, Богъ знаетъ, на что бы рѣшился, безъ помощи добрыхъ моихъ пріятелей. „Нѣтъ! счастье жизни дороже глупой гордости!“ сказалъ я, схватилъ перо и написалъ новое предложеніе. Тутъ разныя обстоятельства тянули дѣло до конца августа; наконецъ, 29 числа я получилъ согласіе и на другой же день представленъ былъ женихомъ. 8 сентября была скромная свадьба, послѣ обѣдни—безъ всякой пышности. Вотъ тебѣ и объясне-

ніе. Если хочешь знать, кто моя жена—скажу: вдова одного инженернаго подполковника, Серафима Александровна Л—ова, а приданое — красота, ангельскій характеръ и четверо милыхъ дѣтей. Такъ какъ я не искалъ ни знатности, ни богатства, то я надѣюсь, что судьба наградитъ меня за доброе дѣло. Впрочемъ я совершенно предаю себя волѣ Провидѣнія.— Съ нынѣшней зимы хочу заняться посерьезнѣе: жалованья моего мнѣ недостаточно; по крайней мѣрѣ постараюсь литературными моими трудами дополнить недостатокъ. Здѣсь я желалъ бы поговорить съ тобою откровеннѣе. Если не представится мнѣ случая быть при здѣшней гимназіи инспекторомъ, то я думаю перебраться въ Петербургъ. Тамъ, если дороже содержаніе, зато много средствъ получать все нужное. Поговори-ка, мой милый Т—борнъ, съ Александромъ Васильевичемъ *. Чтѣ онъ присовѣтуетъ. Инспекторское мѣсто я могъ бы получить такимъ образомъ: Томскій директоръ просится въ отставку; нельзя ли будетъ здѣшняго (Тобольскаго) инспектора перевести въ Томскъ директоромъ, а тутъ бы открылся и мнѣ случай. Или, если этого сдѣлать нельзя, то не отыщется ли мнѣ мѣсто при министерствѣ просвѣщенія съ хорошимъ жалованьемъ; учителемъ же быть мнѣ уже надоѣло: каждый день твердить одно и то же наскучить и Юву. Поговори объ этомъ и съ Петромъ Александровичемъ **. вѣроятно, онъ помнитъ обо мнѣ и не откажется помочь мнѣ, если не дѣломъ, то хоть совѣтомъ. Но во всякомъ случаѣ увѣдоми меня, что скажутъ, чтобы не предложили мнѣ такой должности, къ какой я неспособенъ. Когда же не удастся ни здѣсь ни тамъ, останусь при прежнемъ, съ надеждою на Бога. Я теперь столько счастливъ, сколько можно быть счастливымъ для человѣка. А если и желаю перемѣны, то это для пользы моего семейства"... Замѣтивъ при этомъ, что онъ дѣлаетъ пріятелю новыя хлопоты, и сообщивъ о бывшемъ, около этого времени, въ Тобольскѣ, большомъ пожарѣ, онъ закончиваетъ письмо: „Я привикаю

* Никитенко.

** Плетневъ.

къ новому роду жизни и къ экономіи. Но пословица: „женисься—перемѣнишься,“ или несправедлива, или не имѣла надо мной силы. Потому что я такой же лѣнтяй, какъ и прежде, также безъ причины веселъ, безъ причины печаленъ (последнее нынче рѣже), сижу попрежнему дома или ребачусь съ дѣтьми, которыя всѣ меня любятъ. Но не думай, чтобъ я и не занимался: на все есть время (хотя на лѣнность его всего больше)“.

Это письмо хорошо представляетъ первые дни новой жизни Ершова, жизни добраго заботливаго мужа, образованнаго отца и честнаго человѣка, какимъ онъ оставался до конца своей жизни. Для составленія возможно-полной характеристики его, мы считаемъ необходимымъ продолжить выписки изъ всѣхъ имѣющихся у насъ писемъ его и другихъ лицъ, выписки тѣхъ мѣстъ, которыя, хотя сколько нибудь, очерчиваютъ или его личность, или ту обстановку, въ которой онъ находился, его попытки обращенія къ нѣкоторымъ, цѣнившимъ его лицамъ, объ участіи въ его положеніи, вообще то, что имѣло вліяніе на его характеръ и на всю его жизнь. Біографія замѣчательнаго лица — одинъ изъ лучшихъ руководителей въ жизни каждому человѣку. Многое въ біографіи можетъ казаться, даже въ самомъ дѣлѣ быть, мелочью: но развѣ неважно узнать причину, напр., потери зрѣнія, хотя бы мы узнали, что причиною была только песчинка, отъ которой или сами мы не убереглись, или другіе не остерегли насъ. Мелочи иногда бываютъ причиною смертельной болѣзни. При такомъ убѣжденіи, не упуская изъ вида цѣли, для которой мы взялись разсказать все извѣстное намъ о жизни Ершова, мы станемъ продолжать выписки изъ его откровенныхъ задушевныхъ писемъ. Какъ бы иная выписка ни представила его мелочнымъ, а гдѣ-жъ безукоризненный человѣкъ?—изъ полнаго очерка его жизни мы все-таки увидимъ, что поэтическое начало, или, по его же выраженію,

Непостижимаго жученья

Неистребимаго зерно,

сохранилъ онъ въ душѣ своей, но обстановка жизни его, почти безъ всякой посторонней помощи, необходимой ему, по-

иѣшала творчеству; и всеже онъ до гроба остался человекомъ честнымъ, въ лучшемъ значеніи этого слова. А каждый ли своею жизнію можетъ дать право на такое широкое о себѣ заключеніе?

Въ слѣдующемъ, за послѣднеприведеннымъ, письмѣ, отъ 28 декабря 1839 года, онъ говоритъ: „....Ты не повѣришь, съ какимъ нетерпѣніемъ было ожидаемо письмо отъ тебя и съ какою радостію прочитано. Оно успокоило меня на счетъ расположенія петербургскихъ моихъ знакомыхъ и дало мнѣ надежду когда нибудь поправить мои обстоятельства. Но, для Бога, не укорай меня въ вѣтренности, ни въ неблагодарности относительно добрѣйшаго Петра Александровича. Правда, во все пребываніе мое въ Сибири, я ниразу не писалъ къ нему; но на это я имѣлъ причину, можетъ быть, ошибочную, но тѣмъ не менѣе оправдательную. Ты знаешь мой характеръ: мысль — обезпокоить кого нибудь, особливо лицо, уважаемое мною, давить иногда самое пламенное желаніе. И о чемъ бы я сталъ извѣщать его изъ Сибири, гдѣ каждый день отиѣчается или новою глупостію, или новою сплетнею. А что уваженіе мое къ Плетневу нисколько не измѣнилось, этому доказательствомъ могутъ послужить многія письма мои къ моимъ знакомымъ, а особенно (если нужно явное доказательство) то, въ которомъ я сужденіе о небольшой моей поэмѣ, *Сузѣ*, отдалъ единственно П. А. — Ты можешь догадываться о щекотливости автора, и потому поймешь, что нужно сильное довѣріе къ кому нибудь, чтобы утвердиться на его сужденіи, отказавшись отъ своего. Но я рѣшился уничтожить мой трудъ, еслибы мой цензоръ не нашелъ въ немъ ничего достойнаго. — Обратимся къ дѣлу. 25 декабря получено было письмо твое, и протекшіе три дня посвящены были думѣ, на что рѣшиться? И вотъ результатъ ея. Ѣхать въ Томскъ директоромъ, лестно, очень лестно для молодого человека. Но я и то отдаленъ отъ милого Петербурга на 3000 верстъ; надо прибавить еще полторы тысячи, чтобы быть въ Томскѣ. А кто поручится — къ какимъ попаду людямъ, каковъ будетъ начальникъ. И въ случаѣ чего непріятнаго — скоро ли услышится мой голосъ

*

за 4500 верст! Остаться въ Tobольскѣ инспекторомъ—это нѣсколько лучше, по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что я буду жить между знакомыми, въ кругу родныхъ; но и тутъ не безъ запятой. Отношенія мои къ директору не то чтобы непріязненны, но и вовсе не дружны. Я теперь всторонѣ, занимаюсь своимъ предметомъ; но и теперь много противныхъ мыслей о преподаваніи раздѣляютъ насъ. Что жъ будетъ, если, на мѣстѣ инспектора, я каждый день долженъ буду имѣть съ нимъ сношенія и каждый день идти, положимъ, несовсѣмъ напротивъ, всетаки не по одной мысли! Три года службы хорошо познакомили меня съ директоромъ, и я знаю, что намъ не дослужить вмѣстѣ. Нѣтъ, лучше въ Петербургъ, къ людямъ, которые, несмотря на странность моего характера, поймутъ меня, снисходительно посмотрятъ на мои ошибки и отдадутъ должное заслугамъ, если онѣ окажутся. Такъ, это рѣшено. Я долженъ быть въ Петербургѣ. Но какъ? Это—дѣло Провидѣнія и милости моихъ покровителей. Ты пишешь слова П. А., „если я имѣю возможность пріѣхать на свой счетъ въ Петербургъ и жить тамъ полгода безъ жалованья, то чтобы ѣхалъ“. Да дѣло-то въ томъ, что нѣтъ возможности *. Нельзя ли будетъ *перевести меня*. А я готовъ ждать здѣсь, на мѣстѣ, моего перевода. Но только одно—чтобы должность была не трудная (напр. инспекторская) и чтобы жалованье было достаточное на содержаніе моего семейства. А я увѣренъ, что ходатайство такихъ лицъ, какъ Плетневъ и Жуковский, сдѣлаетъ все возможное.—Другое обстоятельство. Князь Горчаковъ ** сегодня ѣдетъ въ Петербургъ и, вѣрно, въ половинѣ января тамъ будетъ. Нельзя ли будетъ намекнуть ему о какомъ нибудь награжденіи, напр. годового или полугодового оклада. Князь, вѣрно, не откажется, тѣмъ больше, что онъ самъ, при отъѣздѣ, благодаривъ меня за ученіе его дѣтей, сказалъ: „это за моихъ; скоро надѣюсь поблагодарить васъ и за общихъ на-

* Здѣсь мы опять жалѣемъ, что не существовало тогда Общество для пособія нуждающимся литераторамъ.

** Бывшій тогда генералъ-губернаторомъ западной Сибири.

шихъ дѣтей“ (намекая на учениковъ гимназій). Здѣсь кстати (хоть и совѣстно намекать на свои заслуги) прибавлю о приведеніи мною въ новый порядокъ гимназической библіотеки къ пріѣзду Государи Наслѣдника, о пожертвованіи, болѣе чѣмъ на 500 руб., книгъ и монетъ. Князю должно быть это хорошо извѣстно.—Что жъ касается о силѣ К—ва при князѣ, то это очень сомнительно. Князь не имѣетъ любимцевъ; можно убѣдить его доказательствами истины, а не внѣшнимъ вліяніемъ. По крайней мѣрѣ такъ я объ немъ слышалъ.—Ѣхать же пока въ Вологду или Новгородъ я не рѣшусь. Все это повлечетъ за собою лишнія издержки; а мой карманъ нерѣдко вопіетъ къ богинѣ счастья. Нѣтъ, ужъ лучше, если нельзя прямо въ Петербургъ *по казенной подорожной*, остаться при здѣшней гимназій и ждать благопріятной погоды....“ Въ заключеніе этого письма, приписано: „Если почтешь нужнымъ, покажи это письмо П. А., извинясь напередъ отъ моего имени въ разныхъ разностяхъ, разсѣянныхъ на этомъ листѣ. Да, ради Бога, отвѣчай при первой возможности. Я не буду спокоенъ до полученія твоего письма....“ Нельзя не обратить вниманія и на нѣкоторыя приписки на поляхъ письма, подтверждающія; между прочимъ, слова о стѣснительномъ положеніи Ершова: „Конька продалъ я, на второе изданіе, московскому купцу Шамову, половину въ 12-ю и половину въ 64 долю листа, на длинныхъ условіяхъ....“ „Если ты знакомъ съ Гребенкой, то спроси, отдалъ ли онъ мои стихи и на какихъ условіяхъ, да скажи, что пора бы и отвѣчать ему мнѣ.“— „Скажи еще П. А., что, несмотря на мои причины ѣхать туда или сюда, я полагаюсь на его совѣтъ, какъ сдѣлать лучше.“— „Прошу тебя, мой милый, въ самый же день полученія этого письма побывать у П. А—ча. Я писалъ къ нему, что ты передашь ему мою личную просьбу“.

Житейскія потребности, заботы, тревоги, неразлучныя съ семейною жизнію, сильно заговорили въ Ершовѣ тотчасже послѣ его женитьбы, какъ видно изъ этого письма; но онѣ не одолѣли его честныхъ убѣжденій, благородныхъ правилъ; онѣ, и побуждая его къ литературной дѣятельности и, вмѣ-

стѣ съ другими многими препятствіями, мѣшая этой же дѣятельности, не сдѣлали изъ него писателя-спекулятора, готоваго жертвовать всею нравственностью, лишь бы добыть копѣйку.

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 8 февраля 1840 года, онъ говоритъ: „...Послѣднее письмо твое хотя не сказало мнѣ ничего рѣшительнаго о моемъ дѣлѣ, однако доставило мнѣ удовольствіе видѣть, что есть еще люди, которые принимаютъ во мнѣ живое участіе. Дай Богъ здоровья Петру Александровичу и Василью Андреевичу *, и всѣмъ, которые или словомъ, или дѣломъ помогаютъ мнѣ! Теперь мнѣ должно думать о двухъ дорогахъ—или въ Питеръ, или въ Томскъ. Я, съ своей стороны, рѣшаюсь на обѣ, даже если опредѣлять меня инспекторомъ и здѣсь, въ Tobольскѣ. Лишь бы только имѣть побольше возможности содержать приличнымъ образомъ мое семейство, любезное для меня по многимъ отношеніямъ.—Теперь вопросъ: судя по дѣйствіямъ П. А., я надѣюсь, что онъ принялъ письмо мое милостиво; но все таки я желалъ бы знать поподробнѣе, что онъ говорилъ при этомъ; какъ нашелъ мой поступокъ (касательно моей женитьбы) и пр. и пр. Ты одинъ можешь отвѣчать мнѣ на это, и я прошу не жалѣть ни бумаги, ни перьевъ, сообщая мнѣ даже малѣйшія обстоятельства. Мнѣ даже желательно бы знать что говорятъ и знакомые мои объ этомъ. Развернись-ка, мой милый Т—борнъ, да напиши отвѣдъ листа въ 4, а я тебѣ 4 раза поклонюсь за это, а при свиданіи 4 раза обниму. Пиши все, что было, что слышалъ, не опасаясь огорчить меня.—Поклонись отъ меня и поблагодари А. О. И—ву (я думаю, что это была та дама, которую видѣлъ ты у Плетнева, и которая черезъ отца своего хотѣла просить обо мнѣ князя Горчакова). Я видѣлъ ее только однажды въ Петербургѣ; но для добраго сердца ненужно короткаго знакомства, чтобы оказать благодѣяніе.—Буду ждать съ нетерпѣніемъ, какой приметъ оборотъ ходатайство В. А. Жуковскаго у министра, и содѣйствіе Н—ки и попечителя, а до

* П. А. Плетневъ, и В. А. Жуковскій.

тѣхъ поръ буду утѣшать себя надеждою благопріятныхъ послѣдствій. Вѣхъ же въ Петербургъ, не имѣя вѣрной цѣли, я не могу и по финансовымъ и по семейнымъ обстоятельствамъ...“ Въ заключеніе письма Ершова говорить: М—скій какъ канулъ въ воду—ни слуху, ни духу, ни письма, ни „Донъ-Кихота.“ Ну, да Богъ съ нимъ! Три года разлуки показали, кто меня любилъ искренно, кто—отъ нечего дѣлать. Впрочемъ и то сказать, сила не въ числѣ, а въ достоинствѣ знакомыхъ.—Не слыхалъ ли ты чего нибудь о Т—скомъ? о Б—скихъ? Напиши, что знаешь.“ А на поляхъ письма приписано: „Если узнаешь что нибудь рѣшительное обо мнѣ, не замедли увѣдомить, чтобы я могъ заблаговременно приготовиться.“

Въ письмѣ, отъ 16 іюля 1840 года, Ершовъ говоритъ: „...А я такъ порядкомъ виноватъ предъ тобою. Последнее письмо твое было получено мной 22 мая, а я отвѣчаю на него 16 іюля—почти чрезъ два мѣсяца! Несовсѣмъ подружески; но что жъ дѣлать? Невсегда бываешь господиномъ своихъ желаній; иногда обстоятельства спорятъ съ охотою и заставляютъ ее молчать предъ силою своихъ представлений.—5 мая я испыталъ удовольствіе—назваться отцомъ. Но не спѣши поздравлять меня: малютка жила только нѣскольکو часовъ и, можетъ быть, для того, чтобъ принять св. крещеніе; а въ вечеру лежала уже на столѣ. Трудно описать, что чувствовалъ я въ этотъ день. Всѣ переходы отъ самаго тяжкаго отчаянія до самой живѣйшей радости—были испытаны. Я и плакалъ и смѣялся, и пѣлъ и молился. Будетъ время,—поймешь и ты это состояніе, а теперь всѣ слова будутъ блѣдны. Теперь, въ грустныя минуты, я люблю припоминать себѣ обстоятельства этого дня: рожденіе, крещеніе и кончину маленькой моей Серафимы; исторія короткая, но для меня очень занимательная. Первый плодъ даръ Господу—эти слова, или лучше, эта мысль составляетъ мое утѣшеніе...“ „Кстати, насчетъ распросовъ моихъ о томъ, какъ приняли мою женитьбу петербургскіе мои пріятеля, отнеси ихъ къ одному только любопытству. Мнѣніе пріятеля

твоего * очень сильно и справедливо, и я раздѣляю его во всей полнотѣ. Но, повѣрь, когда у меня достало духу перенести отказъ и вновь начать дѣло, среди множества препятствій, то, вѣрно, найдется довольно характера, чтобъ равнодушно выслушать разныя разности, отпускаемыя гдѣ легкомысліемъ, а гдѣ недоброжелательствомъ. Одно—я не только не думалъ раскayваться въ своемъ поступкѣ и въ своемъ выборѣ, но еще благодарю Бога за оба эти дѣла...“ „Перейдемъ къ моимъ дѣлишкамъ. Видно, мнѣ не суждено быть счастливымъ въ службѣ. Въ Петербургѣ нѣтъ мѣста; и здѣсь тоже нѣтъ. Мало этого: по два года представляютъ меня къ наградѣ и оба раза ввернется что нибудь такое, что остановить представленіе: то просрочать бумагой, то покапризничаетъ начальникъ, а ты сиди себѣ у моря да жди погоды.—Бываешь ли ты у П—ва, у Н—ки? Что говорятъ они? есть ли надежда—нынѣшній годъ перебраться къ вамъ? Еще одна вещь—очень любопытная, но для меня вовсе непонятная. Что значить эта грозная критика (если подобную пустошь можно назвать критикой) въ „Отечественныхъ Запискахъ“ касательно *Комька*? Давно ли Краевскій восхвалялъ его въ своемъ журналѣ? Или это двуязычіе необходимо для человѣка, поступившаго въ цехъ журналистовъ? Спроси пожалуйста, объ этомъ казусѣ у Плетнева. Но горько мнѣ, если и добрый Петръ Александровичъ почему нибудь перемѣнилъ о трудахъ моихъ свое мнѣніе. А думается такъ, потому что въ „Современникѣ“ ** объ *Комькѣ* не сказано ни слова. А его мнѣніе мнѣ дороже всѣхъ въ совокупности.—О себѣ жъ скажу, что несмотря ни на что, я не откажусь отъ поэзіи, и теперь хочу пристальнѣе заняться Русскою Исторіей и испытать новый родъ. Думаю также докончить „*Вому-кузнеца*“ и возвратить ему доброе имя, запачканное мараньемъ

* Въ письмѣ Т—борна, мы вздумали, какбы по словамъ неизвестнаго Ершову лица, развить мысль,—что когда шагъ сдѣланъ, то недолжно обращать вниманія на разныя толки, а надобно бодриться на новомъ пути.

** Журналъ „Современникъ“ издавался тогда подъ редакцію П. А. Плетнева.

какого-то писаки. Ты, я думаю, читалъ несчастную оперу: „Оома-кузнецъ съ береговъ Иртыша“. Не знаю, кому пришла въ голову мысль—позабавиться надъ мной такъ низко. Богъ судья ему!—Еще двѣ недѣли, и вождѣлѣнныя каникулы смѣнятся экзаменами, а потомъ и ученіемъ. Придется опять читать азъ-буки, азба, право—не лучше. Не повѣришь, какъ скучно двадцать разъ говорить одно и то же; и что хуже, говорить не по убѣжденію, а потому, что такъ написано въ риторикѣ Кошанскаго. У насъ, братецъ, такая строгость, что преподаватель *не долженъ смѣть свое сужденіе имѣть*, иначе назовутъ немного не бунтовщикомъ. Ужъ пусть бы позволили читать по своимъ запискамъ, все бы легче, а то—чортъ знаетъ, что такое!..“

Въ короткой запискѣ, отъ 17 сентября 1840 года, Ершовъ проситъ Т—борна похлопотать, чтобъ книгопродавецъ издатель „Библіотеки для чтенія“, А. Ф. Смирдинъ выслалъ ему деньги, за напечатанныя въ этомъ журналѣ стихотворенія его, по условленной платѣ, 1 руб. за стихъ, присовокупляя: „Деньги мнѣ очень нужны“; и упомянувъ далѣе: „Съ удовольствіемъ читаю, что П. А. не перемѣнилъ обо мнѣ своего мнѣнія: оно для меня важнѣе всѣхъ вмѣстѣ,“—закончивается записку: „Мы живемъ здѣсь попрежнему и все въ надеждѣ будущихъ благъ. Да и что, въ самомъ дѣлѣ: Богъ не безъ милости, казакъ не безъ доли. Стерпится, слюбится.—Въ первомъ письмѣ, которое ты будешь писать ко мнѣ, собери извѣстія о всѣхъ общихъ нашихъ знакомыхъ. Любопытно узнать, гдѣ кто, куда кого забросила судьба?..“

Въ письмѣ, отъ 10 января 1841 года, къ Т—борну, Ершовъ говоритъ: „...Я давно собирался писать къ тебѣ, да все откладывалъ, ожидая полученія денегъ, чтобы вдругъ и писать и благодарить тебя. Но, подумавъ, что г. Смирдинъ, можетъ быть, промучить меня до новаго 1842 года, рѣшился наконецъ писать къ тебѣ,...“ и упомянувъ, что деньги, которыхъ ему теперь причтется около 600 руб., нужны ему на уплату долговъ, онъ проситъ снова похлопотать о высылкѣ ихъ ему; изъявляетъ готовность завѣдывавшему тогда редакціею „Библіотеки для чтенія“, Э. И. Губеру, участво-

вать постоянно въ этомъ изданіи; спрашиваетъ, не говорятъ ли П. А. Плетневъ о его давнишней просьбѣ, т. е., о перемѣщеніи его на другую должность; поручаетъ также хлопотать объ отправкѣ ему, въ Tobольскъ, оставленнаго имъ въ Петербургѣ у одного пріятеля, полного изданія; „Вѣстника Европы“, который желаетъ у него купить Tobольская гимназія, и заключеніе пишетъ, какъ разнообразится его жизнь: „...Теперь, чѣмъ же угостить тебя за твои новости. Tobольскъ не Петербургъ. Довольствуйся тѣмъ, что Богъ послалъ. На Рождествѣ, по моей милости, смастеренъ былъ въ гимназіи театръ изъ воспитанниковъ. Давали два представленія: въ первый разъ—*Добрый малый*, комедію Загоскина; во второй разъ—мой анекдотъ: *Суворовъ и станціонный смотритель*, и два водевиля: *Искатель обѣдовъ* и *Актеръ и музыкантъ*. Зрителей была полна зала; аплодисментамъ не было конца, и могу сказать, не изъ снисхожденія, а того требовала справедливость. Ученіи играли преміло. Но что особенно дало ходъ представленію, то это случай: онъ послалъ намъ одного надзирателя за казеннокоштными воспитанниками изъ московскихъ студентовъ: онъ игралъ *Ладова* (въ *Добромъ маломъ*), *Суворова*, и *Квинточкина* (въ *Актеръ музыкантъ*). Что за комическій талантъ! Онъ могъ бы, безъ самохвальства, замѣнить Дюра *.—Новый годъ мы встрѣтили у добраго нашего начальника (губернатора Ладыженскаго), и пробыли до 4 часовъ утра. Я въ первый разъ еще маскировался—запорожцемъ; но такъ какъ былъ безъ очковъ, то многимъ отдаливъ ноги и потолкалъ саблей. Теперь, съ 7 января, опять за обыкновенными своими занятіями; а вечерами готовлюсь дать спектакль на масляной.—Другаго, любопытнаго этого, ничего не знаю...“ Въ этомъ же письмѣ прислалъ онъ, для „Современника“, два пріобрѣтенныя имъ, изъ альбомовъ, стихотворенія покойнаго А. С. Пушкина.

Какъ видно, въ это время Ершовъ, и среди нужды, заботъ и почти гаснущихъ надеждъ на улучшеніе своего матеріальнаго быта, оставался человекомъ съ живою бодрою

* Бывшій известный актеръ на Петербургской сценѣ.

душою и что онъ могъ бы принести гораздо большую пользу обществу на поприщѣ, болѣе ему сродномъ, нежели должность учительская, въ которой онъ прѣтомъ не только не полновластенъ, но даже ограничивается вмѣшательствомъ посторонними и неосновательными.

Черезъ мѣсяцъ, и именно 5 февраля 1841 года, онъ вновь проситъ Т—борна хлопотать о высылкѣ упомянутыхъ денегъ, которыхъ онъ ждетъ уже больше года и которыя ему необходимы, чтобъ раздѣлаться съ долгами. Давая Т—борну еще нѣкоторыя коммисіи, онъ говоритъ: „...Вотъ ужъ годъ, какъ я переписываюсь только съ однимъ тобой; прочіе жалѣютъ бумаги и времени на переписку съ тѣмъ, котораго, бывало, сто разъ увѣряли въ вѣчномъ дружествѣ. Ужъ эти мнѣ друзья, друзья, промолвлю, наконецъ и я. Впрочемъ, Богъ съ ними. Я вспомнилъ одинъ анекдотъ, который отчасти можно примѣнить къ этому обстоятельству. У одного философа бѣжалъ невольникъ; друзья его совѣтовали ему обратиться къ правительству, чтобы отыскать бѣглаго. Чтожъ философъ? — Онъ сказалъ только: „если невольникъ умѣетъ обойтись безъ меня, то стыдно было бы мнѣ не умѣть обойтись безъ него.“ — Я теперь почти свылся съ мыслию — остаться въ Тобольскѣ. Можетъ быть, дадутъ когда нибудь мѣсто повыше; можетъ быть, и литературные труды мои будутъ аккуратнѣе награждаемы; тогда стану жить въ своей семьѣ, не залетая высоко и покоривъ желанія дѣйствительности. Нынче слѣдовало мнѣ получить чинъ 8 класса; но такъ какъ не былъ посланъ въ сенатъ формуляръ моего отца, то я и остаюсь при старомъ. А формуляръ надобно вытребовать еще изъ Петербурга, изъ штаба отдѣльнаго корпуса внутренней стражи. Богъ знаетъ, когда это кончится. Кстати, нынче я опять представленъ къ наградѣ и боюсь, чтобы не кончилось тѣмъ же, что и въ прошлые годы. Представляютъ, мнѣ сказывали, къ полному годовому окладу. Когда увидишься съ А. В. Никитенко, то нельзя ли стороною намекнуть ему объ этомъ: онъ знакомъ почти со всѣмъ департаментомъ, такъ могъ бы замолвить объ полномъ окладѣ тобольскому учителю Петру Ершову. Впрочемъ оставляю это

на твою волю; я и то почти съ каждой почтой беспокою тебя моими просьбами...”

Съ каждымъ днемъ вопіющія пужды, видимо, ставятъ Ершова въ разрядъ обыкновенныхъ тружениковъ, и — не протягивается къ нему рука сильнаго, которая вывела бы его изъ этого ряда и дала бы возможность стать подъ знамя избранныхъ самою природой. Укоръ, дѣлаемый Ершовымъ петербургскимъ молодымъ друзьямъ его, несовсѣмъ основателенъ; конечно, хотя изрѣдка могли бы они сообщаться съ нимъ письмомъ, но — они были и сами въ лучшемъ положеніи только потому, что находились въ Петербургѣ или хоть не въ глуши; помощь собрату никто изъ нихъ, при всемъ желаніи, не могъ; а между молодыми людьми совѣты изъ практической жизни принимаются и даются тѣмъ труднѣе, чѣмъ даровитѣе личности; принимать же на себя такіа коммисіи, какія принималъ добродушный университетскій товарищъ Т—борнъ, имѣвшій и довольно свободнаго времени и какую-то особенную охоту, чуть не страсть, угодить пріятелю, они не могли: они только съ грустью смотрѣли на почти предвидѣнныя ими стѣснительныя обстоятельства собрата въ отдаленномъ, малолюдномъ мѣстѣ; а изъявлять сочувствіе къ его бѣднымъ радостямъ или гнетущимъ горестямъ — кому нетяжко. Молодымъ петербургскимъ пріятелямъ, конечно, могло казаться только забавнымъ вмѣшательство начальника съ риторикою Кошанскаго въ преподаваніе учителя-писателя, тогда какъ этотъ же начальникъ самъ нуждается въ руководителѣ по письмоводству, т. е., по прямой своей обязанности, какъ это и случилось при представленіи Ершова къ чину. Между тѣмъ, каково вліяло это на Ершова морально и даже матеріально.

Въ письмѣ къ Т—борну, отъ 2 мая 1841 года, Ершовъ, послѣ продолжающихся заботъ о добытіи всѣхъ экземпляровъ „Вѣстника Европы,“ для продажи гимназической библіотекѣ, говоритъ: „.....Теперь хочется мнѣ сообщить тебѣ порученіе довольно щекотливое. Ты пишешь, что П. А. Плетневъ жалѣетъ, что судьба связала меня съ С — инымъ и С — скпмъ. Очень бы радъ развязаться съ ними, и все, что

имѣю въ головѣ и сердцѣ, отдать „Современнику“. Но вотъ видишь ли, мой милый, въ чемъ остановка. Литературныя занятія для меня, какъ челоѣка съ небольшимъ учительскимъ жалованьемъ и съ порадочнымъ семействомъ на рукахъ, представляются мнѣ, по крайней мѣрѣ, по окончаніи трудовъ, средствами житейской прозы. И не обвиняй меня въ этомъ: извѣстность извѣстностью, а долгъ обезпечить тѣхъ людей, которыхъ судьба поручила мнѣ и которые для меня милы, также что-нибудь да значить. Пріятна мысль, что я тружусь и труды мои доставляютъ пользу моему семейству,—такая мысль много имѣетъ вліянія на труды и придаетъ больше рѣшимости.—Еслибы (вотъ обстоятельство щекотливое) П. А. былъ такъ добръ, что помогъ бы мнѣ въ этомъ случаѣ, то я бросилъ бы и Смирдина и Б. для Ч., и постарался бы не унижить себя въ глазахъ добрѣйшаго П. А.—Дѣло твое, мой милый Т—борнъ, передать это самымъ деликатнымъ образомъ издателю „Современника“ и написать мнѣ отвѣтъ его и его условія.... „Не напоминаю о долгахъ, зная, что ты и Э. И. Губеръ, и безъ этого, стараетесь объ нихъ....“ На поляхъ этого письма есть двѣ замѣтки, какъ двѣ прекрасныя грани на нѣжной душѣ Ершова: „Вчера (1 мая) нашъ добрый губернаторъ Ладыженскій далъ намъ свободу, и мы встрѣтили праздникъ весны въ полѣ“ *.—„Жена тебѣ кланяется и благодаритъ за память о ней (на ушко тебѣ, какъ другу: она для меня настоящій ангелъ).“

Оставаясь по конецъ жизни своей въ правилахъ честныхъ, съ отроческою душою христіанина, Ершовъ оставался и чисто русскимъ. Потомуто сказка его и проникнута такъ русскимъ духомъ; потомуто онъ и могъ съ такимъ увлеченіемъ описать праздникъ въ Tobольскѣ, въ маѣ 1841 года, по случаю бракосочетанія Государа Наслѣдника, нынѣ благополучно царствующаго Государа Императора. Описаніе

* Въ окрестностяхъ Tobольска каждое открытое пространство земли, поросшее травой, окаймленное ипогда лѣсомъ, называется *полемъ*, и служитъ мѣстомъ прогулокъ для городскихъ жителей, незнающихъ другихъ дачъ.

это, присланное Ершовымъ къ Т—борну, тогдаже напечатано въ № 128 „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1841 года.

А между тѣмъ, какъ лелѣяли эту дѣвственную душу такіе просвѣщенные умы, такіе опытные въ жизни, знатоки человѣка, какимъ частью считался, напр., извѣстный тогда писатель О. И. Сенковский. Каково было для молодаго человѣка въ Сибири, въ глуши, среди нуждъ всякаго рода, съ пламенною душою, съ лирою въ рукахъ, до которой ему дотронуться некогда, получать такіа извѣстія, какія мы сейчасъ узнаемъ. Предварительно необходимо сдѣлать, изъ случайно сохранившагося письма Т—борна къ Ершову, выписку того, противъ чего говорить Ершовъ въ отвѣтномъ письмѣ.

Т—борнъ, по желанію Ершова, — объ уплатѣ денегъ за его стихотворенія, напечатанныя въ „Библіотекѣ для чтенія“, редактированной тогда О. И. Сенковскимъ, — рѣшился обратиться къ Сенковскому, жившему въ ту пору на дачѣ, въ Павловскѣ, и вотъ что немедленно сообщилъ Ершову о послѣдствіяхъ: „.....Теперь переведи духъ и слушай, что я сообщу тебѣ. Впервые, человѣкъ Сенковского объявилъ мнѣ, что баринъ его, по нездоровью, не можетъ принять меня, и потому не угодно ли мнѣ будетъ побывать у него въ Петербургѣ. На это приглашеніе я отвѣчалъ, что я въ два мѣсяца едва могъ урвать свободный денекъ, чтобы пріѣхать къ нему въ Павловскъ, и что еслибы не крайняя необходимость видѣть его, то я никакъ бы его не беспокоилъ. Послѣ такого объясненія, сообщеннаго барону Брамбеусу, мнѣ назначено было пожаловать къ нему, когда онъ откупается, т. е. чрезъ полчаса; и потому, пошатавшись это время по павловскимъ улицамъ, я отправился къ нему, — Раскланались; сѣли; я объяснилъ, въ чемъ дѣло.

Онъ. Я не понимаю, съ чего беретъ Ершовъ такъ смѣло требовать съ меня денегъ за стихи и назначать цѣну; это точно торгъ на Сѣнной. Ему ничего не слѣдовало получить и не будетъ слѣдовать. Всѣмъ извѣстно, что я никогда за стихи не платилъ; какъ же онъ можетъ требовать?

Я. Ершовъ отнюдь не думалъ требовать этихъ денегъ. Вы были такъ добры и обѣщали ему, по расположенію ва-

шему, платить по рублю за стихъ, и потому онъ основывался на общаніи вашемъ, сообщенномъ впослѣдствіи Губернѣ, а черезъ меня — Ершову.

Онъ. Я помогаль Ершову, здѣсь, въ Петербургѣ, какъ бѣдняку. Онъ былъ бѣденъ; я вывелъ его въ люди, я доставилъ ему хорошее мѣсто въ Tobольскѣ, гдѣ онъ получаетъ порядочное содержаніе: съ него очень довольнѣ.

Я. Если вы всегда были къ нему такъ добры, то, кажется, тѣмъ, что онъ уѣхалъ въ дальніе края, въ Tobольскъ, онъ не могъ сдѣлаться менѣе достойнымъ вашего расположенія.

Онъ. Я долженъ вамъ сказать, что я очень недоволенъ Ершовымъ: я ему все здѣсь сдѣлалъ, а онъ поступилъ со мною очень подло;—извините за выраженіе,—онъ былъ очень неблагодаренъ противъ меня.

Я. Я знаю Ершова почти десять лѣтъ, и увѣренъ, что онъ не заслуживаетъ этого порицанія; еслиже онъ чѣмъ-нибудь могъ вооружить васъ противъ себя, то это, вѣроятно, произошло по наговорамъ другихъ. Напротивъ, Ершовъ очень хорошо помнитъ, что вы для него сдѣлали, что вы первый познакомили его съ читающей публикою, напечатавъ въ „Библиотекѣ для чтенія“ отрывокъ изъ его *Конька-Горбунка*. Еслибы не разстройство его положенія, онъ бы не сталъ беспокоить ни васъ, ни меня, никого въ свѣтѣ. Но теперь онъ терпитъ недостатокъ, совершенно одинъ въ далекомъ краю, оставленъ всѣми тѣми, кто прежде здѣсь ласкалъ его, благодѣтельствовалъ ему.—Онъ бы давно былъ здѣсь, но нѣтъ средствъ, при его настоящемъ положеніи, и собраться въ дальнюю дорогу.

Онъ. Скажите, когда были напечатаны стихи Ершова, и какіе именно?

Я объяснилъ ему.

Онъ. Хорошо. Мнѣ помнится, что я приказалъ управляющему моею конторою отослать Ершову деньги, въ началѣ года; если это еще не сдѣлано, то я распоряджусь.—Вѣдь онъ все тамъ же, въ Tobольскѣ?

Я. Да-съ. Но позвольте мнѣ справляться въ вашей кон-

торѣ, когда посланы будутъ деньги, чтобъ объ этомъ увѣдомить Ершова.

Онъ. Это ненужно-съ. Я самъ пошлю деньги къ нему; такъ и напишите.

„Тутъ мы раскланялись; я ушелъ, и радъ-радъ былъ, что кончился этотъ тягостный разговоръ, потому что я чуть-чуть не наговорилъ ему грубостей, и этимъ испортилъ бы все дѣло, хотя и теперь не надѣюсь на успѣхъ его. Отдѣлавшись отъ барона Брамбеуса, я отправился въ воксаль, отобѣдалъ, послушалъ прелестную музыку Германа, и часу въ 11-мъ вечера паровозъ отвезъ меня въ Петербургъ....“

На это Ершовъ писалъ, отъ 25 сентября 1841 года: „Какъ и чѣмъ мнѣ поблагодарить тебя, мой милый Владимиръ, за твою истинно дружескую заботливость о моихъ дѣлишкахъ! Думаю, думаю, и не нахожу ничего лучше, какъ просить Бога, чтобъ Онъ наградилъ тебя за твое доброе сердце.—Сказать откровенно—разутѣшилъ ты меня описаніемъ разговора твоего съ С. Ай, да баронъ! По его словамъ выходитъ, что и воздухъ, которымъ я дышу, и солнце, которое грѣетъ мои грѣшныя кости, — все это даръ могущественной его десницы! Ну, ужъ пусть бы говорилъ онъ, что по его милости я сталъ знакомъ съ грамотной братіей (хотя и здѣсь поневолѣ вспомнишь благороднаго А. С. Пушкина), — это было бы еще нѣсколько похоже на правду; но утверждать, что и занимаемымъ теперь мною мѣстомъ я обязанъ ему—это ужъ изъ рукъ вонъ. Г. С. забылъ, кажется, что, какъ кандидатъ университета, я всегда могъ бы занять подобное мѣсто и не въ Tobolskѣ, и что содѣйствіе князя Дондукова-Корсакова въ этомъ случаѣ было важнѣе ходатайства баронскаго. Но — Богъ съ нимъ! Когда-нибудь мы сочтемся съ нимъ въ обязательствахъ. Одно только желалъ бы я знать, въ какой подлости замѣтилъ меня почтеннѣйшій О. И.?....“

Что могло бы быть послѣдствіемъ такихъ отзывовъ для Ершова, даже, какъ мы завѣрное знаемъ, ничѣмъ и непоясненныхъ, не говоримъ уже — неосновательныхъ. Къ счастью, онъ, въ своемъ уединеніи, находилъ силу въ могучемъ

для него элементъ, которымъ былъ проникнуть всецѣло и всегда,—въ религіи. Всеже отпадающія надежды на сочувствіе подобны отпадающимъ листьямъ, безъ которыхъ дерево замираетъ, а человѣкъ?... И въ какія минуты получилъ Ершовъ это извѣстіе! Онъ пишетъ далѣе: „....Но бросимъ эту глупую матерію. Мнѣ должно сообщить тебѣ гораздо важнѣйшее обстоятельство семейной моей жизни. Порадуйся и пожалѣй обо мнѣ. 6 сентября Богъ благословилъ меня во второй разъ быть отцомъ дочери—тоже Серафимы. И хотя малютка подавала всѣ надежды къ жизни, однакожь, наученный первымъ опытомъ, я поспѣшилъ просвѣтить ее христіанскимъ крещеніемъ — и хорошо сдѣлалъ: въ 11 часовъ ночи съ ней сдѣлался припадокъ, и я опять осиротѣлъ попрежнему. Признаюсь, этотъ ударъ былъ очень, очень для меня чувствителенъ, тѣмъ больше, что малютка, какъ я сказалъ, родилась подъ самыми благопріятными обстоятельствами. Она кричала громко, какъ здоровое дитя, приняла охотно дѣтскую пищу: слышно было, какъ она всасывала въ себя питательную жидкость; наконецъ, нѣсколько разъ открывала голубые свои глазенки.... Кажется, я имѣлъ полную причину предаться радости. Но Богъ судилъ иначе. На другой день я долженъ былъ отвезти ее къ старшей ея сестрѣ. Нѣтъ, мой милый Т-борнъ, ты не поймешь моего страданья: довольно, что я не спалъ трое сутокъ; въ каждой комнатѣ слышался мнѣ плачь моей Серафимочки—и я невольно глоталъ свои слезы. Я увѣренъ, что ты пожалѣешь обо мнѣ отъ души: два года, и двѣ потери.... Вотъ и теперь, когда пишу къ тебѣ эти строки, сердце сжалось безъ милосердія, и, со всей охотой писать къ тебѣ, я не знаю, чтó и какъ писать. Принужденъ думать надъ словами.... Нѣтъ, лучше повременю, успокоюсь.—Прочиталъ письмо и хотѣлъ было разорвать его, такъ оно показалось мнѣ пріятно! Но подумалъ — что за счеты съ пріятелемъ, — и продолжаю. Начну съ домашняго обихода. Въ три мѣсяца (въ которые я ждалъ да ждалъ отъ тебя вѣсточки) ничего не произошло замѣчательнаго. Я въ той же гимназіи — гулялъ на вакаціи, сдалъ свои экзамены въ августѣ, и съ сентября опять считаю тѣ же самые столбы

по дорогѣ, какъ и пять лѣтъ назадъ тому. Одна только перемѣна въ моихъ классахъ: прежде я занималъ лекціи послѣ обѣда, а теперь выбралъ утреннія, а послѣ обѣда дѣлаю кейфъ за чашкою кофе съ трубкою табаку, или съ книгой на постели. Остальное все по-старому. — Говорятъ, что я примѣтнымъ образомъ пополнѣлъ, да я не вѣрю этому, хотя, правду сказать, прежнее платье далеко не сходится. А что постарѣлъ, такъ это ужъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. И теперь съ бакенбардами во всю щеку и съ очками на глазахъ представляю пресолиднаго мужа. Впрочемъ, это пустяки: сколько могу замѣтить, душа не потеряла юношескаго жара, а сердце — довѣрчивой простоты. Также опрометчиво сужу, также прыгаю отъ удовольствія, какъ и во время оно, когда въ блаженномъ званіи студента, безъ копѣйки въ карманѣ, сидѣлъ съ Влад. Алек. * за стаканомъ чаю и импровизировалъ напропалую. И еслибы мнѣ сохранить эту душевную свѣжесть навсегда, то хоть сейчасъ подставилъ бы голову подъ пудру сѣдины: такъ она не страшна мнѣ кажется. Двигалъ было меня сначала, въ первые дни женитьбы, бѣсенокъ честолюбія, чтобы доставить любимой мною женѣ болѣе почетное мѣсто въ обществѣ, чѣмъ то, которое я теперь занимаю, но, увидя, что плетью обука не перешибешь и что милая моя Серафима любитъ меня и не въ чинахъ, я бросилъ эту пустую затѣю — чиновлюбія, и доволенъ своимъ званіемъ. Лишь бы только Господь далъ мнѣ средства обезпечить наше житье-бытье, и я вполне былъ бы счастливъ“....

Счастливъ!... Но эта, хотя и шутя выраженная, забота о здоровьи не кладетъ ли уже дѣйствительно нѣкоторой тѣни на здоровье Ершова, потрясенное всѣмъ доселѣ испытаннымъ? Къ счастью, что онъ отъ природы получилъ характеръ легкій; притомъ поддерживается глубокою религіозностію и своею прекрасною спутницею — женою: онъ, въ самомъ дѣлѣ, могъ возмущаться отъ благороднаго негодованія, приходитъ въ отчаяніе при смерти близкихъ сердцу, и *примать отъ удовольствій*. Не такъ переносилъ бы невзгоды человѣкъ,

* Т-борномъ

съ характеромъ болѣе серьезнымъ. Одинъ изъ близкихъ его родственниковъ разсказалъ намъ, видѣнный имъ, случай въ жизни Ершова, бывшій съ нимъ на двадцать шестомъ году отъ роду. Однажды онъ возвратился изъ гимназіи домой, кажется, послѣ какого-то педагогическаго засѣданія, молчаливый, встревоженный, мрачный; дома готовились сѣсть за обѣдъ, но онъ отказался отъ обѣда, ходилъ въ другой комнатѣ взадъ и впередъ безмолвно. Жена замѣтила, что онъ посматриваетъ даже на пистолетъ: она успѣла унести пистолетъ и запереть мужа въ кабинетъ. Она слышала, какъ онъ страдалъ, рыдалъ, стоналъ. Но черезъ полчаса онъ вышелъ, какбы ничего съ нимъ не произошло, а за чаемъ шутилъ уже среди семьи своей, не касаясь однакоже причины минувшаго волненія. Безъ сомнѣнія, причиною было тяжкое сердечное оскорбленіе, котораго онъ не могъ, по сущности дѣла, раздѣлить ни съ кѣмъ изъ домашнихъ и принужденъ перенести только на себя,—всеже перенести! А не надламывали ль подобныя тревоги ту или другую пружину въ сердцѣ?....

Въ приведенномъ письмѣ, Ершовъ, извѣщенный, что за помѣщаемыя въ журналъ „Современникъ“, статьи не положено платы, говоритъ: „Послѣ откровеннаго объясненія твоего насчетъ „Современника“, я оставляю свое желаніе, и буду такъ просто дѣлиться съ добрѣйшимъ П. А. *, чѣмъ Богъ послалъ. И въ доказательство, снова присылаю стихи Пушкина, въ томъ видѣ, въ какомъ они мнѣ доставлены. Касательно ихъ подлинности нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Мнѣ прислалъ ихъ задушевный пріятель Пушкина, лицейскій его товарищъ, тотъ самый, который доставилъ мнѣ и первые. Объ имени его—до случая. Только, во всякомъ случаѣ, увѣрь П. А., что я не способенъ никого мистифицировать, да, признаться, и не умѣю. *Поздку мою* ** отдай П. А., пусть онъ печатаетъ ее вполнѣ или отчасти,—безъ всякихъ условій, нѣтъ, виноватъ, съ однимъ условіемъ—не переимѣ-

* П. А. Плетневъ

** Стихотвореніе

нять ко мнѣ добраго расположенія. Будетъ время, когда Ершовъ докажетъ, что онъ ненарасно провелъ столько лѣтъ въ Tobольскѣ, а пока—ожиданіе....“

Еще твердая надежда на силы своего таланта. И какъ не надѣяться человѣку въ 26 лѣтъ и съ такою жизненностію души, при которой, напр., начавъ это письмо подъ впечатлѣніями очень тяжелыми, онъ понемногу находитъ самъ-собою успокоеніе и даже закончиваетъ письмо живымъ воспоминаніемъ хотя и давно минувшей и незначительной, но пріятной для него минуты. Онъ пишетъ: „Ярославцову дружеское поздравіе. До него у меня есть просьба: не можетъ ли онъ, хоть въ твоёмъ письмѣ, переслать милый свой вальсъ, написанный имъ еще во времена студентчества и которымъ онъ меня утѣшалъ до души. Я думаю, онъ вспомнить о немъ. Въ этомъ вальсѣ три части: въ 1-й, представленъ грустный человѣкъ, до котораго долетаютъ звуки вальса; во 2-й, этотъ человѣкъ бросается въ вихрь вальса; въ 3-й, онъ опять представленъ съ грустію въ самой высшей степени. — Да если у добраго Ярославцова есть и еще что своего, то пусть не поскупится переслать ко мнѣ: у насъ есть и фортепіано и руки, умѣющія перебирать клавиши: какъ разъ вспомнимъ пріятеля. — Прощай.“

Доселѣ я обмѣнивался словами съ Ершовымъ чрезъ письма Т—борна. Мое ожиданіе отъ него новаго поэтическаго созданія истощалось, а письма его возбуждали иногда, какъ, безъ сомнѣнія, и въ читателѣ, даже негодованіе. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1841 года, я разразился огромнымъ письмомъ, въ которомъ, рассказавъ о своемъ житьѣ-бытьѣ, напалъ, хотя и съ нѣкоторыми оговорками, на его безцвѣтную жизнь въ дали, на его бездѣтельность, какъ поэта, на его неподвижность, тщетную надежду на нѣкоторые лица и излишнюю къ нимъ довѣрчивость, горячо напоминалъ о его призваніи, о его прекрасныхъ замыслахъ по выходѣ изъ университета, и проч. Недовольный, присланнымъ для напечатанія въ „Современникѣ“, стихотвореніемъ его: *Моя потѣшка*, хотя и написаннымъ благозвучными стихами, я сообщилъ ему, что остановилъ Т—борна отдавать это стихотвореніе въ печать.

Безпощадное письмо это, какимъ оно показалось тогда самому мнѣ, я заключилъ словами: „Т—борнъ, отъ излишняго добродушія, щадилъ тебя: мнѣ показалось это вреднымъ....

Прости! и если такъ судьбою

Намъ суждено, — на вѣкъ прости! *

Въ жизни другой, надѣюсь, ты обнимешь меня!“ — При этомъ письмѣ я послалъ и желаемый имъ вальсъ и еще два написанные мною тогда романа: *Путешественникъ* ** и *Венеціанская ночь* ***, съ посвященіемъ перваго — ему, а втораго — его женѣ. Письмо это отправлено было вмѣстѣ съ письмомъ Т—борна.

Въ письмѣ, отъ 1 января 1842 года, Ершовъ отвѣчалъ, между прочимъ, такъ: „За обязательную вашу посылку слѣдовало бы мнѣ отвѣчать цѣлою дестью благодарностей, милые мои Т—борнъ и Ярославцовъ. Но вините мою болѣзнь, что я оплачиваю вамъ такимъ коротенькимъ письмецомъ... Ноты разыграны были въ тотъ же вечеръ, какъ ихъ выдали подъ росписку моему поручителю. Особенно *Путешественникъ* прекрасенъ ****. Письмо же Ярославцова — правда и правда сущая! Всякій приметъ ее и душой и тѣломъ, тѣмъ болѣе я. Но пусть будетъ спокоенъ геній-утѣшитель: поэтъ не забудетъ себя, своего назначенія.—Отвѣтъ на все, лишь только раскланяюсь съ болѣзнію. До тѣхъ поръ терпѣніе и терпѣніе...“ Въ припискѣ Ершовъ просилъ, нѣтъ ли у насъ вѣрныхъ людей, въ Москвѣ, справиться въ типографіи Степанова, сколько книгопродавецъ Шамовъ напечаталъ *Конька-Горбунка*, въ 1840 году: до него дошла слухи, будто Шамовъ напечаталъ „Конька“ до 3000 экземпляровъ, когда ему продано право только на одинъ заводъ, т. е. 1200 экземпляровъ. Письмо это онъ закончилъ двумя экспромтами. Мы

* Изъ стихотворенія Байрона «Прости», перев. И. Козлова.

** Стихотвореніе Шиллера, перев. В. Жуковского:

*** Стихотвореніе И. Козлова.

**** Конечно, только по содержанію прекраснаго стихотворенія, въ которомъ Ершовъ-поэтъ могъ видѣть себя, какъ въ зеркалѣ.—Мы не рѣшаемся измѣнять въ письмѣ Ершова нѣкоторыхъ выраженій, хотя они и могутъ возбуждать недоумѣніе въ иномъ читателѣ.

приведемъ ихъ, въ доказательство, какъ легко доставался ему стихъ и шутливый и серьезный. Онъ говоритъ: „вотъ вамъ экспромтъ на новый годъ — чудеснѣйшій изъ всѣхъ:

Новый годъ! новый годъ!
Что заботъ, что хлопотъ!
Полонъ лобъ, полонъ ротъ!
Такъ реветъ весь народъ
Натошакъ въ новый годъ.

Это Т—борну, а вотъ и Ярославцову:

12 бьетъ! 12 бьетъ!
И канулъ въ вѣчность старый годъ,
Подъ ношей суетныхъ стремлений
И прозаическихъ заботъ.
Мигъ ожиданія... и вотъ,
Какъ нѣкій духъ, какъ свѣтлый геній,
Вступаетъ новый, юный годъ,
Съ надеждой Божескихъ щедротъ
И утѣшительныхъ видѣній.“

Отъ 7 марта 1842 года, Ершовъ писалъ къ намъ: „Друзья мои, вы вправдѣ бранить меня, сколько угодно, за долгое мое молчаніе. Что сказать мнѣ въ свою защиту? Тысячу разъ брался я за перо и тысячу разъ разныя разности отрывали меня отъ дѣла и бросали то въ служебныя, то въ семейныя надобности. Наконецъ, сегодня, за три дня до почты, я сажусь съ непремѣнною мыслию отвѣчать на послѣднія ваши письма. — И сначала къ тебѣ, мой милый Ярославцовъ, поэтъ словомъ, и дѣломъ, и мыслию! Благодарю тебя за твою обо мнѣ память: она тѣмъ для меня дороже, что отозвалась въ такое время, когда всѣ обо мнѣ забыли, даже и тѣ, которые миллионъ разъ называли меня другомъ и обнимали меня. Плачу ямъ тѣмъ же забвеніемъ. Но напрасно ты винишь меня, будто бы служебныя и семейныя обязанности такъ овладѣли мною, что я совсѣмъ забылъ поэзію. Напротивъ. Никогда я еще такъ не понималъ ее, какъ теперь. Вотъ и главная причина, почему я бросаю перо на время, пока

зерно не созрѣетъ. А оно зрѣетъ, скажу безъ самохвалства, и, можетъ быть, настанетъ время, когда душевный цвѣтокъ раскнется подъ озареніемъ *высшаго солнца*. Ты поймешь мое направленіе. Съ нѣкотораго времени, оно тѣснитъ мои наклонности, показываетъ всю мелочность прежнихъ цѣлей и вдали, въ отрадномъ свѣтѣ, открываетъ другую высокую цѣль поэтическому призванію. Но довольно объ этомъ. Я счастливъ тѣмъ, что наконецъ выбираюсь на ту стезю, на которую смотрѣлъ я такъ жадно въ первые годы сознанія и съ которой—бурная юность * отвлекла меня въ другую сторону.— Ты спросишь о теперешнихъ моихъ занятіяхъ. Каждый день сижу я нѣсколько часовъ за переводомъ одной французской книги: *La douloureuse passion de N. S. Jesus Christ*. Не знаю, имѣлъ ли ты въ рукахъ эту книгу. А если нѣтъ, то скажу тебѣ, что я не читалъ ничего занимательнѣе. Это видѣнія одной монахини о страданіяхъ Спасителя, писанныя со словъ ея извѣстнымъ нѣмецкимъ поэтомъ Клеменціемъ Брентано. Эти видѣнія имѣютъ такой характеръ истины, что не смѣешь сомнѣваться въ ихъ дѣйствительности. Достань и прочти. Мнѣ хотѣлось бы переводъ этой книги приготовить къ изданію, но боюсь, чтобъ наши духовныя лица не возстали. Впрочемъ я исключаю или примѣняю къ нашимъ вѣрованіямъ все, что могло бы броситься въ глаза православію. Увѣренъ, что успѣхъ этой книги несомнѣненъ. Надняхъ жду нѣмецкаго подлинника: у меня есть знакомый, знатокъ нѣмецкаго языка, и мы повѣримъ переводъ. Но *объ этомъ между нами*. Что намъ до другихъ, когда другимъ нѣтъ дѣла до насъ.—Любопытенъ прочесть твою повѣсть **. Это должно быть музыка въ словахъ. Я говорю музыка—въ высшемъ значеніи этого слова, т. е. вся душа наружу. Дѣйствуй, мой милый! Если мое желаніе нужно было бы для твоего успѣха, то успѣхъ твой будетъ неимовѣрный.— Но знаешь ли что — я предчувствую въ тебѣ сильную борьбу: музыка и слово—это двѣ сестры одной матери, но несхожія;

* Конечно, только гиперболическое выраженіе.

** Я писалъ тогда романъ, «Любовь музыканта», — мою попытку въ литературѣ.

таинственность и глубина первой не поладятъ съ ясностію второй. Любопытно, на чьей сторонѣ будетъ перевѣсъ. Боюсь за одну и радуюсь за другую. Опытъ рѣшить —

Въ словахъ ли музыка прольется,
Иль слово въ звукахъ задрожитъ.“

Въ этомъ же письмѣ, обращаясь къ Т—борну, онъ, между прочимъ, упомянулъ о привязанности къ нему воспитанниковъ гимназіи. Онъ говоритъ: „22 февраля *,—день куренія пятнадцати трубокъ **, — проведенъ мною препріятно. Ученики сдѣлали мнѣ сюрпризъ—смастерили театръ и сыграли моего *Суворова* ***. Въ заключеніе спектакля была иллюминація съ бенгальскимъ огнемъ, который чуть-чуть не выѣлъ глаза всѣмъ зрителямъ. Но, знаешь ли — тутъ важное дѣло усердіе и привязанность. Спасибо добрымъ моимъ ученикамъ. Не всѣ учителя, даже и повыше учителей, удостоиваются подобной чести...“

Въ письмѣ, отъ 30 марта 1842 года, Ершовъ, изложивъ условія, на которыхъ соглашался продать сказку свою, *Конекъ-Горбунокъ*, на одно изданіе, книгопродавцу Смирдину, который предполагалъ издать ее съ картинками,—что, однакожъ, почемуто не состоялось,—разсыпался шутками, какъ бывало между нами въ пору его студентчества, и заключилъ письмо: „Вы можете видѣть, что я сегодня удивительно веселъ. А отчего? а оттого, что кончилъ одно дѣло, которое занимало меня четыре мѣсяца.—Но больше не любопытствуйте. Я сдѣлался ужасно скрытенъ: цѣлыя два письма буду васъ мучить... Пишите чаще и чаще, больше и больше, хвалите меня и браните, утѣшайте и сердите, а на мои малыя письма не смотрите: вѣдь я одинъ, а васъ двое“.

Пріятельскія письма Ершова, представляя его жизнь шагъ-за-шагомъ, всегда были чистымъ отголоскомъ его души. Такъ

* День рожденія и именинъ П. П. Ершова.

** Напоминаніе студентскихъ шутокъ: въ этотъ день иной изъ молодыхъ товарищей брался выкурить, въ честь именинника, пятнадцать трубокъ.

*** *Суворова и станціонный смотритель*, драматическая сцена.

въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 14 іюля 1842 года, писанномъ въ какомъ-то неопредѣленномъ состояніи духа, онъ, между прочимъ, говоритъ: „Я сегодня что-то не въ духѣ. Не-то грустно, не-то невесело. Мысли едва ползутъ изъ головы, слова не клеятся. Ну, да что за расчеты съ пріятелями. Критиковать не стануть...“ Видно, — это настроеніе духа произошло подъ нѣкоторыми тяжелыми воспоминаніями, по прочтеніи писемъ Т-борна и моего. Мы посѣтили могилу брата его, Николая, и вотъ какъ онъ принялъ это: „Друзья! дайте мнѣ ваши руки. Горячее пожатіе ихъ, молча, съ слезой на глазахъ — довольно ли вамъ этого отвѣта? Прибавлю еще: теперь, не бойтесь, путь къ вашей могилѣ тоже не заростетъ травой: Богъ правосуденъ, а въ людяхъ живетъ еще добродѣтель. — Но, друзья, довершите уже ваше дѣло: 15 августа день смерти *нашего* Николая, — посѣтите уединенную его могилу, и пусть голосъ вѣры прозвучитъ надъ ней молитвою пастыря. Еще одно слово. Помнится, я писалъ къ Т-борну о гранитномъ крестѣ. Поставьте его — этотъ христіанскій символъ! Ненужно никакихъ прикрасъ. Вырѣзать только: *Миръ праху твоему!* Расходы на меня...“

Напоминаніе мое о дняхъ, проведенныхъ съ нимъ въ Петербургѣ, вызвало у него такой вздохъ: „Напоминаніе о незабвенныхъ дняхъ залиговской * жизни, о талисманѣ М. V. и пр... сколько думъ навѣяло мнѣ это воспоминаніе! и гдѣ эти дни? гдѣ эти исполинскіе планы? Все улетѣло съ учительской профессіей! Пусть теперь рѣшаютъ философы: или судьба индѣйка, или человекъ индюкъ...“

Жива душа Ершова, но какіе же плоды могутъ расти на полѣ безъ воздѣлывателей? Онъ самъ пишетъ все въ томъ же письмѣ: „У насъ каникулы. Это видно, потому что учителя сидятъ дома, ученики гуляютъ, а собаки бѣгаютъ, высунувъ языкъ. Каникулы — кличка по шерети. Далѣе. Покорный вашъ слуга рѣшительно бездѣльничаетъ, т. е. не то, чтобы бездѣльничаетъ, а сидитъ вовсе безъ дѣла. Читать жарко, писать

* Лиговка, канавка въ Петербургѣ, недалеко отъ которой жилъ Ершовъ.

жарко, мечтать жарко, да и мухи мѣшajúть. А вслѣдствіе всего этого выходитъ, что — время катить чередомъ, часъ за часомъ, день за днемъ, а Ершовъ сидитъ все пнемъ. Дурно, очень дурно, скажете вы; а я со всеуниженнѣйшимъ поклономъ: что жъ дѣлать-съ! вѣдь природы не перекокаешь *. Да нѣтъ же, чортъ возьми! Этотъ пенъ сохранилъ еще корни. Дождется яснаго солнца да питательнаго дождя и пустить вѣтви отъ моря до моря и отъ рѣки до предѣловъ вселенныя, разольетъ соки свои въ вѣтви, зашумитъ зеленью и станетъ наливать плоды — разъ — два — три — сто и тысяча. Кушайте, люди православные, себѣ во здравіе, свѣту въ утѣшеніе. — А что, братцы? вѣдь славно бы, когда бъ это случилось...”

Такая выходка Ершова, нелюбившаго вообще говорить о неоконченныхъ еще произведеніяхъ своихъ, подкрѣпляетъ въ насъ убѣжденіе, что замышленное имъ громадное созданіе, въ родѣ русской поэмы, *Иванъ-Царевичъ*, не только росло и развивалось въ душѣ его, но даже, повременамъ, являлось и на бумагѣ. Въ оставшихся, по смерти его, рукописяхъ, которыхъ покойный, въ минуты мрачнаго расположенія душевнаго, много бросилъ въ огонь, найденъ отрывокъ, очень сооветственный замыслу его объ *Иванъ-Царевичъ*. Вотъ онъ весь:

Рано утромъ, подѣ окномъ,
Подпершися локоткомъ,
Дочка царская сидѣла,
Вдалѣ задумчиво глядѣла;
И порою, какъ алмазъ,
Слезка падала изъ глазъ.
А предъ ней, шириной чудной,
Лугъ пестрѣлся изумрудный,
А по лугу ручеекъ
Серебристой лентой текъ.
Воздухъ легкій такъ отрадно

* *Перекокать*, это слово, по объясненію Ершова, употребляется въ Сибири, при битвѣ яицъ, въ праздникъ Пасхи, когда одно яйцо разобьетъ другое. А сибирскій умъ употреблялъ это слово въ пословицу, при всякомъ случаѣ, когда кто возьметъ верхъ надъ другимъ.

Навѣвалъ струей прохладной!
Солнце утра такъ свѣтло
Въ путь далекій свой пошло!
Все юнѣло, все играло,
Лишь царевна тосковала
Подъ косящатымъ окномъ,
Подпершися локоткомъ.
Наконецъ она вздохнула,
Тихо ручками всплеснула
И, тоски своей полна,
Такъ промолвила она:
«Всѣхъ пространнѣй царство наше,
Всѣхъ дѣвицъ я въ царствѣ краше
Бѣла личика красой,
Темно-русою косою,
Нѣжной шеей лебединой,
Рѣчью звонкой соловьиной;
Дочь единая отца,
Я краса его дворца...»

„Но шутки шутками,—продолжаетъ Ершовъ письмо свое,— а я, не въ похвалу себѣ, росту и зрѣю. Будетъ ли плодъ или все окончится пустоцвѣтомъ, а я свое сдѣлаю. А тамъ, буди воля Аллаха, у котораго все написано въ книгѣ предопредѣленія...“

Грустные мечты!—Плоды грустнаго безлюдья! Мыслящая способность росла, окрѣпла въ двадцатилѣтнемъ Ершовѣ: это естественно. Онъ выросъ—можетъ видѣть далѣе, кругозоръ расширился; но что любопытнаго представится тамъ, гдѣ тишь, да гладь, да Божья благодать, а проявленій ума, дѣлъ рукъ человѣческихъ невидно, такихъ дѣлъ, которыя бы питали, волновали и плѣняли возвышенную душу.—Заключение этого письма подтверждаетъ однакожь, что Ершовъ и въ учительской своей обязанности не могъ оставаться только преподавателемъ по программѣ: онъ проситъ, не открывая для какой цѣли, узнать, какія есть лучшія руководства, на русскомъ языкѣ, по предметамъ историческимъ, юридиче-

скимъ, математическимъ, прописывая, по какимъ именно, и—прислать ему списокъ ихъ, съ означеніемъ цѣны каждой книгѣ. Не нуждался ли онъ въ нихъ для замышленнаго труда, который у насъ теперь подъ руками, вчернѣ и еще незавершенный, озаглавленный карандашемъ: *Мысли о гимназическомъ курсѣ*. Это очень дѣльные замѣтки, показывающія, что Ершовъ долго, усердно и всесторонне обдумывалъ этотъ предметъ. Замѣтимъ, что отдаленность отъ столицы мѣшала ему и въ этомъ дѣлѣ, какъ во всемъ... Домогательство же свое—полученія платы за стихи, напечатанные въ „Библіотекѣ для чтенія“, кончилъ онъ въ этомъ письмѣ фразой: „На счетъ попятнаго двора начальника штаба Смирдина — *regateat commercia! regateat* и книжная! и дѣло кончено...“ А сколько надеждъ, а можетъ быть и полезныхъ плановъ было составлено на эти деньги? Сколько хлопотъ, и времени, и досады потрачено на добытіе ихъ? Въ отдаленномъ Тобольскѣ онъ даже ничѣмъ и не замѣнились; будто были въ рукахъ и растаяли.

Въ октябрѣ 1842 года, я отправилъ къ Ершову свою литературную попытку—экземпляръ отпечатаннаго тогда моего романа, „Любовь музыканта“, и просилъ откровеннаго, безпощаднаго мнѣнія его объ этомъ первомъ моемъ произведеніи, подстрекнувъ его къ безцеремонному разбору даже тѣмъ, что я небезприкословно приму его замѣчанія. Письмо его, отъ 20 декабря того же года, посвящено было единственно изложенію его мнѣнія, хотя и съ предварительною оговоркою, что „подобное дѣло между друзьями лучше исполнить въ личномъ разговорѣ, гдѣ замѣчанія могутъ встрѣчаться съ возраженіями и вызывать новыя; а то, на письмѣ, дружеское мнѣніе приметъ тонъ какого-то аристаршаго суда...“ Откровенно, не стѣсняясь ничѣмъ, разобралъ онъ, сколько допустило письмо, мой литературный опытъ, и окончилъ: „Что жъ въ заключеніе? Разборъ мой, видишь, самый строгій и потому самый дружескій. Я сказалъ, что чувствовалъ. Могъ ошибиться, но не солгалъ предъ совѣстію. Окончу нѣсколькими строками: ты вышелъ на арену хорошо вооруженный, но слабо дѣйствовалъ; ловкость твоихъ ударовъ не помѣшала

противнику пользоваться оплошностію. Но ты не палъ, хотя и вполонину побѣжденный. Да будетъ же твоимъ девизомъ: надежда въ будущемъ.—Дай же мнѣ руку, Ярославцовъ, въ доказательство, что ты примешь эти строки съ тою же дружбою, съ какою онѣ были изложены. Искренность — условіе друзей.“ Излишнею, конечно, была между нами эта послѣдняя оговорка. Мы приводимъ ее здѣсь, для доказательства—какъ Ершовъ былъ скромнѣе даже и относительно друзей, въ дѣлѣ откровенномъ, но щекотливомъ. — Замѣчанія его о лицахъ въ романѣ возбудили опять грустныя мысли: въ нихъ ярко выразились бесплодность удаленія его отъ движенія жизни, совершенное незнаніе міра практическаго, хотѣ я и самъ былъ тогда еще новичкомъ въ этой области. Герой романа, въ которомъ я домогался представить паденіе таланта, при недостаточномъ самообладаніи, представился ему почти неестественнымъ. Замѣчательно, что паденіе таланта, истиннаго, казалось ему невозможнымъ. А въ герои-то моемъ и тогда, хотя, правда, еще въ образахъ туманныхъ, являлись мнѣ уже нѣкоторыя извѣстныя личности, а въ числѣ ихъ,—и самъ Ершовъ... „Какъ жаль,—отвѣтилъ я ему,—что Ершова нѣтъ здѣсь (въ Петербургѣ)! Примѣрами, которые вокругъ насъ, лучше, нежели словами, можно было бы разубѣдить его въ нѣкоторыхъ понятіяхъ...“ Въ этомъ тонѣ велъ я и всѣ мои возраженія, и радъ былъ, что могъ закончить свою полемику, между прочимъ, припискою: „Недавно въ департаментѣ (народнаго просвѣщенія, гдѣ я тогда служилъ), молодой канцелярскій чиновникъ, возлѣ меня, переписываетъ какую-то книгу, въ стихахъ: я посмотрѣлъ—это былъ твой *Конекъ-Горбунокъ*.“

Необходимо ознакомиться, хотъ частію, съ упомянутымъ очеркомъ серьезно замышленнаго труда Ершова: *Мысли о гимназическомъ курсѣ*. Это подкрѣпить мнѣніе, что онъ и въ дѣлѣ, неполнѣе ему сродномъ, хотѣлъ трудиться добросовѣстно, и, что еще болѣе, соревнуя пользѣ общественной, усиливался, хотя очень скромно, но разумно и основательно,

содѣйствовать исправленію тѣхъ недостатковъ образованія, которые, какъ по опыту на самомъ себѣ, такъ и по наблюденію надъ воспитывающимся юношествомъ, хорошо сознавалъ. Очеркъ этотъ сдѣланъ еще въ 1842 году, слѣдовательно, при тогдашней программѣ учебныхъ курсовъ. Невыполненнымъ трудъ остался, конечно по тѣмъ же причинамъ, по которымъ и многое у Ершова осталось невыполненнымъ. Очеркъ начинается такъ:

„Науки должны имѣть цѣлью пользу человека, сказали знаменитый Бэконъ. Эти слова рѣшили значеніе наукъ и привели умственную дѣятельность къ самымъ утѣшительнымъ результатамъ для человѣчества.

Опираясь на эту великую истину англійскаго философа, можно сказать также рѣшительно, что *образованіе должно имѣть цѣлью пользу*. И дѣйствительно, всѣ убѣждены въ непреложной справедливости этой мысли. Несмотря на то, всетаки эта мысль не имѣетъ полного приложенія.

Желаніе—принести хоть малую лепту на пользу общую—заставило меня написать нѣсколько строкъ о такомъ важномъ предметѣ, каково образованіе...

Минуя учебныя заведенія низшія и высшія, онъ говоритъ, что взглядъ его ограничится только *гимназіями*, какъ *среднимъ* и вмѣстѣ *общимъ* кругомъ воспитанія. Предварительно разрѣшаетъ онъ вопросъ: *что такое образованіе и въ настоящее его значеніе?*—„Образованіе, —говоритъ онъ,— есть развитіе духовныхъ и физическихъ силъ юноши по тремъ отношеніямъ—какъ чловѣка, какъ гражданина и какъ христіанина. Прямое значеніе его—приготовить юношу къ общественному служенію (принимая это слово въ обширномъ смыслѣ), и дать ему всѣ возможныя средства къ довольству и счастью земной жизни.“ Развивая такое опредѣленіе очень обстоятельно и убѣдительно, онъ переходитъ къ разсмотрѣнію *недостатковъ* существовавшей въ его время, въ 1842 году, *системы ученія въ гимназіяхъ*.

„Соображая настоящій способъ ученія,—говоритъ онъ,—мы примѣтимъ *три* рода недостатковъ: 1) нѣкоторые предметы, безъ надобности, усилены; 2) другіе несправедливо

пренебрежены, и 3) наконец большая часть (если не всё) не введена въ должные предѣлы для гимназическаго ученія“. И затѣмъ сильно возстаетъ, что латинскій языкъ, безъ причины, поставленъ краеугольнымъ камнемъ образованія; что виною этому только схоластика и подражательность; что ужъ лучшее бы, если необходимо, краеугольнымъ камнемъ поставить языкъ греческій, какъ языкъ самостоятельный, который и ближе къ намъ по духу и по исторіи. Онъ не предлагаетъ исключить вовсе языкъ латинскій, желаетъ только ограничить преподаваніе его извѣстными предѣлами и никакъ не полагать его краеугольнымъ камнемъ образованія.—Благоговѣя предъ высокимъ значеніемъ математики, онъ находитъ, что преподаваніе нѣкоторыхъ частей ея очень уже усилено въ гимназіяхъ; что математика, притомъ, требуетъ особенныхъ способностей, которыми не всё учащіяся надѣлены; что требовать знанія высшихъ частей математики отъ того, кто съ трудомъ соображаетъ низшія, значить идти наперекоръ природѣ и разсудку.—Къ числу предметовъ, невведенныхъ въ должные предѣлы для гимназическаго ученія (не забудемъ, что Ершовъ говоритъ о своемъ времени—о сороковыхъ годахъ), онъ относитъ: 1) *русскій языкъ и словесность*, находя преподаваніе ихъ ограниченнымъ почти только изучиваніемъ правилъ; 2) *философію*, или собственно—логику, которую изучаютъ слишкомъ схоластически, какъ какую-то умственную технологію. Онъ полагаетъ, что психологія, не только и отчасти метафизика съ исторіею философскихъ системъ непременно должны войти въ составъ преподаванія философіи въ гимназіи; 3) *исторію*, замѣчая что русская исторія преподается гораздо сокращеннѣе, чѣмъ исторія грековъ и римлянъ; 4) подобное же замѣчаніе дѣлаетъ и о преподаваніи *географіи*; о преподаваніи *статистики* выразился онъ такъ: „А велики ли наши познанія въ статистикѣ, это можно судить по тому, что въ 1842 году употребляютъ руководство Зябловскаго, вышедшее (въ свѣтъ) въ 1836 году. Хороша статистика!“ 5) О преподаваніи *богословія* сказано въ очеркѣ такъ: „Этотъ предметъ идетъ лучше прочихъ. Только нѣкоторыя части, нужны для богослова, напр. церковная

исторія, преподаются довольно подробно для свѣтскаго христіанина. Надобно замѣтить также, что объ исторіи нашей церкви едва упоминаютъ. — Къ этимъ же, не въ должномъ порядкѣ преподаваемымъ, предметамъ отнесъ онъ, а) *россійское законодѣніе, судоустройство и судопроизводство*; б) *языки новѣйшіе*; в) *чистописаніе, рисованіе и черченіе*, указывая на тогдашніе недостатки преподаванія ихъ и объясняя причины самыхъ недостатковъ. Затѣмъ переходить къ поясненію, чего недостаетъ гимназическому образованію, или, какъ онъ выразился, какіе предметы въ способѣ ученія *несправедливо пренебрежены*. Указывая здѣсь на отсутствіе: 1) *естественныхъ наукъ*, 2) *технологіи и хозяйства*, 3) *медицины*, 4) *греческаго языка*, 5) *музыки и пѣнія*, 6) *гимнастики, плаванія и верховой ѣзды*, и приводя причины необходимости этихъ предметовъ, онъ составляетъ новую систему воспитанія, съ обозначеніемъ предѣловъ, въ которыхъ должно заключиться преподаваніе предметовъ. Предметами гимназическаго курса онъ назначаетъ слѣдующіе:

а) *науки*:

1. Богословіе.
2. Математика и физика.
3. Географія.
4. Словесность.
5. Философія.
6. Исторія.
7. Статистика.
8. Законодѣніе.
9. Судоустройство и судопроизводство.
10. Естественная исторія.
11. Медицина.
12. Технологія.
13. Хозяйство.

б) *языки*:

14. Русскій и Славянскій.
15. Греческій или Латинскій.
16. Французскій.
17. Нѣмецкій.

в) *искусства*:

18. Архитектура.
19. Чистописаніе и черченіе.
20. Рисованіе.
21. Музыка и пѣніе.
22. Танцы.
23. Гимнастика.
24. Плаваніе.
25. Чтеніе и декламація.

Распредѣляетъ преподаваніе этихъ предметовъ по классамъ, по количеству свойственныхъ въ каждомъ классѣ уроковъ.

Годичный курсъ окончивая апрѣлемъ мѣсяцемъ, онъ полагалъ май мѣсяцъ на экзамены. А употребляя и июнь и июль мѣсяцы для гимнастики, плаванія, собиранія гербаріевъ и т. п., онъ желалъ, такимъ образомъ, соединить съ пріятно-полезнымъ, часто даже вреднымъ, каникулы и занимать учащихся, морально и физически, цѣлый годъ.—Для развязности и удовольствія—устроить, въ свободные дни, театръ, къ участію въ которомъ допускать, какъ бы въ награду, только прилежныхъ учениковъ.—Говоря, между прочимъ, о необходимости учебниковъ, онъ признавалъ записываніе лекцій въ гимназіяхъ бесполезнымъ.

Мы привели только главнѣйшее изъ очерка: *Мысли о гимназическомъ курсѣ*, написаннаго болѣе нежели на осьми листахъ и потребовавшего, конечно, долгаго обдумыванія.—Изъ подобныхъ прозаическихъ трудовъ Ершова мы имѣемъ еще статью: *О перемѣнахъ, происходившихъ въ нашемъ языкѣ, отъ половины IX вѣка до настоящаго времени*. Статья эта изложена обдуманно, ясно и, надобно полагать, для воспитанниковъ гимназій, для которыхъ могла быть очень удовлетворительна и полезна.—Вѣроятно, въ это же время обдумывалъ онъ и *курсъ словесности*, объ участіи котораго мы узнаемъ впоследствии. Теперь станемъ продолжать разсказъ о его жизни практической.

Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 25 февраля 1843. года, онъ такъ выразился о вопросахъ, обращаемыхъ къ его поэтической дѣятельности: „...А вопросы о моихъ трудахъ невольно бросаютъ кровь въ голову. Вотъ и сегодня шутиливо-ласковый вопросъ князя (нашего генералъ-губернатора, который пріѣхалъ въ Tobольскъ): „Часто-ли ты куртизанишь съ музами?“ заставилъ совѣсть мою встрепетнуться. „Очень рѣдко, ваше сіятельство“, отвѣчалъ я смиренно.—„И черезчуръ рѣдко,—сказалъ добрый нашъ губернаторъ:—онъ со всѣмъ измѣнилъ музамъ“.—„Нехорошо, любезный Ершовъ, нехорошо,—продолжалъ князь;—это еще не причина, что ты нашелъ земную музу“ (это комплиментъ моей женѣ).

Все наше чиновначіе смотрѣло на меня почтительными глазами, видя ласку и доброе мнѣніе обо мнѣ князя; но мнѣ, мнѣ было стыдно до глубины сердца. „Рабъ лукавый и невѣрный,—подумалъ я—для того ли Я тебѣ далъ талантъ, чтобъ ты зарылъ его въ землю?“ Но... поставимъ нѣскольточекъ...”

Если и можно упрекнуть Ершова, то развѣ въ томъ, что онъ, какъ молодой, вовсе неопытный человѣкъ, рѣшился ѣхать въ Сибирь изъ Петербурга; что онъ напрасно надѣялся на осуществленіе своихъ *колоссальныхъ* плановъ; что если возвращеніе въ Сибирь было задумано и рѣшено еще до пріѣзда въ Петербургъ, было желаніемъ всѣхъ его родныхъ, особенно—любимой имъ старушки-матери, онъ долженъ бы пойти всему этому наперекоръ, хотябы это стоило слезъ, даже и болѣе чого для близкихъ его; но — способенъ ли, приготовленъ ли былъ Ершовъ къ этому, по своей натурѣ, какую мы въ немъ видимъ. Онъ почти готовъ упрекнуть и самъ себя, „но.... поставимъ нѣсколько точекъ“, заключаетъ онъ. Не думалъ ли онъ подъ этими точками такъ: „вы упрекаете меня: я слабъ, — вы сильны; а помогли ли вы мнѣ, хотябы для вашего же собственнаго интереса? Я стучался и стучусь къ сердцамъ вашимъ, — хотя уже и это укоръ вамъ, что дарованіе, созданное вами, должно еще стучаться къ сердцамъ вашимъ, — а кто жъ безпрепятственно откликнулся, простеръ объятія молодому поэту, понимающему *одни* только объятія, —объятія роднаго, друга, объятія нелицемѣрія“. Но.... поставимъ и мы нѣсколько точекъ, чтобы не впасть въ разсужденіе, которое однимъ ненавистно, какъ укоръ, другимъ скучно, какъ голосъ вопіющаго въ пустынѣ. „Рабъ лукавый и невѣрный“, а между тѣмъ, вслѣдъ за приведеннымъ упрекомъ и размышленіемъ по этому поводу, Ершовъ проситъ Т—борна о доставленіи нѣкоторыхъ свѣдѣній о пріемѣ въ студенты С.-Петербургскаго университета, куда онъ желалъ помѣстить одного изъ своихъ пасынковъ, окончившаго курсъ въ Тобольской гимназій; проситъ также обратиться къ П. А. Шлетневу, не приметъ ли онъ участія въ пріемѣ этого молодаго человѣка въ число казеннокошт-

нихъ. Здѣсь Ершовъ, видя, что у пасынка его есть желаніе и способности къ рисованію, цѣлился доставить ему возможность, въ свободное время, посѣщать классы академіи художествъ. Жена Ершова, заботясь также объ устройствѣ судьбы своего сына, особою запискою просила Т—борна о томъ же. Петръ Александровичъ откровенно объявилъ Т—борну, что по принятію въ университетъ на казенный счетъ онъ, хотя и ректоръ университета, ничего не можетъ сдѣлать; что это не отъ него зависитъ; что онъ имѣетъ власть только надъ принятыми студентами, и совѣтовалъ обратиться, въ этомъ случаѣ, къ правителю канцеляріи попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа. И дѣйствительно, принятіемъ въ казеннокоштные студенты распоряжался тогда исполнѣ бывший попечителемъ округа М. Н. Мусинъ-Пушкинъ. Не зная этихъ отношеній, Ершовъ, огорченный отказомъ, въ короткой запискѣ, отъ 29 апрѣля того же года, между прочимъ, выразился такъ: „Петру Александровичу и прочимъ покровителямъ благодаренъ до глубины души. Со смертію незабвеннаго Пушкина, отношенія ихъ перемѣнились; ну, да и лучше. Ихъ расположеніе было не дѣломъ собственнаго чувства, а только отголоскомъ мнѣнія другихъ. Не великая потеря!...“

Отъ 22 іюля 1843 года, Ершовъ, оговариваясь въ долгомъ молчаніи, пишетъ: „Что сказать вамъ о себѣ? Я тотъ же старшій учитель словесности, какъ и прежде, съ тою только разницею, что титулъ благородія перемѣнилъ на высокоблагородіе. Въ іюлѣ я утвержденъ коллежскимъ ассесоромъ, со старшинствомъ съ 10 іюня 1840 года, а нынче, въ сентябрѣ, представлять меня въ надворные. Это по части чиновположенія. По части же поэтической я рѣшительно живу одними прозками, и ни одного изъ нихъ не привелъ еще въ дѣйствіе. Причина — отчасти служба, которая много уноситъ у меня времени то въ классныхъ занятіяхъ, то въ частныхъ, то составленіемъ записокъ по читаемымъ мною предметамъ. Что ни говорите, а вступивъ въ службу и произнеся священныя слова присяги, мнѣ кажется, грѣшно и безчестно дѣлать, какъ многіе, — между прочимъ. Притомъ,

занимаясь добросовѣстно своимъ предметомъ, я и самъ выигрываю въ знаніи, и спокоенъ въ душѣ. А это что нибудь да значить. Впрочемъ, не думайте, что я ужъ вовсе охладѣлъ къ святому призванію. Нѣтъ! Будетъ время, когда колеблемость моя разрѣшится, и я выступлю на поприщѣ поэзіи не какъ робкій новичокъ, для котораго хвала толпы составляетъ всю награду, а ропотъ ея — истинное наказаніе. Я буду дѣйствовать, какъ тотъ судія, который рѣшаетъ дѣло,

Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Огонь поэзіи еще не потухъ въ душѣ моей. При взглядѣ на міръ, на судьбы людей, при мысли о Творцѣ — сердце мое бьется по прежнему юношескимъ жаромъ, но уже не испаряется въ легкихъ звукахъ, а крѣпко ложится на душу въ важной думѣ. Вѣра въ назначеніе, я спокоенъ въ своей, покаѣнности, медленности, и жду минуты дѣйствія, какъ воинъ ждетъ сигнала къ кровавой борьбѣ. Паду ли я, или буду невредимъ — за все благословлю благое Провидѣніе. Не упрекните меня въ фатализмѣ: вѣра въ Провидѣніе не однозначущее слово съ предопредѣленіемъ....“ Затѣмъ, навѣдываясь о нашемъ житѣ-бытѣ, и извѣщая, что проводилъ одного изъ своихъ пасынковъ въ Казань, куда послѣдній охотно поѣхалъ, для поступленія въ университетъ, онъ просилъ узнать у знакомаго его, въ Петербургѣ, хорошаго музыканта О. К. Г — ке, „получилъ ли онъ, написанное по его желанію и посланное къ нему Ершовымъ, либретто для оперы *Женихъ мертвеца*“.

Около этого времени немногіе журналы погладили меня по головкѣ, за мой романъ, а многіе разразились длинными, чуть не въ размѣръ критики, рецензіями, которыми душили наповалъ мое первое дѣтище. По этому случаю, Ершовъ такъ обратился ко мнѣ въ томъ же письмѣ: „Ярославцову желаю душевно успѣховъ въ литературѣ. Чтѣ-то подѣлываетъ теперь любезный мой компонистъ? Но чтѣ бы ни дѣлалъ, пусть помнитъ одно: журнальное порицаніе большею частію лай собаки. Если онъ въ душѣ убѣжденъ въ своей силѣ, пусть идетъ по избранной дорогѣ, обходя терны и любуясь цвѣтами. Но главное — пусть всегда помнитъ далекую цѣль

своего пути и не скучаетъ трудностями дороги....“ Наконецъ, прося о высылкѣ ему полнаго каталога Смирдинской библіотеки, онъ заключилъ письмо: „пишите, пожалуйста, почаше и побольше. Не смотрите на мои медленные отвѣты. Помните только, что въ глуши, въ которой я обитаю, ваши письма для меня неоцѣнимы. Пишите все, что́ придется въ голову, мѣшая дѣло съ бездѣльемъ. Да, для дружбы, не забудьте 15 августа посѣтить одинокую могилу моего милаго брата“.

Несмотря въ этомъ письмѣ на то, что Ершовъ бодрится самъ и старается ободрять другихъ, кто не почувствуетъ, что отъ письма вѣтъ какою-то уныlostію.

Въ письмѣ отъ 13 ноября 1843 года онъ, между прочимъ, говоритъ: „...особа моя наслаждается совершеннымъ здравіемъ, если не считать болѣзнію кашель и насморкъ, которые я раздѣляю съ природой по сочувствію: съ природой я жизнью одною дышу. Сверхъ того, изрѣдка посѣщаетъ меня бессонница. .. Служебные мои подвиги увѣнчались начальственною милостію. Генераль-губернаторъ представилъ меня въ инспекторы Тобольской гимназіи, съ оставленіемъ при классѣ словесности и съ полными окладами жалованья по обѣимъ должностямъ.... Читалъ, на-дняхъ, глупую критику „Отечественныхъ Записокъ“, по случаю третьяго изданія *Конька*. Вотъ, подумаешь, столичные люди: однихъ бранятъ за правоученія, называя ихъ кошіями съ дѣтскихъ прописей, а меня бранятъ за то, что нельзя вывести сентенціи для дѣтей, которымъ назначаютъ мою сказку. Подумаешь, куда просты Пушкинъ и Жуковский, видѣвшіе въ *Конькѣ* нѣчто побольше побасенки для дѣтей. Но я такъ уже привыкъ къ кривотолкамъ Краевского и К^о, что преспокойно смѣюсь надъ ихъ философіей.—Но что меня бѣситъ, то это подлость людей, называющихся книгопродавцами. Можешь себѣ представить, что нынѣшній издатель *Конька*, нѣкто Шамовъ, напечаталъ мою сказку прежде окончанія съ нимъ условій и не получивъ моего согласія. И до сихъ еще поръ я не имѣю отъ него ни денегъ, ни назначенныхъ экземпляровъ. Съ 1-го декабря, если не получу отъ него удовлетворенія, заведу

судебное дѣло: за праваго Бога!.... Въ послѣдній разъ узнай, будетъ ли мнѣ вознагражденіе отъ Смирдина, по крайней мѣрѣ, книгами, если онъ не имѣетъ денегъ“.... А какъ тяжело было душѣ поэта при всѣхъ этихъ неудачахъ!.... „Въ одну грустную минуту, — заключаетъ онъ настоящее письмо, — я написалъ слѣдующія вирши, которыя и посылаю къ вамъ *, въ доказательство, какъ мнѣ иногда бываетъ грустно, и какъ я разучился писать стихи. И такъ — терпѣніе!

Въ вечерней тишинѣ, одинъ, съ своей мечтою,
Сижу, волнуемый безвѣстною тоскою.
Вся жизнь прошедшая, какъ хартія годовъ,
Раскрыта предо мной. И дружба, и любовь,
И сердцу сладкія о дняхъ воспоминанья
Мѣшаются во мнѣ съ отравою страданья.
Желалъ бы многое изъ прошлаго забыть,
И жизнью новою, другою пережить....
Но тщетны познѣя о прошломъ сожалѣнья.
Мнѣ ихъ не возвернуть, летучія мгновенья!
Они сокрылися и унесли съ собой
Все, все, чѣмъ горекъ былъ и сладокъ міръ земной. —
Я, точно какъ пловецъ, волной страстей влекомый,
Изъ милой родины на берегъ незнакомый
Насильно занесенъ. Напрасно я молю
Возврата сладкаго на родину мою;
Напрасно къ небесамъ о помощи зываю,
И плачу, и молюсь, и руки простираю:
Повсюду горестный мнѣ слышится отвѣтъ —
«Живи—страдай—терпи!... тебѣ возврата нѣтъ!» **

Какими слезами обливалось сердце, когда онъ писалъ эти стихи!—А между тѣмъ страданія усиливаются. Въ коротень-

* Въ письмахъ своихъ къ Т—борну онъ всегда подразумевалъ и меня.

** Эта элегія помѣщена въ рукописномъ собраніи стихотвореній, подъ заглавіемъ: *Грусть*.

кой запискѣ къ Т—борну, отъ 17 декабря того же года, препровождая деньги за книги, купленные и отправленные къ нему, онъ говоритъ: „....Не удивляйся, что письмо мое къ тебѣ короче утиного носа. Нѣтъ ни времени, ни охоты писать. Домъ мой теперь настоящая больница — только и разъѣздовъ, что въ аптеку, да изъ аптеки. Особенно болѣзнь жены меня сокрушаетъ. Вотъ ужъ полтора мѣсяца, какъ она не встаетъ съ постели. Исповѣдалась и приобщилась. Были минуты, когда пульсъ переставалъ биться. Можешь судить о моемъ положеніи! Но теперь, благодаря Бога, есть надежда, хотя и не на скорое выздоровленіе....“ А въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 16 января 1844 года, поговоривъ съ Т—борномъ объ исполненныхъ порученіяхъ по пересылкѣ книгъ и т. п., онъ заключаетъ: „....Теперь умываю руки и подаю ихъ тебѣ и Ярославцову. Съ новымъ годомъ, кажется, я васъ поздравлялъ, а если нѣтъ, то не погнѣвайтесь: нынче мнѣ совсѣмъ было не до поздравленій. А помолиться за васъ помолился. Это, кажется, лучше пустыхъ желаній. — Жена моя поправляется. Два мѣсяца не вставала съ постели и такъ перемѣнилась, что теперь узнать нельзя....“

Въ письмѣ, отъ 14 апрѣля 1844 года, дѣлая Т—борну вновь нѣкоторыя порученія по высылкѣ книгъ и упоминая о своемъ препровожденіи времени городскомъ и домашнемъ, въ праздники пасхи, онъ коснулся вшутку и того, что „не далѣе, какъ вчера, у г. инспектора гимназіи (т. е. у него, произведеннаго инспекторомъ) былъ домашній театръ для дѣтей, и пансіонеры его, вмѣстѣ съ домочадцами, играли три піэсы собственнаго руководѣльа хозяина“.... И заключаетъ письмо: „Жена моя тебѣ кланяется. Она почти совсѣмъ поправилась, только ноги все еще цѣмѣняютъ ей....“ На замѣтку въ письмѣ Т—борна, что А. Ф. Смирдинъ повторилъ, что не считаетъ себя должнымъ Ершову, что онъ отъ Ершова собственно никакихъ стиховъ не бралъ, а что доставлялъ ихъ ему О. И. Сенковский, съ наставленіемъ — никому не платить за нихъ ни гроша, и что поэтому съ требованіемъ платы, за напечатаніе стиховъ въ „Библіотекѣ для

чтенія“, слѣдуетъ обратиться опять къ тому же Сенковскому,—Ершовъ, въ приведенномъ письмѣ, выразился: „Насчетъ благородства Сенковского я могу только сказать, что далъ себѣ слово положить вражду между собою и его совѣстію; и будетъ время, что слово это не слишкомъ пріятно отразится въ его слухѣ....“

При своемъ легкомъ характерѣ, Ершовъ однакоже постоянно и болѣзненно чувствовалъ все болѣе и болѣе изнеженіе свое въ водянистой жизни. Отъ того же 14 апрѣля, онъ писалъ ко мнѣ: „Вмѣсто обѣщаннаго тебѣ огромнаго письма судьба опредѣлила написать тебѣ скудное посланіе. Но вини въ этомъ не столько меня, сколько океаннаго Т—борна. Начну, по старой привычкѣ, письмомъ къ нему и испишусь до-тла, такъ что на твою долю приходится нѣсколько строчекъ. Но я увѣренъ, что ты цѣнишь дружбу не по количеству исписанной бумаги (чихай себѣ г. Т—борнъ). Притомъ же къ почтеннѣйшему Владиміру Александровичу я привыкъ писать всякія глупости (желаю здравствовать, г. Т—борнъ), а къ тебѣ вѣдь нужно писать о дѣлѣ. Все это служить извиненіемъ моего многоглаголанія къ Владиміру и скудости писемъ къ Андрею. — Первый вопросъ мой о твоихъ занятіяхъ. Что наполняетъ твои досуги—поэзія или музыка? И то и другое, вѣрно. Счастливцевъ! Была пора, когда и я увлекался чѣмъ-то похожимъ на вдохновеніе. А теперь я принадлежу, или по крайней мѣрѣ скоро буду принадлежать къ числу тѣхъ чорствыхъ душъ, которыя книги считаютъ препровожденіемъ времени отъ скуки, а музыку заключаютъ въ марши и танцы. Но не вини меня въ этомъ. Опытность научила меня дорожить существенностью, и полза беретъ перевѣсъ надъ звуками славы. Не подумай только, чтобы подъ пользой я разумѣлъ выгоду. — Богъ милостивъ, я не дошелъ еще до этого очерствѣнія; нѣтъ, я понимаю пользу въ благороднѣйшемъ и слѣдовательно въ поэтичѣскомъ ея смыслѣ.

Не лучше ль менѣе извѣстнымъ,

А болѣе полезнымъ быть,

повторяю я, садясь за учебную книгу или думая—нельзя ли

какъ двинуть успѣхи учащихся.—Впрочемъ, все это собственно о своихъ занятіяхъ. Но, сжимая воображеніе и чувство для себя, я готовъ открыть ихъ для другихъ, а тѣмъ болѣе для друга. Успѣхи его всегда будутъ радовать мою душу, и въ числѣ рукоплескателей, вѣрно, явлюсь не послѣднимъ. Итакъ, ты смѣло можешь говорить мнѣ о своихъ занятіяхъ, передавать мнѣ свои мысли и желанія. Другая цѣль не должна пугать тебя. И кто знаетъ, можетъ быть, судьба назначила тебѣ — заплатить старый свой долгъ. Помнишь ли, какъ я возбуждалъ тебя къ дѣятельности, а если забылъ, то хотъ вспомни твоего *Платона* *. Теперь — твоя очередь.... Съ весной начнутся ваши поэтическія прогулки по обворожительнымъ окрестностямъ Петербурга. Хочу и я снова обойти дикіе наши пустыри и освѣжить прежнія воспоминанія. Можетъ быть, явится повѣсть или разсказъ, но ужъ навѣрное не въ стихахъ.—Ради Бога, не считайтесь со мною письмами. Вамъ есть о чемъ писать, а я долженъ по большей части переливать изъ порожняго въ пустое; а можете представить, какъ это скучно. — Будь здоровъ и счастливъ, мой любезный Ярославцовъ, и среди поэзіи не забудь прежняго ея служителя“.

Грустно было читать это письмо. Вооруженный его же словами: *можетъ быть, судьба назначила тебѣ — заплатить старый свой долгъ*, я не замедлилъ напомнить ему, какимъ онъ мнѣ представлялся въ университетѣ; потомъ — когда я слушалъ его прекрасныя мечты, порывы; чего надѣялся, когда впервые еще читалъ его *Конька-Горбунка*, и разразился выходкою на настоящее его какое-то непонятное перерожденіе.... Закончилъ, однакоже, свою филиппику словами: „Да, Впрочемъ, что я разболтался такъ горячо: ты, проказникъ, вздумалъ пошутить, и только!...“

Въ письмѣ, отъ 26 сентября 1844 года, Ершовъ, ссылаясь, въ своемъ долгомъ молчаніи, на лѣнь и дѣлая нѣкоторыя порученія Т—борну, говоритъ: „Ты спрашиваешь,

* Лице въ моемъ романѣ, въ которомъ Ершовъ узналъ себя.

какъ провелъ я каникулы? Очень просто. Двѣ недѣли сидѣлъ, за дождемъ, дома, а другія двѣ недѣли шлепалъ грязь по окрестностямъ; въ августѣ имѣлъ удовольствіе за учебнымъ столомъ дуться на хорошую погоду. А теперь снова рассказываю по классамъ, съ тѣмъ только различіемъ, что прежде рассказывалъ по одному, а теперь по всѣмъ по тремъ.—Теперь—на тѣ вопросы, которыхъ у тебя нѣтъ въ письмѣ. Въ жизни моей или, лучше, въ душѣ дѣлается полное перерожденіе. Муза и служба—двѣ неугомонныя соперницы не могутъ ужиться и страшно ревнуютъ другъ друга. Муза напоминаетъ о призваніи, о первыхъ успѣхахъ, объ искусительныхъ вызовахъ пріятелей, о талантѣ, зарытомъ въ землю и пр. и пр., а служба—въ полномъ мундирѣ, въ шпагѣ и въ шляпѣ, официально докладываетъ о присягѣ, объ обязанности гражданина, о преимуществахъ офиціи и пр. и пр. Изъ этого выходитъ безпрестанная толкотня и стукотня въ головѣ, которая отзывается и въ сердцѣ. А г. разсудокъ — Фишеръ * въ своемъ родѣ — убѣдительно доказываетъ, что плоды поэзіи есть журавль въ небѣ, а плоды службы—синица въ рукахъ.—Вижу, какую кислую мину строить г. Ярославцовъ, держась за своего *Іоанна* **. Да что жъ мнѣ дѣлать. Обманывать честныхъ людей нельзя, а тѣмъ больше пріятелей. Жалѣйте, лучше, объ участи земнородныхъ!...”

Въ 1844 году, въ министерствѣ народнаго просвѣщенія шло дѣло, вызванное крайнею потребностію, объ учрежденіи въ С.-Петербургѣ новой пятой гимназіи. Я сообщилъ объ этомъ Ершову, на случай, если онъ найдетъ возможнымъ переселиться къ намъ, намекнувъ ему, что, судя по представленію губернатора — объ утвержденіи его, Ершова, инспекторомъ, губернаторъ не отказался бы принять въ этомъ дѣлѣ участіе.

* Бывшій профессоръ философіи въ С.-Петербургскомъ университетѣ.

** Я писалъ тогда трагедію: *Царь Иванъ IV Васильевичъ Грозный*, получившую, въ печати, названіе: *Князь Владиміръ Андреевичъ Старицкий*.

Отъ 12 октября 1844 года, Ершовъ отвѣтилъ мнѣ: „Въ самомъ дѣлѣ, послѣднее письмо твое, при всей своей краткости, заключаетъ очень многое. Ты предлагаешь мнѣ возможность быть въ Петербургѣ, быть съ вами—да это такая роскошь, отъ которой, не шутя, не спалось мнѣ двѣ ночи. Я еще не такъ старъ, чтобы память не представила мнѣ семилѣтней жизни въ столицѣ; воображеніе мое не замерзло еще до того, чтобы оставаться равнодушнымъ при очарованіяхъ сѣверныхъ Азій... Но, что ни говори, а все дойдешь до—*нельзя*. А почему? на это есть тысячи причинъ и причинковъ, которыя имѣютъ цѣну только для меня одного. Жалѣй обо мнѣ, называй безумцемъ, дѣлай все, что придется тебѣ на мысль, а все таки дѣло *пока* кончено. Я говорю *пока*, потому что будущее неизвѣстно. Можетъ быть, я еще погуляю на берегахъ Невы, побесѣдую задушевно съ друзьями; только теперь нечего и думать объ этомъ. Будемъ переговариваться чрезъ медленный телеграфъ почтъ, будемъ желать, ожидать, браниться, мириться, только бы не охлаждать въ пріязни. И такъ *атеи!*...“

Конечно, главною причиною остановки въ этомъ случаѣ были незнаніе лица, къ которому можно было бы обратиться о такъ называемомъ *ходатайствѣ*, и надежда сдѣлаться директоромъ въ Tobольской гимназіи, въ мѣстѣ, уже знакомомъ, да и близко своей колыбели, что ему становилось теперь особенно дорого. Уклонившись, безъ объясненія причинъ, отъ моего предложенія, и укоряя въ умалчиваніи—какимъ эпизодомъ изъ жизни Іоанна грознаго воспользовался я для своей трагедіи, онъ говоритъ далѣе въ письмѣ: „...Если же предчувствіе меня не обмануло, то я жду той сцены вполнѣ, гдѣ идетъ рѣчь о Сибири. Какъ ни скучна моя родина, а я привязанъ къ ней, какъ настоящій швейцарецъ. И то произведеніе для меня имѣетъ двойной интересъ, гдѣ выводится моя сѣверная красавица на сцену.—Вотъ тебѣ между прочимъ одна изъ многихъ причинъ, которыя приковываютъ меня къ Tobольску.—Теперь слѣдовало бы мнѣ говорить и о моихъ трудахъ по части литературной, но, увы! самый отчаянный краснбай, умѣющій изъ пустаго переливать въ порожнее,

изъ мухи сдѣлать слона, и тотъ долженъ отказаться отъ такого сюжета. Литературная моя дѣятельность ограничивается пока *теорією*, а практика существуетъ въ одномъ воображеніи. Скажу яснѣе. Вотъ ужъ полгода, какъ я готовлю мои записки или, лучше, гимназическій курсъ Словесности. Хочу отправить его въ вашъ департаментъ на рецензію. Если удастся, то буду просить о введеніи моего курса, по крайней мѣрѣ, въ нашей гимназіи, а не удастся,—такъ *sic transit gloria mundi!* — и дѣло кончено.—Во всякомъ случаѣ, съ новымъ 1845 годомъ кончится мой теоретическій трудъ, а начнется ли практический—объ этомъ еще бабушка надвое сказала: либо дождикъ, либо снѣгъ, либо будетъ, либо нѣтъ. Все будетъ зависѣть отъ того, какова будетъ погода—коли попутная, такъ—развернемъ свое вѣтрило,

Въ путь далекій поплывемъ;...

а если противная, такъ — прощай, что сердцу мило!

Будемъ жить, какъ всѣ живемъ.

При свиданіи съ почтеннѣйшимъ Влад. Ал., скажи ему, что я жду книгъ и между прочимъ остатка „Вѣстника Европы“, пребывающаго въ заповѣдныхъ кладовыхъ Смирдина. Онѣ мнѣ тѣмъ нужнѣе, что я сбылъ „Вѣстникъ“, и чтобъ получить деньги, долженъ только доставить недостающія части.—Кстати. Т—борнъ пишетъ, что вы часто гуляете по окрестностямъ Петербурга. Въ этомъ случаѣ я не только не отстаю отъ васъ, но еще нѣсколько сажень беру переда. Что ваши окрестности? — тотъ же городъ, съ прибавленіемъ садовъ. Нѣтъ, наши окрестности — настоящая гомерическая природа. Одна изъ нихъ такъ соблазняетъ вашего покорнѣйшаго слугу, что онъ хочетъ тряхнуть нетуговѣснымъ своимъ карманомъ и купить ее у хозяевъ. Настоящая Швейцарія, какъ говоритъ одинъ мой знакомый, толкавшійся по бѣлому свѣту. Чудо чудное, прибавлю я, зная Швейцарію только по картинамъ. Если Богъ велитъ приобрѣсти мнѣ такую диковинку природы, то пришлю вамъ двѣ картины: одну — пейзажъ, въ настоящемъ его видѣ, а другую — въ томъ видѣ, какой хочетъ дать ему Сибирское мое воображеніе...”

А между тѣмъ, насколько отдаленность отъ столицы мѣшала Ершову въ удовлетвореніи душевныхъ потребностей, видно нерѣдко изъ его желаній: такъ, короткою запиской, отъ 3 ноября того же года, онъ проситъ Т—борна пріобрѣсти для него экземпляръ затѣянной тогда въ Петербургѣ литографированной Императорской эрмитажной галереи, — и изъ тревожныхъ опасеній его: онъ окончиваетъ записку: „Вы (т. е. Т—борнъ и я) совсѣмъ забыли меня. Боюсь, чтобъ и въ вашихъ душахъ не произошелъ переворотъ, какъ въ иныхъ прочихъ, нѣкогда называвшихся друзьями. Да сохранить васъ Господь Богъ отъ этого!“

Въ письмѣ, отъ 7 января 1845 г., изъ котораго видны, между прочимъ, и бѣдный праздничный бытъ тобольской жизни Ершова и его равнодушіе къ обычаямъ народнымъ, онъ говоритъ: „...Что до меня, то никогда я не проводилъ праздниковъ скучнѣе нынѣшнихъ. Къ тому же визиты на второй день Рождества наградили меня ликорадкой, и когда другіе тряслись въ танцахъ, меня трясло въ постели. Надѣялся было на дни послѣ новаго года: по крайней мѣрѣ, говорю себѣ, хоть полюбуюсь на маскированныхъ. А надобно тебѣ знать, что въ Тобольскѣ, съ незапамятныхъ временъ, хранится обычай, — начиная съ новаго года до сочельника, одѣваться и ѣздить по домамъ. Но и тутъ надежда меня обманула. То-ли казенная квартира, то-ли уголъ, въ которомъ она заброшена, были причиною, что втеченіи маскарадныхъ вечеровъ было у меня только масокъ до тридцати. Между тѣмъ какъ въ старомъ нашемъ домѣ я ихъ считалъ сотнями. Одна отрада была—собирать моихъ пансіонеровъ, да смѣяться надъ ихъ продѣлками въ святочныхъ играхъ. Прибавь ко всему *вышеизложенному* окончаніе года и, слѣдовательно, начало годовыхъ отчетовъ, разбросанныя бумаги, раскинутыя книги, бряканье счетами, отыскиваніе пропавшей безъ вѣсти одной чети копѣйки, — и ты будешь имѣть, хотя въ миниатюрѣ, мои рождественскія занятія. Невольно вздохнешь о своей прежней профессіи учителя словесности...“

Даже скучно читать такія описанія жизни; каково же жить въ этой жизни!...

Но и при такой жизни, въ душѣ Ершова постоянно было поэтическое начало. Обращаясь ко мнѣ въ томъ же письмѣ и желая успѣха предпринимаемому мною литературному труду, онъ говоритъ: „.....Горе тебѣ, если ты обманешь наши надежды, если предашься печальному бездѣйствію, въ которомъ, увы, какъ устрица въ своей раковинѣ, заключенъ твой доброжелательный собратъ. И добро бы, еслибъ это бездѣйствіе было только наружное, еслибъ въ тиши, въ глубинѣ коры готовилась драгоценная жемчужина.... А почему жъ и не такъ? Бездѣйствіе часто признакъ будущей сильной дѣятельности—тишина предъ бурей.—Скоро, скоро, можетъ быть, вмѣсто этого письма, ты получишь цѣлую кипу. Ни слова болѣе....“ Такая выходка опять подкрѣпляетъ наши догадки о готовившемся созданіи поэмы: *Иванъ-Царевичъ*.

Отъ 18 того же января, онъ снова шлетъ къ Т—борну еще 25 руб. и проситъ о всегда немедленной пересылкѣ выписокъ эрмитажной галереи, а также о приобрѣтеніи ему картинокъ къ роману „Вѣчный жидъ“ и коллекціи каррикатуръ Гогарта, примолвивъ шутя: „Я получилъ нынче картинобѣсіе“. — На полѣ этого письма приписано: „Сейчасъ получилъ пріятную вѣсть о производствѣ меня въ надворные совѣтники, со старшинствомъ двухъ лѣтъ.“

Мы уже видѣли неразъ, что Ершовъ, въ своей педагогической разумной дѣятельности, усердно заботился объ образованіи своихъ питомцевъ даже чрезъ посредство театральнхъ представленій, которыя устраивалъ изъ самихъ же воспитанниковъ. Мы можемъ указать на нѣсколько лицъ, бывшихъ подъ его руководствомъ, которыя теперь съ честію занимаютъ мѣста въ службѣ по учебной и гражданской частямъ. Такая дѣятельность не прекратилась и при инспекторствѣ его, хотя опять, по отдаленности отъ Петербурга, ему стоило это новыхъ хлопотъ. Въ письмѣ отъ 12 апрѣля того же года, Ершовъ, между прочими комиссіями Т—борну, пишетъ: „....а если ты хочешь удружить мнѣ допельзя, то постарайся, чрезъ твоихъ знакомыхъ, достать мнѣ легонькія и хорошія ноты цѣлой обѣдни, отъ придворныхъ пѣвчихъ. Я думаю, это не будетъ слишкомъ трудно, а меня

утѣшишь.... Дѣло въ томъ, что я изъ своихъ гимназистовъ соорюилъ хоръ и уже имѣю удовольствіе слышать ихъ пѣніе. Дирижируетъ имъ одинъ изъ учителей, и дѣло идетъ очень-очень на-ладъ. Ну, а если ты и при каждомъ письмѣ будешь вкладывать по страничкѣ церковныхъ нотъ (въ партитурѣ,—разумѣется, письменной), то это я буду цѣнить какъ доказательство и пр. пр. Любезный Андрей Константиновичъ, вѣроятно, поможетъ также въ этомъ случаѣ. Изъ всего этого ты можешь заключить, что я сдѣлался любителемъ художествъ, переставъ быть жрецомъ ихъ, и, сказать на ушко, и хорошо сдѣлалъ.—Уфъ, какъ осердится Ярославцовъ, прочитавъ послѣднія строки. Вижу его гнѣвный взглядъ, слышу гремящее слово—и прячусь за твоею защитою....“ Въ этомъ же письмѣ онъ такъ говоритъ о неизбежныхъ непріятностяхъ въ обычаяхъ тобольскихъ. „....Какова у васъ Пасха? А у насъ—грязь по колѣна. Придется сидѣть дома. Да вы еще тѣмъ счастливы, что не знаете глухихъ визитовъ. А здѣсь разомъ прослывешь гордецомъ предъ низшими, невѣждой предъ высшими и нелюдимымъ предъ равными, если въ большіе праздники не прилѣпишь карточки къ дверямъ. О, Сибири!—скажешь ты. О, Сибири!—повторю и я, а все-таки долженъ буду мѣсить грязь часовъ шесть сряду....“

Но вотъ письмо, отъ 9 іюля 1845 года. Оно короче всѣхъ, доселѣ присланныхъ Ершовымъ писемъ; изложеніе въ немъ неожиданнаго событія до крайности сухо и могло бы, само по себѣ, изумить читателя, еслибъ читатель не подумалъ — какъ это событіе не-то что изсушило, а будто окаменило писавшаго его! Ершовъ, при смерти каждой изъ своихъ двухъ новорожденныхъ дочерей, приходилъ почти въ отчаяніе, но могъ еще разсказать свои страданія, а здѣсь.... Но вотъ письмо въ цѣлости: „Любезный Т — борнъ. Не удивляйся короткому письму моему, послѣ долгаго молчанія. Ты поймешь все, когда скажу: милой жены моей уже нѣтъ на этомъ свѣтѣ. Она скончалась послѣ родовъ, 25 апрѣля. Теперь я вполнѣ одинокъ. Да, изъ всѣхъ потерь, потеря жены самая горестная. Одна отрада у меня—ѣздить на ея могилу, смотрѣть, какъ дѣти усыпаютъ ее цвѣтами, стараясь превзойти

другъ друга, припоминать прошлую жизнь и въ глубинѣ души молиться объ успокоеніи усопшей. — Передай мой поклонъ Ярославцову и скажи, что я люблю его попрежнему. Ноты, какія ни пришлешь,—за все спасибо. А субсидій раньше января не общаю. Употреби пока свои: въ долгу не останусь. — „Галерею“ получилъ я въ исправности, равно и „Народную Медицину“ и „Касстеть“. Передай мою благодарность своему Рара. О Б—ой все сдѣлаю, что могу, и не замедлю увѣдомить. — Прощай, мой милый, до другаго болѣе пріятнаго письма“.

При всей легкости характера Ершова, можно подумать: чего ждать, чего надѣяться теперь отъ музы его — въ безлюдьи, въ уединеніи, уже и физически слабѣющаго? Кто поддержитъ, ободритъ его? Не отошла ли и сама муза на могилу его жены, единственнаго близкаго его друга, и тамъ осталась навсегда, съ плачемъ оставивъ поэта, почти забытаго людьми, которымъ она, чрезъ него, послужила и хотѣла еще служить, оставивъ его доживать свои дни въ трудахъ тяжелыхъ, а наконецъ—въ заботахъ напрасныхъ, горькихъ? Что приходило въ мысли, — которыхъ не съ кѣмъ было и раздѣлить, — тридцатилѣтнему Ершову, послѣ всего сказаннаго, когда онъ сидѣлъ на могилѣ своей жены, а дѣти усыпали ее цвѣтами, *стараясь превзойти другъ друга*, а еще болѣе—когда онъ сидѣлъ на могилѣ одинокой?... Здѣсь припоминаются намъ тѣ двѣ его элегіи, которыя мы привели недавно на страницахъ его біографіи. Испытавшіе на себѣ или на другихъ подобные случаи въ жизни знаютъ послѣдствія ихъ: и сильный характеръ не остается безъ впечатлѣній, но—бодрится; а характеры, не такъ сильные, уступаютъ горю, иногда изнемогаютъ окончательно. Наблюдающіе за явленіями въ обыденной жизни знаютъ, какъ подобные характеры, при каждомъ лишеніи, при каждой утратѣ, слабеютъ все болѣе и болѣе въ узкую форму, не говоря уже о самомъ организмѣ такихъ людей, который теряетъ жизненность и, такъ сказать, коченѣетъ. Обращаясь мысленно за помощію къ отдаленнымъ лицамъ, Ершовъ видѣлъ одну неискходность и, конечно, могъ только говорить себѣ:

«Живи—страдай—терпи!.. тебѣ возврата нѣтъ!»

И,—какъ строгій христіанинъ,—онъ остался жить, страдать и терпѣть.... Разскажъ о его дальнѣйшей жизни будемъ опять читать въ его откровенныхъ письмахъ.

Въ письмѣ, отъ 30 октября 1845 года, первомъ послѣ извѣстія о смерти жены, онъ говоритъ: „давно уже я собирался отвѣчать тебѣ, мой любезный Т—борнъ, да во 1-хъ, писать было не о чемъ, а во 2-хъ, и перо валилось изъ рукъ. Такая скука, что бѣжалъ бы за тридевять земель. Да и вы, добрые пріятели, начали молчать по полугоду, чего прежде за вами не водилось. Ну, да ужъ Богъ вамъ судья. 25-го октября минуло полгода послѣ потери любимой мною жены, и я теперь начинаю показываться между людьми. Но опять неудача: проведешь вечеръ довольно весело, а когда воротиться — одиночество явится сильнѣе, чѣмъ прежде. Читать почти не могу ничего, кромѣ книгъ религіознаго содержанія. Другое развлеченіе мое—музыка и шахматы. Здѣсь невольно припоминаю стихъ Грибоѣдова:

„А мнѣ безъ нѣмцевъ нѣтъ спасенья“.

Дѣло въ томъ, что и здѣсь, въ Tobolskъ, есть одинъ полунѣмецъ, полурусскій, какъ ты, который родился въ Кронштадтѣ и зналъ по-русски прежде, чѣмъ по-нѣмецки, чему наметался уже, обучаясь въ Лифляндіи. Этотъ полунѣмецъ такой же маленькій, какъ ты; съ такими же бакенбардами, какъ твои, и носитъ такое же прозвище безъ значенія, какъ и ты. Однимъ словомъ, это учитель искусствъ въ нашей гимназіи, Мертличъ. Разница между вами только въ томъ, что онъ имѣетъ жену и троихъ дѣтей.... Этотъ Мертличъ—воспитанникъ академіи художествъ и на рисованіи и черченіи просто собаку съѣлъ. А какъ соотчичъ Моцарта—мастеръ фантазировать на фортепіано, и плачетъ отъ мольныхъ аккордовъ. Я съ нимъ знакомъ былъ и прежде, но сблизился послѣ смерти жены. Слѣдствіемъ этого было то, что Мертличъ выстроилъ памятникъ на могилѣ моей жены, нарисовалъ миниатюрный ея портретъ (на память) и каждый вечеръ

сидѣлъ у меня до поздней ночи, то играя въ шахматы, то фантазируя на фортепіанахъ, то аккомпанируя моей флейтѣ, то, наконецъ, рассказывая анекдоты о нѣмцахъ и *онъ исфоганикахъ*. Часто мнѣ приходитъ въ голову: если нѣмцы во всякомъ случаѣ являются моими утѣшителями, то и потерянное счастье должна возвратить мнѣ тоже нѣмочка....“ Отвѣчая далѣе Т—борну, на его вопросъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ о назначеніи пенсіи одной вдовѣ, онъ окончиваетъ письмо: „теперь и тебѣ нѣсколько вопросовъ: 1) въ прошломъ году, въ декабрѣ мѣсяцѣ, изъ здѣшней гимназіи въ департаментъ министерства народнаго просвѣщенія были отправлены три тетради моихъ *записокъ о словесности*, для пересмотра, можно ли ввести ихъ въ употребленіе, вмѣсто прежнихъ курсовъ. Но до сихъ поръ объ нихъ нѣтъ и помина; 2) въ прошломъ же году въ отчетѣ гимназіи послано было читанное мною разсужденіе на актѣ: *О трехъ великихъ идеяхъ истины, блага и красоты, о вліяніи ихъ на жизнь и о соединеніи ихъ въ христіанской религіи*. Я писалъ и Ярославцову—нельзя ли это разсужденіе тиснуть въ „Журналъ министерства народнаго просвѣщенія“, если окажется того достойнымъ, но отвѣта не было; 3) мнѣ иногда приходитъ блажь—прокатиться въ будущемъ году въ Питеръ: такъ не будетъ ли какого мѣста въ департаментѣ народнаго просвѣщенія, сообразнаго съ моимъ чинномъ (въ будущемъ году я выслужу на вол. сов.) и какъ велика благостыня; или не будетъ ли мѣста преподавателя словесности въ гимназіяхъ?—Отвѣты на всѣ эти вопросы ты постараешься послать, не медля много, вмѣстѣ съ „Галереей“. *

Къ скудному удовлетворенію душевнымъ естественнымъ потребностямъ Ершова прибавилось еще небрежное вниманіе къ его педагогическому труду, надъ которымъ онъ, какъ честный труженикъ, провелъ, конечно, очень и очень много времени. — Письмо это, взятое въ цѣломъ, возбуждаетъ грустныя мысли о настоящихъ и послѣдующихъ дняхъ жизни

* Литографическіе снимки съ эрмитажныхъ картинъ.

Ершова—поэта. Ксчастію еще, что, сознавая и самъ стѣсненное свое положеніе, онъ остается терпѣливымъ, хоть какъ можетъ. Но вѣдь и камень рухнетъ отъ окружающей вредной для него атмосферы.

При письмѣ, отъ 24 января 1846 года. Ершовъ прислалъ нѣсколько своихъ стихотвореній, съ тѣмъ чтобы—какъ выразился онъ, будто шутя—показать, „что поэзія несовсѣмъ еще замерзла въ Тобольскѣ, при 32° мороза за стѣнами и при 7° тепла въ стѣнахъ...“ Стихи эти онъ просилъ,—если Т—борнъ и я найдемъ ихъ „годными явиться въ петербургскій свѣтъ“,—передать О. И. Сенковскому, для напечатанія въ „Библіотекѣ для чтенія“. Причемъ онъ вшутку намекалъ содержаніе рѣчи къ барону Брамбеусу: „Нѣкто Ершовъ проситъ О. И. сдѣлать доброе дѣло. Вздумалось-де ему имѣть полное изданіе „Эрмитажной галереи“; а какъ кармана его на это не хватаетъ, то онъ рѣшился опять печатать стихи по прежнимъ условіямъ (1 руб. за стихъ асс.); только желаетъ, чтобы имени его не ставили: оно будетъ извѣстно только одному барону...“ Въ случаѣ же неуспѣха, онъ просилъ передать стихи П. А. Плетневу, для помѣщенія въ его журналъ „Современникъ“, безусловно, только чтобы не было подписано ни имени автора, ни города. Въ этомъ же письмѣ, на мой отвѣтъ, что его *курсъ словесности* переданъ давнымъ-давно на разсмотрѣніе академику Лобанову и что я, чуждый всегда истымъ дѣльцамъ-сослуживцамъ, не могъ разузнать ничего дѣльнаго о его *рѣчи*, упомянутой въ предшедшемъ письмѣ, отъ 30 октября,—онъ проситъ слѣдить за рецензією академика Лобанова и „отрыть его бѣдную рѣчь“.—Закончивая свое письмо шутками къ Т—борну, онъ присовокупляетъ: „...Да не обманываетъ тебя моя *Красавица*. Это не повѣсть сердца, какъ въ *Воспоминаніи*, не голосъ сознанія, какъ въ *Отвѣтъ* (названія нѣкоторыхъ изъ присланныхъ имъ стихотвореній), а греза воображенія, взлелѣянная портретомъ описанной красавицы. Сердце мое все еще живетъ около могилы незабвенной...“

Чрезъ мѣсяцъ, и именно, отъ 26 февраля, когда мы не успѣли еще отвѣтить на его послѣднее письмо, онъ, въ ко-

роткомъ писъмѣ къ Т—борцу, пишетъ, между сообщеніями и порученіями: „...Надѣюсь, что 22 февраля не было забыто г. Т—борномъ. А у меня, въ этотъ день, къ праздникамъ рожденія и именинъ присоединился еще праздникъ причащенія. Въ этотъ же день я получилъ новое доказательство привязанности ко мнѣ моихъ гимназистовъ: хоры, вензеля, музыка, сюрпризы — все это было придумано, приготовлено, поднесено и, разумѣется, принято съ глубокою благодарностію. Одного только не доставало для полной радости: это — незабвеннаго ангела; но и онъ присутствовалъ въ пріятно-грустномъ воспоминаніи... Опять посылаю нѣсколько стихотвореній. Распорядись ими въ „Библіотеку для чтенія“, по извѣстному условію, или въ „Современникъ“, безъ всякихъ условій...“ Прося разузнать, что дѣлается съ его *курсомъ словесности* и какую судьбу судилъ ему академикъ Лобановъ, у котораго, какъ я извѣстилъ его, находится курсъ на разсмотрѣніи, онъ окончиваетъ письмо: „...Что сказать о собственной моей персонѣ? Ужасно пополнила тѣломъ и похудѣла душой. Скучалъ я и прежде, но теперь вижу, что скука одиночества скучиѣе всѣхъ скукъ на свѣтѣ...“

Тяжело было намъ читать, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, произведенія автора *Конька-Горбунка*, не отличавшіяся ничѣмъ отъ многихъ ежедневно появлявшихся, хотя, впрочемъ, и недурныя; въ нихъ, какъ и вообще въ его сочиненіяхъ, выражалась его чистая, но всееще молодая, душа, а звуки и картины создались подъ вліяніемъ тѣхъ поэтовъ, которыми онъ увлекался. Хотя стихотворенія явились бы и безъ его имени, какъ онъ желалъ, всетаки нѣкоторые узнали бы, кому они принадлежать. А еще болѣе тяготило насъ желаніе его — обратиться снова къ тому, отъ кого онъ такъ, казалось, рѣшительно и справедливо отшатнулся, какъ видно изъ письма отъ 14 апрѣля 1844 года. Желаніе это представлялось уже послѣдствіемъ какого то крайне печальнаго равнодушія; хотя, собственно говоря, оно обнаруживало только легкость характера Ершова — переходить отъ возмущенія къ какой-то безпечности. Мы отвѣтили ему, что признали эти стихотворенія недостойными автора „*Конька-Горбунка*,“ а

Т—борнъ прибавилъ, что не рѣшается еще разъ обратиться къ барону Брамбеусу, для избѣжанія сцены, можетъ быть, худшей, нежели какую онъ съ нимъ имѣлъ. Живи Ершовъ въ Петербургѣ, онъ или не написалъ бы такихъ стиховъ, или имѣлъ бы всегда возможность поговорить о нихъ съ кѣмъ нибудь; а письмо замѣнить ли разговоръ устный? На наши отзѣвы отвѣтилъ онъ въ письмѣ, отъ 30 мая того же года: „...Не знаю, благодарить ли васъ за такое высокое вниманіе къ таланту автора *Конька*, или сказать словами басни: ты слишкомъ жалостливъ. Не подумайте изъ этого, что я сердить за ваше откровенное мнѣніе о моихъ стихахъ. О, нѣтъ! Гораздо хуже было бы, еслибъ вы, присудивъ со- вѣтомъ вашимъ сжечь ихъ, написали бы мнѣ объ нихъ великолѣпный панегирикъ. И такъ откровенность за откровенность. Я нынче посылаю ихъ къ П. А. Плетневу: пускай уже онъ добьетъ ихъ взоромъ сожалѣнія или словомъ укора — и дѣло будетъ рѣшено окончательно...“ Сообщивъ въ этомъ же письмѣ нѣкоторыя, просимыя Т—борномъ, свѣдѣнія. онъ продолжаетъ: „Окончивъ важныя подробности, принимаюсь за менѣе серьезныя, зато болѣе пріятныя. Напр., что я, какъ Илья-Богатырь, расту, т. е. полнѣю не по днямъ, а по часамъ, и не знаю, куда дѣваться съ полнокровіемъ; что я каждый вечеръ въ полѣ — хожу и ѣзжу, лежу и сижу. А если и это нелюбопытно, то вотъ вамъ свѣдѣнія о погодѣ: тепла до 28° въ тѣни; дни безъ ночей; грозы восхитительныя. Съ 9 мая мы ѣдимъ уже свѣжіе огурцы и чудную ботвинью, не говоря уже о салатѣ, который грозитъ выгнать все остальное изъ огородовъ. Послѣ такихъ питательныхъ извѣстій, остается только положить перо и пожелать вамъ покойной ночи.“ — Вялая нравственная атмосфера, какъ видно, все болѣе изнуряетъ поэта, но благородная честная натура человѣка не разстается съ Ершовымъ. Приведенное письмо онъ закончиваетъ: „А что ни говори, какъ ни шути, а одиночество — вещь самая преглупая, особенно для того, кто уже испыталъ счастье семейной жизни. Думаю опять рискнуть моею свободою; но условіе, которое я положилъ для этого, — любовь *.

* Здѣсь не мѣшаетъ припомнить его понятіе любви, выраженное въ двухъ стихотвореніяхъ (см. стр. 30—33).

Значить, это довольно длинная пѣсня. Есть на примѣтѣ одинъ цвѣтокъ, но ему надобно еще двѣ весны, чтобы распуститься въ пышную розу. Притомъ, того и жди, что московскій вѣтеръ унесетъ этотъ милый цвѣтокъ, и мнѣ придется только грустить по томъ мѣстѣ, гдѣ цвѣлъ этотъ прелестный гость съвера.—Будьте здоровы и счастливы, мои милые. Не сердитесь за мои стихотворные грѣхи.“

Хотя упомянутыми стихотвореніями Ершовъ и самъ, какъ видно, неочень дорожилъ, несмотря на то, что они были все-таки его душевными изліяніями,—не хотѣлъ выставить подъ ними своего имени, называлъ ихъ стихотворными грѣхами и цѣнилъ ихъ почти только вещественною выгодною, которую предполагалъ извлечь изъ нихъ,—всеже отправилъ ихъ къ бывшему тогда редакторомъ „Современника“ П. А. Шлетневу. П. А. писалъ ему на это, отъ 20 іюня 1846 года: „Наконецъ Господь Богъ воззвалъ васъ, милый мой Петръ Павловичъ, къ тѣмъ звукамъ, для которыхъ вы рождены и которые мнѣ суждено было услышать едвали не первому послѣ васъ. Не станемъ судиться о прошломъ и разыскивать, что такъ долго смыкало ваши уста. Новѣйшіе мудрецы говорятъ: что было, то должно было быть. Я готовъ и на это согласиться. Но непростительно, что вы меня какъ будто не понимали, считая себя чужимъ наравнѣ съ прочими журналистами. Я вынужденъ былъ устраниваться, держась правила, что насильно милымъ не будешь. Теперь все прошлое предадимъ забвенію. Располагайте мною и журналомъ моимъ какъ собственностію. Не для выгодъ тружусь я, а для мечтательной, можетъ быть, надежды хоть одно чистое сердце согрѣть и удержать на дорогѣ къ чести. И такъ не только вамъ, я готовъ присылать „Современникъ“ даромъ всякому, кому только вы назначите.—Ваши стихотворенія прелестны. Вы сохранили все дѣйство своей первоначальной поэзіи. Напечатаю ихъ, какъ вы желали, — но буду украшать ими журналъ понемногу, чтобы долѣе доставлять читателямъ удовольствіе.—Рукопись ваша о Словесности передана была Министромъ въ отдѣленіе Русскаго Языка и Словесности. Это происходило въ мое отсутствіе. Ея разсмотрѣніе поручено было академику Лоба-

нову, который на-дняхъ померъ. Я теперь боленъ и не ѣзжу въ Академію. Кому передадутъ вашъ трудъ — не знаю. Но будьте увѣрены, что я все употреблю для сохраненія вашей чести и выгоды..." Кажется, благодушный Петръ Александровичъ ничего не звалъ о стѣсненномъ положеніи Ершова.

Отъ 9-го ноября 1846 г., Ершовъ пишетъ къ Т-борну: „Начнемъ съ новостей. Первая, самая свѣжая, животрепещущая новость касается собственно до меня; это ни болѣе, ни менѣе какъ только два слова, но сколько въ этихъ словахъ смысла и значенія! Но не старайся угадывать: твой пзобрѣтательный на выдумѣ умъ потеряется въ догадкахъ, а все-таки не откроешь ларчика. Я женатъ. Слышу всѣ семь знаменитыхъ вопросовъ: какъ? что? гдѣ? почему? и пр. Но отвѣчать на нихъ теперь не могу, да и некогда. Объяснюсь вкратцѣ. Лишившись первой жены, я не зналъ, что мнѣ дѣлать. Одна отрада была ѣздить на могилу и припоминать прошлое. Минуло полгода. Я сталъ показываться между людьми, и, что скрывать, искалъ чѣмъ нибудь наполнить пустоту сердца. Вскорѣ открылъ я сокровище, но, къ сожалѣнію, оно было въ рукахъ другаго. Началась борьба чувства съ совѣстію; за первое говорило сердце, за вторую вступалась честь и доброе имя. Наконецъ, Богъ сжалялся надъ моимъ мученіемъ: отъѣздъ любимой мною особы разсѣкъ гордіевъ узелъ. Я остался одинъ съ образомъ ея въ сердцѣ и съ именемъ въ устахъ. Это имя была новая тропа, по которой судьба вела меня и привела подъ златъ вѣнецъ съ другою особою, которая носила то же имя и была свободна, какъ птичка. Я увидѣлъ ее въ церкви, и на вопросъ у моего знакомаго объ ея имени, съ радостію услышалъ знакомое имя. Я познакомился съ ея родственниками, видалъ ее у нихъ, ѣздилъ въ поле, и кончилъ тѣмъ, что сталъ просить ея руки. 17-го іюля была наша помолвка, а 23 октября свадьба. Біографія моей жены очень короткая. Она—дочь одной бѣдной вдовы, дѣвушка 16 лѣтъ съ чудесными глазами и самымъ невиннымъ сердцемъ. Она жила въ другомъ городѣ у одной знакомой, которая, какъ мать, заботилась объ ея воспитаніи. Въ іюнѣ мѣсяцѣ она пріѣхала повидаться съ матерью и сестрами, остальное извѣстно....“

Взаключеніе письма, дѣлая Т—борну нѣкоторыя порученія по приобрѣтенію „эрмитажной галереи,“ нѣкоторыхъ романовъ Вальтеръ Скотта и ноть хоровыхъ церковныхъ, онъ упрекаетъ за несообщеніе ему ничего „о судьбѣ общихъ нашихъ университетскихъ товарищей. Пріятно было бы—присовокупляетъ онъ—узнать объ ихъ житьѣ-бытьѣ молодечествѣ“.

Новая женитьба Ершова почти разрушила въ насъ надежду на его поэтическую дѣятельность, при мысли, что онъ въ глуши и необеспеченъ въ средствахъ жизни, а обремененныя заботы должны усилиться, — да и всегда ли онъ успѣшенъ? Для насъ Ершовъ остался человѣкомъ честнымъ какъ въ его педагогическомъ дѣлѣ, такъ и въ семейномъ. Сказка его, *Конекъ-горбунокъ*, безпрестанно требовалась публикою, но объ авторѣ ея никто не говорилъ; даже знавшіе его спрашивали, при случаѣ: „живъ ли Ершовъ“? Ктому же въ это время въ обществахъ подымались различные вопросы, готовились событія, занимавшія умы; и какъ обыкновенно,—люди, увлекаясь отдаленнымъ, оставляютъ уже ближайшее. Наша переписка съ Ершовымъ стала медленнѣе. Я вообще нечасто списывался съ нимъ; и нельзя было найти довольно предметовъ, взаимно интересныхъ. Ершовъ сталъ попрекать слегка, что письма къ нему приходятъ только разъ въ полгода: онъ пишетъ къ Т—борну, отъ 5 марта 1847 года: сколько ни раскидываю своимъ умомъ-разумомъ, никакъ не могу постигнуть такого долгаго твоего молчанія. А казалось бы, послѣднее письмо, по сообщеннымъ въ немъ извѣстіямъ, стоило отвѣта. Я уже начинаю думать, что въ Петербургѣ не стало ни перьевъ, ни бумаги, а чернила всѣ вымерзли нынѣшнею зимою. Въ горченіи отъ такихъ бѣдствій сѣверной столицы, я утѣшаю себя воспоминаніями. Было когда-то счастливое время, въ которое на одной изъ линій знаменитыхъ Песковъ, въ небольшомъ сѣренькомъ домикѣ жилъ-былъ одинъ молодой сибирякъ съ старою своею матерью. У этого собиряка было до дюжины разныхъ пріятелей, которые довольно часто собирались къ нему подъ-вечерокъ потолковать, пошутить, посмѣяться. Изъ этихъ пріятелей особенно двое были расположены къ хозяину, а хозяинъ

къ нимъ, такъ что между ними почти завязался гордіевъ узелъ дружбы. Вдругъ судьба перемахнула сибиряка, въ одинъ прекрасный лѣтній мѣсяцъ, изъ Питера въ сибирскія тундры, и онъ, бѣдняга, тамъ такъ завязъ, что втеченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ не могъ выбраться изъ этой тощи. Что дѣлать? Покорился онъ своей участи, утѣшаемый любовью ближнихъ и дружбою отдаленныхъ своихъ пріятелей. Но этимъ еще не кончились испытанія бѣдняка. Дальніе пріатели мало-по-малу перестали пересылать къ нему привѣтъ дружбы, и только двое еще время отъ времени писали къ нему эпистолы (и надобно сказать—нѣмалыя). Ну, что жъ? будетъ съ меня и двухъ, говорилъ онъ себѣ въ утѣшеніе и довольно весело плавалъ въ сибирскихъ болотахъ. Но, увы! въ 1847 году была жестокая зима, до 38° по Р., все стыло! все мерзало! и дружба двухъ пріятелей не могла отразить напора сѣдой чародѣйки, стала хладѣть, хладѣть—и.... Продолженіе этой элегіи въ прозѣ будетъ впослѣдствіи, смотря по обстоятельствамъ....“ И потомъ даетъ Т—борну нѣкоторыя порученія по доставкѣ ему журнала „Современникъ“ и по выхлопотанію у книгопродавца А. Ф. Смирдина хоть высылки ему, въ счетъ стараго долга, по два экземпляра, предпринятаго тогда Смирдинымъ, изданія русскихъ литераторовъ.

Въ это время я узналъ о только-что поступившемъ въ департаментъ народнаго просвѣщенія отзывѣ о составленномъ Ершовымъ курсѣ Словесности. Надобно было *подготовить* Ершова къ официальному неблагоклонному извѣстію: я рѣшился предупредить его письмомъ, выписку изъ котораго, вмѣстѣ съ выпискою изъ отвѣта Ершова, считаю необходимымъ привести на страницахъ біографіи: тамъ недолжно быть излишней скромности, гдѣ необходима подробнѣшая откровенность. Такъ подумаетъ, конечно, каждый. Кто-муже въ письмѣ Ершова являются и нѣкоторыя его самостоятельныя понятія о литературномъ дѣлѣ, понятія, которыхъ онъ не перемѣнилъ до гроба. Я писалъ ему, отъ 24 мая 1847 года: „Что тебѣ написать? думалъ я ужъ давно. Писать много — надобно времени много, а у меня его такъ мало; писать мало—приняться както не хочется. Но вотъ

случай. Я думаю, ты и забылъ уже про свой *курс словесности*, какъ мы забываемъ все, что намъ не было слишкомъ дорого; а вѣдь, конечно, у тебя было иное и милѣе для тебя курса словесности: потомуто и нетяжко будетъ тебѣ узнать, что участь твоего сочиненія рѣшена. Курсъ этотъ былъ переданъ, на разсмотрѣніе, сначала академику Лобанову, а по смерти его—академику Давыдову. Послѣдній возвратилъ его нынѣ съ отзывомъ, который гласитъ, что книга твоя не можетъ быть введена въ гимназіи, потому что она, между прочимъ, неполнѣе отвѣчаетъ понятіямъ воспитанниковъ. Дальнѣйшее о ней заключеніе Давыдова ты, вѣрно, скоро узнаешь официально; мнѣ хотѣлось только приготовить тебя немножко къ этому извѣстію. Впрочемъ, еще ли ты не привыкъ, хоть сколько нибудь, быть готовымъ къ сужденію людей. О себѣ писать не знаю что; въ итогъ все-таки было бы „живемъ да хлѣбъ жуемъ“. Еслибъ ты былъ съ нами, то разговорамъ, кажется, не было бы и конца; а въ письмѣ такъ и хочется поскорѣе кончить. ...“ Наэто Ершовъ писалъ мнѣ, отъ 30 іюня того же года:

„Наконецъ, послѣ тысячелѣтняго молчанія ты проглаголялъ. Радуясь разрѣшенію языка и пера твоего, не хочу вспоминать о довольно непріятномъ извѣстіи, касательно моего курса словесности, о которомъ ты меня увѣдомляешь. Ну, что же дѣлать? Давно уже сказано: хорошо тому жить, у кого бабушка воровать. По крайней мѣрѣ министерство будетъ знать, что бывшій учитель словесности, Ершовъ, не билъ баблужи, читалъ словесность, и что, по силамъ и возможности, старался исполнять свой долгъ службы. А признаться, много бы можно было сказать о трехлѣтнемъ разборѣ курса и о причинѣ, почему нельзя ввести его въ гимназіи. Но опять скажу: Богъ съ ними! —Станемъ говорить о чемъ нибудь попріятнѣе. Т—борнъ сообщаетъ мнѣ объ окончаніи твоей трагедіи и о лестномъ отзывѣ П. А. Плетнева, которому ты отдавалъ трудъ свой на предварительную цензуру. Помогь тебѣ Господь на новомъ поприщѣ звуковъ человѣческихъ. А мнѣ все мерещится, что старая болѣзнь твоя гдѣ нибудь проглянула въ новомъ твоёмъ твореніи, т. е., есть гдѣ нибудь пѣсенка или что

нибудь въ этомъ родѣ, которой ты подыскалъ и мѣтивъ и инструментовку. Не правда ли? Не огорчайся, что любовь къ музыкѣ я называлъ болѣзнію: все, что выходитъ изъ обыкновеннаго порядка вещей и требуетъ работы головы и сердца, все это отзывается болѣзнію, или, пожалуй, тоскою о нездѣшнемъ. Счастливъ ты, если въ трагедіи твоей сохранилась идея древнихъ, разумѣется, съ перемѣною безтолковой ихъ судьбы или рока на благой и премудрый Промыслъ. Съ этой только точки жизнь человѣка и назидательна. Иначе самыя блестящія представленія жизни человѣка, даже въ избранныхъ представителяхъ челоѣчества, будетъ игра китайскихъ тѣней, пріятная, но безплодная. Она потѣшитъ толпу, заставитъ грустить юношу, не успокоивъ его, и встрѣтитъ холодный взоръ мудреца, смотрящаго на жизнь съ той высокой стороны, на которую ставить ее религія и истинная философія. Подумай и согласишься. Еслибъ я сдѣлалъ чтонибудь путное, я назвалъ бы себя ветераномъ, которому остается только радоваться подвигами юныхъ героевъ. А теперь — я похожу на инвалида, который вышелъ изъ боевыхъ рядовъ, по неспособности, и исполняетъ мирную, хотя и незавидную должность — стража. Винить ли въ этомъ обстоятельства или самого себя? Скорѣе — послѣднее. Человѣкъ, съ характеромъ посильнѣе моего, изъ самыхъ обстоятельствъ этихъ извлекъ бы для себя выгоду, а я только покорился имъ и — только....“

Еслибъ и сдѣлалъ что-нибудь путное.... вотъ до какого унынія могло довести нѣжную душу автора такого извѣстнаго произведенія, какъ *Конекъ Горбунокъ*, и отъ котораго можно было ожидать еще другихъ драгоценныхъ произведеній, — могло довести увѣдомленіе о неудачномъ исходѣ его долговременнаго и, безъ сомнѣнія, добросовѣстнаго труда *. Ксчастію еще, что онъ, по свойствамъ характера своего, могъ выносить удары. Всеже къ тяжкимъ впечатлѣніямъ, поражающимъ его въ жизни, это было одно изъ такихъ, которыя подтачивали не только поэтическое его направленіе,

* Курсъ словесности Ершова намъ не удалось прочитать: литературное дѣло, въ рукахъ дѣлоподцевъ, принимаетъ иногда видъ канцелярской бумаги.

но и самый организмъ. Мы, съ грустію, но безсильные помочь ему, видѣли, что онъ — только винеть. — *Винить ли въ этомъ обстоятельства или самого себя? Скорѣе — послѣднее. Человѣкъ, съ характеромъ подслышны моего, изъ самыхъ обстоятельствъ этихъ извелъ бы для себя выводу, а я только покорился имъ и — только, заключаетъ онъ, и, до нѣкоторой степени, правъ, но — только до нѣкоторой степени. А еслибъ пришла ему помощь со стороны и по-душѣ ему?.... Но — станемъ продолжать нашъ дневникъ: въ немъ Ершовъ остается, и при его почти дѣтскихъ слабостяхъ, все тѣмъ же, какъ и доселѣ, терпѣливымъ, честнымъ страдальцемъ.*

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1847 года, въ письмѣ къ Т — борну, начиная, по обыкновенію, шутками, онъ продолжаетъ: „...Что жъ касается до его (А. Ф. Смирдина) предложенія — купить всѣ великія произведенія моего пера, то мнѣ надобно, чтобъ ты стороною развѣдалъ, въ какомъ количествѣ экземпляровъ расходятся его классики. Это, знаешь, для того, чтобы назначеніемъ цѣны не пообидѣть ни его, ни себя. Во всякомъ случаѣ я готовъ уступить на одно изданіе: *Конька, Суворова и Сузи* (повѣсть въ стихахъ, помѣщенную въ „Современникъ“); а мелкія стихотворенія надобно прежде всего повысить, чтобы имъ не грѣшно было показаться на божій свѣтъ, а на это надобно время и охоту. Последнее обстоятельство, кажется, ясно говорить, что я отпою имъ вѣчную память, какъ отпѣли имъ „Отечественныя записки“ и — увъ! читающее поколѣніе. — Можешь также предложить Смирдину, не захочетъ ли онъ купить одно изданіе *Конька* отдѣльно. Московскіе книгопродавцы уже давно осаждаютъ меня объ этомъ предметѣ, но мнѣ не хотѣлось бы имѣть съ ними дѣло. Цѣна за изданіе по 1 руб. асс. съ экземпляра, т. е. за полный заводъ 1200 руб. асс., какъ и прежде у меня покупали. Только съ условіемъ, чтобы деньги были высланы всѣ сполна, безъ разсрочки! Знаю я эти разсрочки! 10 паръ сапоговъ износишь, ходи на поклонъ къ своимъ же деньгамъ.... За „Современникъ“ поблагодари, при случаѣ, Петра Александровича. Онъ, вѣрно, забылъ о моей просьбѣ и о своемъ обѣщаніи — приглубить мой курсъ Словесности. Иначе академія не отшле-

пала бы его, какъ увѣдомляетъ меня Ярославцовъ.—Служба моя — мнѣ ни мать, ни мачиха. Жду нынѣ утвержденія въ чинѣ колл. совѣтн. п. только. Нѣтъ, не только; жду еще прибавки $\frac{1}{4}$ оклада за 5 лѣтъ сибирской службы съ 1842 года. Только, не знаю, не помахнутъ ли только по усамъ.—Старшій сынъ первой моей жены кончилъ курсъ въ Казанскомъ университетѣ и получилъ степень кандидата. Дочерей можешь видѣть, если хочешь, у родственника моего П—ва *.” Въ припискѣ просилъ онъ прислать нѣкоторые церковныя ноты для хорнаго пѣнія.

Т—борнъ отвѣчалъ ему, въ октябрѣ того же года, на всѣ запросы. Затѣмъ, переписка наша прервалась, теченія четырехъ лѣтъ, частію отъ недостатка предметовъ для письма, частію потому что и самъ Ершовъ не извѣщалъ болѣе о себѣ ничѣмъ, вѣроятно, препятствуемый новыми и, какъ увидимъ, очень тяжкими огорченіями. По нѣсколькимъ, доставленнымъ намъ, письмамъ его къ П. А. Плетневу, мы можемъ прослѣдить бытъ его и въ это четырехлѣтіе.

Здѣсь кстати упомянуть о литературныхъ произведеніяхъ Ершова послѣ 1837 года, на которомъ мы остановились при перечисленіи прежнихъ его созданій. Съ 1838 года, къ выраженному нами характеру его стихотвореній примѣшиваются тогдашнія его личныя отношенія: стихотворенія являются рѣже и въ большей части ихъ преобладаетъ чувство, увлекающагося или оскорбленнаго, поэта-труженика. Въ 1838 году написаны имъ стихотворенія: *Рышимость*, *Перемѣна* **; въ 1839 году: *Друзьямъ*, *Моя молитва*, *Осмистинія* (нѣсколько акростиховъ—привѣты первой женѣ); въ 1840 году: *Въ альбомъ С. П. Ж—ой*, *Моя поѣздка*, *29-е іюля 1840 года* ***, *Экспромтъ*; въ 1841 году: *Кладъ души*, *Зимній вечеръ*, *29-е іюля 1841 года*; въ 1842 году: *29-е іюля 1842*

* Братъ покойной жены Ершова, который, при переѣздѣ изъ Тобольска въ Петербургъ на службу, взялъ ихъ, для довершенія образования въ петербургскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

** Стихотвореніе это см. на стран. 60—61.

*** 29-е іюля — привѣты первой женѣ, въ день ея рожденія.

юда; въ 1843 году: *Густь* *; въ 1845 году: *Отъѣтъ, Гос-
поминаніе, Минованіе*; въ 1846 году: *Моя звѣзда, Храмы
сердца, Оправданіе, Призывъ, Три взгляда, Не тотъ лю-
билъ* **; въ 1848 году: *9-е осмистишиѣ*. Въ Тобольскѣ же,
но безъ поѣтки времени, написано имъ нѣсколько эпи-
граммъ, вызванныхъ, конечно, случаями, тревожившими его
благородное сердце. Но жало этихъ эпиграммъ не пронзить
слишкомъ грубой коры. Стихотворенія, являясь рѣже и рѣже,
прекращаются совсѣмъ въ 1848 году. Находимъ еще не-
многія стихотворенія, относящіяся къ 1849, 1851, 1855 го-
дамъ, но уже на случаи, которые онъ цѣнилъ, или въ аль-
бомы тѣхъ лицъ, которыхъ онъ уважалъ. Въ 1851 году Ер-
шовъ удачно попытался написать нѣсколько рассказовъ, въ
прозѣ, подъ названіемъ: *Осенніе вечера*, о которыхъ будемъ
говорить позже. — Наконецъ, послѣднее стихотвореніе его
является въ 1868 году, помѣщенное въ концѣ нашихъ „Вос-
поминаній“: оно замѣчательно особенно тѣмъ, что характе-
ризуетъ Ершова и въ послѣдніе почти дни его жизни: онъ
остался вѣренъ до конца тѣмъ понятіямъ, съ которыми росъ
и мужалъ. Постепенное уменьшеніе числа поэтическихъ про-
изведеній Ершова становится понятнымъ послѣ всего раз-
сказаннаго; послѣдующее пояснить это еще болѣе. Мы ви-
димъ, однакоже, что Ершовъ, съ горестію оставляя лиру,
для обязанностей служебныхъ и житейскихъ, трудился и въ
другихъ родахъ литературныхъ, хотя уже чисто прозаиче-
скихъ.

Не можемъ не привести, на страницахъ нашихъ воспо-
минаній о Ершовѣ, его стихотворенія: *Кладъ души*, напи-
санный въ 1841 году: оно, какъ и многія другія, свидѣтель-
ствуетъ, что, при столкновеніяхъ житейскихъ, онъ, въ то
время, искалъ утѣшенія все еще въ звукахъ, образахъ и
мысляхъ поэтическихъ; что столкновенія эти стали уже вы-
водить его изъ того заоблачнаго міра, въ которомъ онъ виталъ
и изъ котораго, самъ собою, не въ силахъ былъ спуститься

* Стихотвореніе это см. на стран. 102.

** Также — на стран. 33.

на море житейское: на немъ—онъ только покончилъ съ жизнью. Вотъ это стихотвореніе; думаемъ, что его прочтутъ нѣкоторые не безъ удовольствія.

КЛАДЪ ДУШИ.

Богачъ! къ чему твои укоры?
Зачѣмъ, червонцами звеня,
Полупрезрительные взоры
Ты гордо бросаешь на меня?
О, явѣ! совѣсть не бѣдень я!
Меня природа не забыла:
Богатый кладъ мнѣ подарила.
О, еслибъ могъ ты заглянуть
Въ мою сокровищницу-грудь!
Твой жадный взоръ бы растерялся
Въ роскошной сердца полнотѣ,
И ты бы завистью сѣдался
Къ моей богатой нищетѣ.
Смотри: я грудь мою раскрою,
Раскрою сердца глубину,
И этой бѣдною рукою
Богачъ, рассыплю предъ тобою
Мою несмѣтную казну.
Цѣни жъ!.....
.....Вотъ здѣсь сапфиръ безцѣнный —
Святая Вѣра. Въ мракѣ дней,
Въ туманѣ бѣдъ, во тмѣ скорбей,
Онъ жарко льетъ душѣ смущенной
Отрадный блескъ своихъ лучей.
Не мощь земли его родила:
Излить небеснымъ онъ огнемъ,
И чудодѣйственная сила
Таинственно хранится въ немъ.
Онъ мнѣ блеститъ звѣздой завѣта,
Въ молитвѣ теплится свѣчей;

Любви духовной въ царствѣ свѣта
Онъ обручальный перстень мой.
Когда жъ въ чаду страстей дыханья
Потускнеть грань его, одна
Слеза святая покаянья
Смываетъ тускъ его пятна.
И въ день, какъ кончится тревога
Мятежной жизни, можетъ быть,
Могу я имъ къ престолу Бога
Свободный доступъ искупить.
Вотъ перлы здѣсь — *живыя чувства*
Къ чудеснымъ міра красотамъ,
Къ высокой прелести искусства,
Ко вдохновительнымъ мечтамъ.
Всмотрись, богачъ, въ мои монеты:
Въ нихъ нѣтъ пылинокъ для хулы;
Они, какъ свѣтъ нагорный, чисты,
Какъ небо Божіе свѣтлы!
Они богатою звѣздою
Лежатъ на сердцѣ у меня,
И блещутъ чудною игрою
Въ лучахъ душевнаго огня.
Я съ каждымъ днемъ ихъ украшаю,
И кистью творческой мечты
На блескъ ихъ яркой чистоты
Живое золото снимаю
Съ богатой нивы красоты.

А вотъ, какъ брилліантъ востока,
Въ миллионы искръ огранено,
Лежитъ на сердцѣ одиноко
Любви окатное зерно.
На самомъ днѣ груди сокрыто,
До роковой своей поры.
Оно таинственно повито
Слоями тусклыми коры
Но мигъ, — кора съ него спадаетъ,

Оно льетъ свѣтъ и теплоту,
И въ чудныхъ видахъ отражаетъ
Земное небо — красоту.
Волной тревожной въ сердцѣ бьется,
Сверкаетъ пламенемъ въ глазахъ,
Въ огнѣ румянца тихо льется
И дышетъ жаромъ на устахъ!

Скажи, богачъ, ещели мало
Тебѣ богатствъ? Ужель велишь
Еще откинуть покрывало
Съ другихъ сокровищъ?... Такъ смотри жъ!

Вотъ славы здѣсь вѣнецъ блестящій,
Вотъ чести поясъ золотой,
Вотъ жезлъ фантазій творящей,
Вотъ яхонтъ вѣрности святой!
А эти радужныя ткани,
Богатство внутреннихъ одеждъ —
Глубокихъ сердца упованій
И сердца вѣтренныхъ надеждъ?
А ключъ кипящій пѣснопѣнья?
А слезъ, небесныхъ слезъ родникъ?
А грусти сладкія мученья?
А свѣтлыхъ помысловъ цвѣтникъ?..

Теперь раскрой передо мною
Богатство, равное съ моимъ,
И я покорной головою
Склонюсь смиренно передъ нимъ.

Въ 1849 году, при Тобольской гимназій открылась вакансія директора, которая слѣдовала, по праву, Ершову, какъ инспектору и какъ достойно служившему уже при той гимназій четырнадцать лѣтъ, гдѣ и самъ онъ воспитывался и именемъ котораго сама гимназія можетъ гордиться. По

соображеніи обстоятельствъ, Ершовъ счелъ, однакоже, необходимымъ искать посторонняго, въ этомъ случаѣ, содѣйствія. Неспособный ни на какія продѣлки, такъ пригодныя инымъ, и всегда избѣгая ихъ, а равно и лицъ, ублажаемыхъ только продѣлками, Ершовъ, опираясь на свои права и достоинства, обратился къ П. А. Плетневу. Но, надобно сказать, что Петръ Александровичъ, при всемъ его благодушіи, не былъ практическій дѣятель, — онъ самъ былъ поэтъ въ душѣ. Петръ Александровичъ, сообщая Ершову объ отзывѣ бывшаго тогда директора департамента народнаго просвѣщенія, съ которымъ онъ сносился по письму Ершова, присовокупилъ: „.... Вы увидите, что назначеніе въ директоры гимназій не можетъ зависѣть не только отъ усилій такого человѣка, каковъ я, но и отъ ближайшаго и высшаго начальства. Одни попечители или заступающіе ихъ мѣсто лица распоряжаются въ этомъ дѣлѣ. На будущее время старайтесь прежде всего войти въ хорошія сношенія съ ними: иначе все останется безуспѣшнымъ....“ Оказалось, что хотя Ершову, по всѣмъ правамъ, слѣдовало занять мѣсто директора Tobольской гимназій; бывший тогда министромъ народнаго просвѣщенія, князь П. А. Ширинскій-Шихматовъ, писалъ даже о томъ къ генералъ-губернатору; однакоже генералъ-губернаторъ, князь П. Д. Горчаковъ, по неизвѣстнымъ причинамъ, предпочелъ г. Ч., лицо, постороннее гимназій и даже вѣдомству министерства народнаго просвѣщенія, о которомъ онъ ходатайствовалъ еще предъ графомъ С. С. Уваровымъ. — Станнымъ казался бы этотъ поступокъ начальника, который прежде самъ гордился службою Ершова въ Tobольскѣ, благоволилъ къ нему. — Впослѣдствіи мы слышали, что противъ Ершова какими-то личностями были пущены въ ходъ даже грязныя вещи, поводомъ чему послужили самоустраненіе его отъ всѣхъ и домоудство, — онъ былъ вездѣ особнякомъ, кромѣ только немногихъ близкихъ ему.... Да и уединеніе — свойство поэта, рѣдко постигаемое людьми обыкновенными. Если Ершова и чернили, то, имѣя передъ собою его здоровыя мысли, благородную честную дѣятельность и то, что онъ, впослѣдствіи, всетаки сдѣланъ былъ директоромъ гимназій,

странно и подозрѣвать его въ чернотѣ. Но—злая клевета неразъ и легче являлась посредникомъ за него, нежели такъ необходимая ему помощь. А какъ все это губительно могло бы повліять на душу Ершова, въ глуши, почти забытаго, какъ человѣка, и такъ извѣстнаго сказкою *Конекъ-Горбунукъ*. Ксчастію, онъ бодрился, но — какъ? У насъ есть черновое письмо его къ П. А. Плетневу, помѣченное 5 октября 1850 года. Не знаемъ, въ такомъ ли видѣ было оно отправлено по назначенію; мы принимаемъ его, какъ часть дневника Ершова: оно проливаетъ много свѣта на тогдашнее его положеніе.

„Очень понимаю, что частыми моими просьбами я во зло употребляю снисхожденіе ваше; но я измѣнилъ бы тому мнѣнію о вашей снисходительности, которое я привыкъ имѣть съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ вы приняли меня подъ ваше покровительство. Неудача по службѣ, хотя, смѣю сказать, вовсе мною незаслуженная, снова поставляетъ меня въ недоумѣніе: оставаться ли здѣсь, въ ожиданіи лучшаго будущаго, или искать счастья въ другомъ мѣстѣ. Умоляю васъ, Петръ Александровичъ, научите меня—что мнѣ дѣлать? Каково бы ни было ваше рѣшеніе, я покорюсь ему безусловно. Чувствую, что много труда будетъ мнѣ—своими средствами дотащиться до Петербурга; но, допустивъ всякую жертву съ моей стороны, я надѣюсь, при вашемъ великодушномъ содѣйствіи, вознаградить пожертвованіе мое сторицею. Смѣю сказать, что холодъ Сибири не угасилъ еще во мнѣ того пламени, которое ваши совѣты и ваше одобреніе зажгли, четырнадцать лѣтъ тому назадъ. Пусть это гордость съ моей стороны, но я чувствую въ себѣ еще довольно, и можетъ быть, очень довольно силы, чтобъ оправдать вашу обо мнѣ заботливость. Четырнадцатилѣтнее одиночество мое въ глуши, гдѣ судьба предоставила меня собственно самому себѣ, имѣло по крайней мѣрѣ ту выгоду, что я сохранилъ прежнюю свѣжесть чувствъ и чистую любовь къ поэзіи. Я все-еще современникъ той прекрасной эпохи нашей литературы, когда даже едва замѣтный талантъ находилъ одобреніе, когда люди, заслужившіе уже извѣстность (я вспоминаю А. С.

Пушкина, В. А. Жуковского и васъ), не считали для себя унижительнымъ подать руку начинающему то же поприще, которое они прошли съ такою честію. И кто знаетъ, можетъ быть, неудачи мои по службѣ—наказаніе за измѣну моему назначенію. Во всякомъ случаѣ, я несомнѣнно вѣрю, что вы назначены быть моею судьбою. Снова повторяю, что вашъ совѣтъ будетъ для меня закономъ. Не затруднитесь дать его, по неизвѣстности о настоящемъ моемъ положеніи. Ваше исполненное любви сердце угадаетъ—гдѣ ждать мнѣ лучшаго. Я съ этою же почтою хотѣлъ беспокоить Василія Андреевича *, который, какъ извѣстно, переселяется въ Дерптъ; но, подумавъ, рѣшился прежде услышать ваше мнѣніе. Буду ждать его даже полгода, и не предприму ничего рѣшительнаго, пока не получу хотя двухъ строкъ вашей руки. Можетъ быть, слишкомъ смѣло съ моей стороны надѣяться, что, при вашемъ содѣйствіи, министерство дастъ мнѣ средства пріѣхать въ Петербургъ, хотябы учителемъ словесности въ которую нибудь изъ тамошнихъ гимназій; но на милость нѣтъ образа. Другой же должности (инспекторской или директорской) я не хотѣлъ бы принять на себя: вонервыхъ, потому что она отняла бы у меня много времени, которое я желалъ бы посвятить литературѣ; а вовторыхъ, не желая лишить этихъ мѣстъ тѣхъ, которые болѣе меня имѣютъ на нихъ право. Я нынче самъ испыталъ, какъ тяжело лишиться того, что, по всѣмъ правамъ, считалъ мнѣ принадлежащимъ. Гражданская служба отдала бы меня отъ возможности чрезъ пять лѣтъ получить полную пенсію и быть свободнымъ—предаться любимому моему занятію, къ которому, надѣюсь, не лишень призванія. Но я охотно соглашусь служить при Императорской публичной библіотекѣ, если только есть надежда получить достаточное содержаніе.—Правда, нынѣшній нашъ директоръ не одинъ разъ мнѣ говорилъ, что онъ искалъ директорскаго мѣста въ Tobольскѣ только для того, чтобы, при случаѣ, просить перевода къ подобной же дол-

* Жуковский.

жности на своей родинѣ—въ Малороссіи *; но это такая слабая надежда на будущее, что я никакъ не могу на нее рассчитывать.—Теперь предъ вами, Петръ Александровичъ, всѣ данныя, по которымъ вы можете сдѣлать ваше заключеніе. Но, ради Бога, не оскорбитесь моимъ многословіемъ: я долженъ былъ высказать все, чтобы вы имѣли возможность дать мнѣ совѣтъ, который долженъ рѣшить мою будущность.—Буду съ нетерпѣніемъ ожидать вашего отвѣта. Въ іюнѣ будущаго года исполнится 15 лѣтъ моей службы въ Сибири, и я долженъ буду или ѣхать въ этомъ мѣсяцѣ въ Петербургъ, или, заглушивъ всякую надежду на счастье и извѣстность, дослуживать остальные 5 лѣтъ въ Тобольскѣ, въ ожиданіи 500 руб. сер. пенсіи, на убогое содержаніе меня и моего семейства....“

Все это письмо обнаруживаетъ, какъ возмутительно подѣйствовала на Ершова людская несправедливость. Онъ готовъ уступить мѣсто директора болѣе достойному, но лишиться его несправедливо—крайнее, невыносимое для него, оскорбленіе. Можетъ быть, это письмо покажетъ кому-либо сомнительнымъ, льстивымъ, но—только не тѣмъ, кому извѣстна чистая, дѣйственная душа Ершова: все, что онъ здѣсь говоритъ, говорилъ онъ съ полнымъ убѣжденіемъ, только — въ тяжкую для него минуту. Да, сколько намъ извѣстно, онъ ни къ кому болѣе и не обращался съ подобными рѣчами, даже, какъ увидимъ, отказался просить за себя лицо, которое вполне могло содѣйствовать ему и—небезуспѣшно.—П. А. Плетневъ отвѣтилъ, отъ 5 ноября того же года: „Какъ бы ни желалъ я, любезный Петръ Павловичъ, словомъ истины разрѣшить недоумѣніе ваше — оставаться ли вамъ въ Тобольскѣ, или переѣхать въ другое мѣсто; но этотъ вопросъ связанъ со множествомъ другихъ обстоятельствъ, болѣе вамъ извѣстныхъ, нежели мнѣ — и потому не смѣю ничего предложить вамъ рѣшительнаго. Ежели у васъ большое семейство,

* О чьей же пользѣ—замѣтимъ—заботился этотъ господинъ, вступая, въ ущербъ другому, на такой важный постъ начальника воспитательнаго заведенія?!

а нѣтъ средствъ жить на собственный счетъ по прибытіи на новое мѣсто, то, само-собою разумѣется, вы доведете себя до крайности, хотя бы даже начальство и дало вамъ пособіе къ переѣзду. — Хорошо, что вы не писали къ Жуковскому. Онъ совсѣмъ не переѣзжалъ въ Дерптъ, и все живетъ еще въ Баденъ-Баденѣ. — Въ Петербургѣ учительскихъ мѣстъ, по нашему министерству, нѣтъ въ виду. При томъ же какъ-то и неблагоприятно изъ инспекторовъ перейти въ учителя. Попасть въ Публичную Библіотеку еще труднѣе. И такъ, ежели вашъ директоръ добросовѣстно сказалъ вамъ, что онъ оставитъ Сибирь при первой возможности, то, мнѣ кажется, ужъ лучше подождать нѣсколько времени....“ Затѣмъ П. А. Плетневъ предлагалъ ему искать мѣста адъюнкта русской словесности при С.-Петербургскомъ университетѣ. Наставлялъ, какъ ему къ этому приступить и въ какомъ тонѣ писать къ бывшему тогда попечителю С.-Петербургскаго учебнаго округа, М. Н. Мусину-Пушкину. Къ этому П. А. Плетневъ присовокупилъ, что жалованья адъюнctu полагается 2500 р. асс., да на квартиру только 300 р. асс.; что чрезъ полгода удастся ему найти и еще мѣста два, то въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ, то въ дѣвичьемъ гдѣ нибудь институтѣ, если только это не помѣшаетъ приготовленію его къ экзамену на степень магистра русской словесности, которая, въ этомъ случаѣ, необходима; что, до пріисканія новаго мѣста, онъ принужденъ будетъ съ семействомъ жить на 2800 р. асс.; что поэтому—не найдетъ ли онъ болѣе благоразумнымъ пріѣхать въ Петербургъ прежде одному, оглядѣться, устроиться, да потомъ и вызвать уже всѣхъ остальныхъ членовъ семьи своей. Обо всемъ этомъ Петръ Александровичъ совѣтовалъ думать дольше, внимательнѣе и рѣшиться на, что нибудь вѣрное. — Ершовъ отвѣчалъ, что какъ ни лестно для него служить подъ непосредственнымъ его, Петра Александровича, начальствомъ, но—зависимость отъ другаго лица съ иными правилами и характеромъ; неизвѣстность—уважется ли еще его просьба, при другихъ искателяхъ, имѣющихъ предъ нимъ большую выгоду—дѣйствовать лично, все это не могло дать ему рѣшимости—

просить о предлагаемомъ мѣстѣ. Приэтомъ онъ высказалъ, между прочимъ, что закрадывается иногда мысль объ одномъ мѣстѣ, но для осуществленія этой мысли необходимо время и ходатайство у министра. Именно, онъ объяснялъ, что вездѣ въ Россіи существуетъ должность инспектора училищъ, кромѣ Сибири; что еслибъ и въ Сибири устроилась такая же должность, такъ какъ генераль-губернатору, при его многоразличныхъ занятіяхъ, нѣтъ возможности входить во всѣ подробности управленія по учебной части, и еслибъ это мѣсто дано было ему, то онъ, притомъ, имѣлъ бы случай ближе познакомиться съ своей родиной и осуществить другую задушевную мысль — представить Сибирь въ живой картинѣ мѣстности и народности. „Вы, вѣроятно, улыбнетесь этой фантазіи—присовокупляетъ онъ;—но только бы не нашли ее совершенно несбыточною, потому что съ этою мыслию соединены послѣднія мои надежды и по службѣ и по литературѣ.“

Около этого времени, какъ извѣстно, князь П. Д. Горчаковъ отозванъ былъ отъ генераль-губернаторства, и бывшій членъ государственнаго совѣта, генераль-адъютантъ Н. Н. Анненковъ отправленъ ревизовать губерніи западной Сибири по военной и гражданской частямъ. П. А. Плетневъ, въ концѣ декабря 1850 года, совѣтовалъ Ершову: обратиться къ генераль-адъютанту Анненкову, какъ къ лицу просвѣщенному и благомыслящему, навести его на идею централизаціи инспектуры и развить передъ нимъ поэтическіе свои виды, которые въ воображеніи его рисуются отъ поѣздокъ по Сибири: что онъ это пойметъ и одѣнеть. — На это Ершовъ отвѣчалъ, между прочимъ: „Вашъ совѣтъ — искать у г. Анненкова представляется мнѣ тоже не безъ затрудненія. Еслибы дѣло шло о другомъ, то я нашелъ бы еще довольно смѣлости явиться просителемъ, но о себѣ я рѣшусь говорить только съ вами. Изъ здѣшнихъ же моихъ знакомыхъ нѣтъ ни одного, который бы принялъ во мнѣ дѣятельное участіе. Живя уединенно въ своей семьѣ, я почти чуждъ для здѣшняго общества. А ему какое дѣло до посторонняго?—Но довольно о неудачахъ по службѣ. Обращаясь къ моимъ литературнымъ бездѣлкамъ другаго имени я не смѣю дать имъ, приводя на мысль

побужденіе, по которому онѣ написаны. Боюсь только, чтобъ и тутъ не вышла неудача....“ При этомъ письмѣ онъ прислалъ, изъ шести написанныхъ имъ и обѣщанныхъ въ предшествовавшемъ письмѣ, три разсказа. Ершовъ желалъ знать мнѣніе Петра Александровича о нихъ и просилъ сдѣлать съ ними, что ему угодно; только не желалъ бы явиться передъ публикою съ своимъ именемъ, даже названіе ихъ: *Сибирскіе вечера*, думалъ бы замѣнить *Осенними*, или чѣмъ нибудь подобнымъ.

П. А. Плетневъ, въ письмѣ отъ 8 марта 1851 года, изъяснивъ Ершову, что такъ какъ онъ твердо рѣшился не перемѣнять мѣста жительства и службы, то на этотъ предметъ онъ и не хочетъ болѣе обращать его вниманіе, но не можетъ не пожалѣть, что онъ намѣренъ дичиться и генерала Анненкова, который могъ бы для него сдѣлаться въ такой мѣрѣ полезнымъ, что и предполагать нельзя; что Анненковъ любить покровительствовать литераторовъ, чему въ примѣръ приводилъ Кукольника....

Упрекъ Ершову въ томъ, что онъ дичится даже и рекомендуемаго почтеннаго лица, справедливъ до нѣкоторой степени.—До такого-то грустнаго состоянія довело кроткую, миролюбивую душу поэта неизбежное уединеніе, изъ котораго тщетно силился онъ вырваться. А если сообразить это съ обстоятельствами, если представить себѣ, хоть напр. то, что онъ даже былъ обойденъ мѣстомъ, принадлежавшимъ ему по всѣмъ правамъ, то грустно становится не за одного только Ершова.....

Въ упомянутомъ письмѣ, П. А. Плетневъ такъ отозвался о повѣстяхъ Ершова: „Если вы читаете современные русскіе журналы, то и сами напередъ могли отгадать, что повѣсти ваши совсѣмъ въ иномъ родѣ. Это не значитъ, чтобы избранный вами родъ былъ чѣмъ нибудь хуже того, который господствуетъ въ журналахъ нашихъ. Я только стараюсь показать вамъ, отчего мудрено съ вашими повѣстями обратиться къ русскимъ журналистамъ. Эти господа вообразили, что все простое, естественное и понятное ни чѣмъ иное стало въ нашъ вѣкъ, какъ обыкновенное, бездарное и пошлое.

Слѣдовательно, чтобъ имѣть съ ними дѣло и притомъ съ выгодною для себя, необходимо подчиниться ихъ развращенному вкусу.—Я, съ своей стороны, нашелъ, что вы въ повѣстяхъ умѣли сохранить свое достоинство. Въ нихъ главное то, что ни одна изъ трехъ повѣстей не повторяетъ ни колорита, ни идеи, ни плана другой. Онѣ всѣ три какъ бы написаны тремя разными сочинителями, что всего рѣже бываетъ и у самыхъ опытныхъ авторовъ. Жаль только, что вы полѣнились развить нѣкоторыя сцены и черты характеровъ. Вы слишкомъ прозаически провели все передъ зрителями. Не забудьте, что повѣсти такая же поэзія, какъ и драма, и поэма. — И такъ я рѣшился подождать пріѣзда другихъ вашихъ повѣстей. Тогда попробую показать ихъ кому нибудь изъ журналистовъ. А еще вышло бы лучше, если бы, для перваго дебюта, вы потрудились приготовить что нибудь особенное, побольше аналитическое, чѣмъ преимущественно теперь всѣ восхищаются.—Вотъ вамъ чистосердечный мой отзывъ. Я ни слова не сказалъ о способѣ изложенія вашего, потому что, какъ само-собою разумѣется, вы не можете и писать иначе, какъ прекрасно. Я занялся только требованіями такъ-называемыхъ судей современныхъ.“

Въ имѣющемся у насъ черновомъ письмѣ, помѣченномъ 20 апрѣля 1851 года, Ершовъ писалъ къ П. А. Плетневу: „Чувствую, сколько я беспокоилъ васъ моими планами, и потому не смѣю болѣе обременять васъ этимъ предметомъ. Скажу только, что, прочитавъ въ газетахъ объ увеличеніи числа библіотекъ при Императорской публичной библіотекѣ, я позволялъ надеждѣ ласкать меня исполненіемъ одного изъ любимыхъ моихъ проектовъ. Не могу также умолчать объ одномъ случаѣ, который, съ мѣсяцъ тому назадъ, разнесся въ Тобольскѣ, что министерство назначаетъ меня директоромъ въ открывающуюся гимназію въ Самарѣ, и этотъ слухъ, повторяемый нѣсколько разъ, сталъ приучать меня къ мысли — поискать счастья въ новой губерніи, особенно въ томъ предположеніи, что съ открытіемъ директорскаго мѣста въ Тобольскѣ я могъ бы снова перепроситься на родину.—Одна только просьба моя будетъ къ вамъ, Петръ Алексан-

дровичъ. Такъ какъ мнѣ до полной пенсіи остается прослужить еще пять лѣтъ, то я желалъ бы, года за два или за годъ до срока, получить мѣсто директора въ одной изъ губерній перваго разряда по уставу, чтобы заслужить пенсію, болѣе обеспечивающую содержаніе моего семейства. Если же, по слабости здоровья, я рѣшусь подать въ отставку прежде срока, — то не оставьте употребить ваше ходатайство о назначеніи мнѣ полной инспекторской пенсіи, на которую, по разстроенному здоровью, прослуживъ 15 лѣтъ, я могу имѣть право, на основаніи положенія о служащихъ въ отдаленныхъ губерніяхъ *.—Ваше мнѣніе о моихъ *разсказахъ* превзошло мое ожиданіе. Припоминая себѣ цѣль, для которой они писаны (испытать—не разучился ли я писать), и время, посвященное имъ (пять *разсказовъ* написаны втеченіи десяти дней), я не смѣлъ ожидать подобнаго успѣха. Вотъ и причина, почему я не могъ лучше обрисовать характеры и развить болѣе замѣчательныя сцены. Притомъ я хотѣлъ остаться вѣрнымъ принятой мною формѣ *разказа*, гдѣ подробности анализа могутъ казаться лишними и повредить естественности. Можетъ быть, я и ошибаюсь, но, по моему мнѣнію, *разказъ* имѣетъ разныя условія—говорить ли *разсказчикъ* о себѣ или о другомъ лицѣ, и притомъ — *разсказываетъ* ли онъ происшествіе, которое онъ видѣлъ случайно, или самъ былъ дѣйствующимъ лицомъ.—Остальные *разказы* я пересмотрю и отдамъ переписать. Нисколько не печалюсь, что простыя мои повѣсти не прійдутся по вкусу журналистовъ. Одобреніе подобныхъ вамъ людей для меня дороже всѣхъ журнальныхъ похвалъ. Не могу скрыть отъ васъ, что еще до отправленія къ вамъ *разсказовъ*, не довѣряя себѣ, я читалъ ихъ въ одномъ образованномъ семействѣ, и они сказали мнѣ то же самое, что я имѣлъ удовольствіе прочесть въ вашемъ письмѣ; по ихъ мнѣнію, лучше было бы издать *разказы* особую книжкою, именно въ томъ же предположеніи, что врядъ ли они понравятся журналистамъ. —

* Въ какое грустное положеніе приведенъ Ершовъ: онъ проситъ посторонняго ходатайства даже при назначеніи ему того, что слѣдовало бы ему по праву!...

Совѣтъ вашъ — обратиться къ генералу Анненкову я постараюсь привести въ исполненіе, если только генералъ, на обратномъ пути изъ Омска, заѣдетъ опять въ Тобольскъ. Теперь скажу только, что, при осмотрѣ нашей гимназіи, онъ остался очень доволенъ найденнымъ въ ней порядкомъ и общалъ объ этомъ довести до свѣдѣнія г. министра народнаго просвѣщенія. Но, разумѣется, тутъ вся честь падетъ на г. директора, какъ на начальника заведенія; мнѣ же останется одна отрадная мысль, что служу непопустому. — Удостоите, Петръ Александровичъ, отвѣтомъ вашимъ на мое письмо, для успокоенія моихъ надеждъ...

П. А. Плетневъ, отъ 25 мая того же года, отвѣтилъ: „О мѣстѣ директора училищъ Самарской губерніи писалъ я къ директору департамента и получилъ отъ него увѣдомленіе, что министерство еще и не предполагаетъ открыть гимназіи въ Самарѣ, а для завѣдыванія училищами губерніи назначенъ уже инспекторъ, состоящій вмѣстѣ съ тѣмъ и штатнымъ смотрителемъ уѣзднаго училища. — Желаніе ваше, любезный Петръ Павловичъ, получить передъ пенсією мѣсто директора гимназіи перваго разряда — очень естественно. Но легко ли его исполнить? Надобно случиться великому счастью, чтобы всѣ условія, тутъ необходимыя, совершились тогда какъ бы нарочно. И безъ ихъ помѣхи необыкновенно трудно переходить съ мѣста на мѣсто. Я, признаться, и не знаю, сколько разрядовъ для гимназій и въ какомъ которая состоитъ изъ нихъ. — Ваше право на пенсію, какъ скоро основывается оно на положеніи о служащихъ въ Сибири, никакъ и никѣмъ не можетъ быть оспорено. Но вы, прося пенсію, должны сослаться на томъ и статью. — Менѣ всего можно вамъ мечтать о службѣ въ Публичной Библіотекѣ. Иѣкогда это былъ центръ лучшихъ литераторовъ. Теперь все другое. Тамъ одни чиновники, и ихъ обязанность прескучная. Притомъ такъ всюду стараются сокращать жалованье чиновниковъ, что и попасть невозможно въ эти библіотекари, при какой угодно протекціи. — Напечатать ваши повѣсти, всѣ, сколько вы ихъ напишете, конечно, лучше особою книжкою, нежели разбросать ихъ по журналамъ.“

Только бѣда въ томъ, что на первое потребуется нѣкоторая лишняя сумма. Предоставимъ времени рѣшить, на что лучше пуститься. Въ литературѣ истинная выгода для мыслящаго заключается въ самомъ процессѣ творенія, а не въ послѣдующихъ какихъ бы то ни было успѣхахъ. — И такъ мы теперь во всемъ пока остановимся, ожидая лучшаго отъ будущаго.“

У насъ есть и еще одно черновое письмо Ершова къ П. А. Плетневу, непомѣченное числомъ, но, сколько можно заключить по приводимому въ немъ очерку гимназическаго праздника, писанное въ юнѣ 1851 года. Было ли оно, въ этомъ видѣ, послано по назначенію, — неизвѣстно: отвѣтнаго письма нѣтъ. Но оно важно для поясненія самостоятельнаго серьезнаго взгляда Ершова на нѣкоторую часть литературныхъ произведеній. Вотъ оно: „Исполняя ваше желаніе, имѣю честь препроводить при семъ вторую часть „Сибирскихъ вечеровъ“. Въ нихъ первые два рассказа тѣ самые, о которыхъ я упоминалъ въ послѣднемъ моемъ письмѣ, а третій и четвертый написаны вновь. Буду съ нетерпѣніемъ ожидать вашего отзыва, хотя напередъ догадываюсь о немъ. Когда-нибудь, въ рассказѣ Тазъ-Баши *, я изложу свою теорію повѣсти, и надѣюсь, что шутка, если только она удастся, лучше покажетъ крайности нынѣшняго рода разскащиковъ, чѣмъ серьезный разговоръ о нихъ. Я не врагъ анализа, но не люблю анатоміи. Конечно, знать жилы и мускулы, при извѣстномъ положеніи страсти, необходимо и для скульптора и для живописца; но обнажать всю внутренность — дѣло не совсѣмъ поэтическое. А повѣсть развѣ не та же картина и пластика, только съ особенными условіями? Притомъ же подробный анализъ впадаетъ въ школьную манеру и старается учить читателя тамъ, гдѣ бы слѣдовало заботиться объ одномъ эстетическомъ удовольствіи. Я допущу еще подробности въ такихъ вопросахъ, какъ *быть или не быть*, но въ такой мелочи, — какъ идти или ѣхать, спать или проснуться, право, безбожно разсчитывать на терпѣніе

* Одно изъ лицъ въ упомянутыхъ повѣстяхъ.

читателей. А жизнь героевъ повѣстей, больше чѣмъ на $\frac{9}{10}$, состоитъ изъ подобныхъ мелочей. — Простите меня, Петръ Александровичъ, за рѣзкія, можетъ быть, выраженія, но я говорю, какъ понимаю. Для меня—одна глава „Капитанской дочери“ * дороже всѣхъ новѣйшихъ повѣстей, такъ называемой, натуральной, или лучше, школы мелочей...“ Прося затѣмъ обратить вниманіе на представленную, чрезъ книгопродавца П. Крашенинникова, въ цензуру, для четвертаго изданія, по исправленной рукописи, сказку: *Конекъ Горбунокъ*, а также на случай изданія *Сибирскихъ вечеровъ*, онъ заявилъ: „Вы напоминаете мнѣ о трудѣ, болѣе достойномъ литературы и того мнѣнія, которое вы, по благосклонности своей, имѣете обо мнѣ. Не скрою отъ васъ, что мысль о *русской эпопее* не выходитъ у меня изъ головы. Но, живя въ глуши, я не имѣю нужныхъ къ тому матеріаловъ. Это обстоятельство преимущественно влекло меня искать мѣста при Императорской Публичной Библіотекѣ, гдѣ я могъ бы пользоваться всѣми старинными сказаніями. Предоставляю Богу устроить мою судьбу. Если же Ему угодно оставить меня навсегда въ Сибири, я не буду роптать на это, но мысль о *русской эпопее* перемѣню на *сибирскій романъ*. Куперъ послужитъ моимъ руководителемъ. А между тѣмъ на мелкихъ разсказахъ я приучу перо свое слушаться мысли и чувства.....“ Взаключеніе письма, онъ сообщаетъ подробно о гимназическомъ праздникѣ, который, съ назначеніемъ его инспекторомъ гимназіи, восемь лѣтъ постоянно отправляется 2 іюня и который установился по его мысли. Въ этотъ день, въ 1837 году, бывший тогда Наслѣдникомъ всероссійскаго престола, нынѣ благополучно царствующій Государь Императоръ, удостоилъ Тобольскую гимназію своимъ посѣщеніемъ.—Это письмо заключено словами: „Г. директоръ сказывалъ мнѣ надняхъ, что онъ имѣетъ надежду на переводъ въ одну изъ южныхъ губерній; но что, въ случаѣ назначенія меня куда нибудь деректоромъ въ Россіи, онъ

* Повѣсть А. С. Пушкина.

готовъ тотчасъ же просить министерство о переимѣнѣ со мной мѣста, если только это не будетъ противно министерству“.

Дальнѣйшей переписки съ П. А. Плетневымъ, какъ видно, не было. Попытка Ершова о достиженіи лучшей, болѣе соотвѣтственной его призванію, дѣятельности такъ и осталась только попыткой.—Въ концѣ этого 1851 года, книгопродавецъ П. Крашенинниковъ, желая напечатать четвертымъ изданіемъ сказку Ершова: *Конекъ-Горбунѣкъ*, представилъ ее въ С.-Петербургскій цензурный комитетъ, въ полученной имъ отъ автора рукописи, дополненной противъ прежнихъ изданій. Сказка эта не была тогда дозволена цензурнымъ комитетомъ къ новому изданію ни по дополненной рукописи, ни по печатному третьему изданію ея. Вскорѣ потомъ Крашенинниковъ доставилъ, для цензурованія, въ комитетъ, гдѣ я былъ тогда секретаремъ, и рукопись Ершова: *Осенніе вечера*, полученную, если не ошибаюсь, отъ П. А. Плетнева. Этотъ случай возобновилъ нашу переписку съ Ершовымъ.

Отъ 28 февраля 1852 года, Ершовъ писалъ ко мнѣ, въ томъ же тонѣ, который такъ естественъ, такъ по-душѣ ему въ разговорѣ съ пріателемъ: „Немножко затруднительно начинать черезъ 4 года прерванную переписку. Но мысль, что Ярославцовъ есть Ярославцовъ, а Ершовъ—Ершовъ, эта мысль толкаетъ мое перо писать попрежнему, какъ бы этихъ 4 лѣтъ не было и какъ бы мы вчера разстались другъ съ другомъ. И такъ давай свою секретарскую руку и слушай, какъ хрустятъ составы ея подъ пожатіемъ джужаго сибиряка.—Ты, можетъ быть, спросишь: что заставило меня писать къ тебѣ? Очень простое обстоятельство—двѣ строки въ письмѣ книгопродавца Крашенинникова, который пишетъ, что „я разговаривалъ объ изданіи *Конька* съ секретаремъ цензурнаго комитета, Ярославцовымъ, назвавшимся вашимъ короткимъ пріателемъ“. А! подумалъ я, коли Ярославцовъ мой пріятель, такъ надо написать пріятелю грамотку. Отвѣтитъ онъ на нее—спасибо ему, не отвѣтитъ—нехай его.... Теперь, когда дѣло объяснено вполне и удовлетворительно, скажу, что давно уже я собирался черкнуть нѣсколько словъ

тебѣ и Т—борнѹ, но лѣнь, проклятая лѣнь, сибирская лѣнь всегда служила помѣхою“.... Затѣмъ онъ, шутя, вскидывается на бывшую, въ 1848 году, холеру, оторвавшую его отъ всего и породившую бездѣйствіе. Оставаясь среди надеждъ, что кто нибудь навѣдается о немъ письменно, онъ только считалъ почту за почтой, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, годъ за годомъ и насчиталъ къ 28 февраля 1852 года ровно четыре года. „Не считай,—продолжаетъ онъ,—любезный А. К., этого письма за письмо, и не ищи въ немъ связи. Послѣ долгой разлуки, сильно накаплиется разныхъ вопросовъ, что не знаешь съ котораго начать. Твой отвѣтъ, котораго я ожидаю ровно чрезъ 1½ мѣсяца, подастъ сигналъ къ письменной перестрѣлкѣ съ тобою и со всѣми, кто только обо мнѣ вспомнить и черкнетъ хоть два слова охотно. Поэтому передай мой вызовъ Т—борнѹ, Г—ву, П—му, Б—ову, всѣмъ, которые только помнятъ ерша ершовича. А между прочимъ, такъ какъ въ цензурѣ теперь обрѣтается нѣкая рукопись, называемая: *Осенніе вечера*, то прошу изложить свое мнѣніе по правилу нелицепріятнаго судьи, т. е., не вѣдая ни жалости, ни гнѣва. П. А. Плетневъ отозвался объ ней очень лестно, но мнѣ все таки хочется знать мнѣніе людей, похожихъ на А. К. Ярославцова“.

Не безъ грусти прочиталъ я это письмо: сомнѣніе въ пріязни тѣхъ, которые искренно цѣнятъ въ Ершовѣ дарованіе, его, извѣстныя имъ, честную душу, прекрасное сердце, отозвалось во мнѣ — мыслию о тяжеломъ нравственномъ гнетѣ. Считаю необходимымъ, для поясненія слѣдующаго письма Ершова, привести нѣсколько строкъ изъ моего отвѣта на предъидущее его письмо; въ немъ я высказалъ, между прочимъ, и мнѣніе свое о его *Осеннихъ вечерахъ*, которое, прочитавъ эти рассказы и теперь, послѣ двадцати лѣтъ, могу повторить безъ измѣненія. „Слѣдовало бы начать письмо съ извиненій, что исполняю твое желаніе не черезъ 1½ мѣсяца, а черезъ 4, да ужъ это будь, по крайней мѣрѣ, не между нами: закабалилъ себя службою,—такъ вотъ и извиненіе, самое откровенное. Но къ дѣлу, и прежде всего къ главному. — *Осенніе вечера* — у меня; я прочиталъ ихъ

съ удовольствіемъ; въ нихъ Ершовъ, съ его желаніемъ добра ближнему, съ его нравственностію, всегда неразлучною съ христіанизмомъ, съ фантазією и рѣчью русскаго, гдѣ повѣствуетъ русскій; — нѣмца, гдѣ рассказываетъ нѣмецъ, и — татарина, гдѣ говоритъ татаринъ. Коротко, — повѣсти эти заняли бы мѣсто очень непослѣднее въ ряду повѣстей, выполнѣ заслуживающихъ это названіе. Повторяю, что интересъ и особенно цѣль каждой изъ твоихъ повѣстей мнѣ очень-очень нравятся, такъ что о маленькихъ недостаткахъ ихъ и говорить не хочется, особенно въ письмѣ. — Но поправились ли бы онѣ современности? — Это другой вопросъ.... Теперь, новый вопросъ: что ты хочешь дѣлать съ своими повѣстями? — А жаль, что съ тобою нельзя поговорить не на письмѣ: оно было бы *лучше*. — Если желаешь печатать ихъ, то напиши, кому предоставляешь распорядиться *такими* дѣломъ. — Да, *кстати*, — рассказы твоего татарина о его дѣдушкѣ насмѣшили меня досыта татарскою наивностію! но — еслибъ я далъ кому нибудь прочесть твои повѣсти, то эти рассказы непременно бы вырѣзалъ..... До полученія отъ тебя отвѣта, удерживаю твои премилыя повѣсти у себя *. — Ну, теперь слова два о своей особѣ. Часть тебѣ уже извѣстна, т. е., я занятъ *оплами* съ утра до ночи, изъ прежнихъ знакомыхъ знакомъ только съ добрымъ Т-борномъ... (тутъ я прибавилъ намѣренно — въ утѣшеніе, хоть какое нибудь, Ершову): вспоминаемъ милое минувшее; объ утратахъ — грустимъ, но не горюемъ, повторяя: „нечего дѣлать“! Очень рѣдко или и никогда не встрѣчаю тѣхъ лицъ, о которыхъ ты спрашиваешь: мое уединеніе разлучило меня со всѣми. Ты не осудишь моего уединенія: когда окружающее настоящее не нравится намъ, или мы не нравимся ему, то — уединимся!... Скажемъ — „нечего дѣлать!... „Дай руку, братъ, до свиданія, хоть на письмѣ, хотьбы оно даже пришло опять черезъ четыре года“.

* Теперь могу прибавить, что эти повѣсти много говорятъ въ пользу того, что Ершовъ и въ области романа могъ бы современемъ быть прекрасенъ.

На это письмо отвѣтилъ Ершовъ, отъ 6 августа того же года: „Твое письмо, безъ преувеличенія, заставило меня помолодѣть цѣлыми десятью годами. Тѣ же чувства, тотъ же привѣтъ! Значить, судьба недаромъ выбрала тебя, чтобъ снова затянуть узелъ дружбы, который отъ обстоятельствъ мѣста и времени начиналъ уже, если не развязываться, по крайней мѣрѣ, ослабѣвать. Прекративъ переписку съ вами, я былъ точно сирота. И еслибъ не семейный очагъ, то, право, мнѣ негдѣ бы было согрѣться. Что за люди? Что за души? Нѣтъ, надо пожить здѣсь, чтобъ исполнѣ постигнуть—что значитъ безлюдье въ многолюдствѣ. Ты спросишь, что же привязываетъ тебя къ этому пустырю? А вотъ что: черезъ четыре года срокъ мой на пенсіонъ, и я — вольный казакъ; буду имѣть насущный хлѣбъ для себя, жены и трехъ ребятишекъ, а это, въ здѣшнемъ мірѣ, право, не бездѣлица.—Душевно благодарю тебя за ласковый отзывъ объ *Осеннихъ вечерахъ* и за дружескій вызовъ устроить ихъ печатную судьбу. Отдаю ихъ тебѣ въ полное распоряженіе. Печатай ихъ—какъ и гдѣ тебѣ угодно. Всего лучше условиться съ какимъ-нибудь книгопродавцемъ, чтобъ онъ напечаталъ ихъ на свой счетъ, и издержки печатанія выручилъ изъ продажи первыхъ экземпляровъ. Отъ этого ни я, ни издатель въ накладѣ не будемъ. Цѣну за два томика можно бы назначить 2 р. сер. Я думаю—это не дорого.—Только, пожалуйста, пощади моего Тазъ-башника. Онъ хоть немножко и салець, но, право, не глупый малый, и, можетъ быть, найдетъ своихъ любителей.—Но имени моего я не буду выставять на показъ почтеннѣйшей публикѣ; впрочемъ не потому, чтобы я стыдился своего дѣтища, а просто потому, что я слишкомъ берегу свое имя, чтобы, при всякомъ случаѣ, дѣлать изъ него, по словамъ покойнаго Пушкина, мишень для камней и грязи гг. журналистовъ. Хорошо—такъ будетъ хорошо и безъ имени, а плохо—такъ никакое имя не поможетъ. Притомъ, происхожденіе *Осеннихъ вечеровъ* таково, что неуспѣхъ ихъ не можетъ слишкомъ огорчить меня, развѣ только посѣтуетъ карманъ—и только. Видишь ли, въ прошломъ году, наскучивъ неудачами по службѣ, я задумалъ—было переселиться въ Питеръ—съ мыслию, что если и тамъ

не повезетъ служба, такъ, можетъ быть, вывезетъ перо. Поэтому, нужно было попробовать—не разучился ли я писать. Вотъ я и придумалъ нѣсколько самыхъ простыхъ сюжетовъ и сталъ рассказывать ихъ на разныя манеры. Въ двѣ недѣли *Вечера* были написаны и переписаны, и даже прочитаны въ одномъ образованномъ домѣ (фонъ-Визинныхъ). Отзывъ ихъ рѣшилъ меня послать *Вечера* къ Плетневу, котораго отзывъ былъ такъ же лестенъ для меня, какъ и твой, и почти одного съ твоимъ содержанія. Купецъ Крашенинниковъ взялся было издать ихъ, но, не знаю, почему-то раздумалъ. Вотъ, пока, вся исторія моего творенія, или, лучше, печенія. Не знаю, была ли рукопись у васъ въ переборкѣ, т. е., въ цензурѣ, и въ какомъ видѣ она воротилась оттуда.—Но, ради Бога, скажи мнѣ: за что такая немилость къ *Коньку*? Что въ немъ такого, что могло бы оскорбить кого бы то ни было?... Нельзя ли, по крайней мѣрѣ, напечатать *Конька* въ прежнемъ видѣ. Похлопочи, А. К., и если успѣешь, то уполномочиваю тебя заключить съ Крашенинниковымъ тѣ же условія, какія я предложилъ ему, т. е., за право изданія 300 р. с.; 200 руб.—при отдачѣ въ типографію, и 100 руб.—по истеченіи года, да сверхъ того, 25 экземпляровъ изданія.—Письмо окончивается, а я не написалъ еще и половины того, что думалъ. Поспѣшу другимъ письмомъ, не дожидаясь отвѣта. Поцѣлуй Т—борна. Поклонъ всѣмъ знакомымъ, если только они еще есть у меня.“

„Если только они еще есть у меня“!—какое окончаніе письма, обнаруживающаго живую еще прекрасную силу въ Ершовѣ. Эта сила могла бы уничтожить всякую грусть и самый зародышъ отчаянія или, лучше, безстрастія, въ которое, видимо, впадалъ Ершовъ, еслибъ окружили его обстоятельства благопріятныя; печальное положеніе могло бы даже благотворно повліять на его дарованіе. Но благопріятныя обстоятельства не нашлись: и, естественно, удѣлъ — постепенное увяданіе. Последующія письма, рѣже и рѣже присылаемые, являются въ такомъ же духѣ. Мы приведемъ изъ нихъ мѣста болѣе замѣтныя: изъ нихъ ясно, что и душевныя и тѣлесныя силы Ершова все болѣе и болѣе слабѣютъ.

Не успѣвъ еще ни въ чемъ по его письму, я не отвѣчалъ. Т — борнъ предупредилъ меня. Въ письмѣ къ нему, отъ 23 августа 1852 года, Ершовъ съ горькой шуткой говоритъ: „...Вѣжливость требуетъ, чтобъ и я, съ своей стороны, сообщилъ тебѣ о моемъ существованіи. Ахъ, милый Требонианъ, это такой печальный рассказъ, который наведетъ на тебя тоску на цѣлые два часа. Поэтому скажу въ нѣсколькихъ словахъ. Какъ гражданинъ, я сижу, какъ ракъ на мели,—на своемъ инспекторскомъ мѣстѣ и жду — когда приливъ снова унесетъ меня въ море отличій; какъ писатель, я забытъ публикой и въ немилости у журналистовъ; какъ человѣкъ, я окованъ двойными цѣпями—холодомъ природы и желѣзныхъ людей, и только утѣшаю себя вѣрою въ Бога и надеждой на лучшее. Что жъ до любви, то она теперь вся прикована къ родному очагу, около котораго я вижу добрую жену и трехъ милыхъ малютокъ. Изрѣдка залетаетъ въ мой пріютъ прежняя подруга моей юности — мечта, и шепчетъ мнѣ сладкія слова поэзіи. Но я какъ-то дичусь съ этой гостьей, или, скорѣе, боюсь ея.—Доволенъ ли ты этой картиной моей настоящей жизни? Доволенъ—хорошо; недоволенъ—вини не меня, а то или тѣхъ, кто привелъ меня въ это положеніе... Пріятно мнѣ узнать и твое мнѣніе (объ *Осеннихъ вечерахъ*) и утѣшиться мыслию, что хоть для друзей я не совсѣмъ устарѣлъ. Ты, можетъ быть, разсмѣешься надъ моимъ самолюбіемъ. Но, знаешь ли, добрый Требонианъ, я теперь настоящій ребенокъ, котораго можно заставить дѣлать что, только показывая ему сахарный кусочекъ, и котораго малѣйшая гримаса можетъ запугать до смерти. Я сказалъ себѣ: если *Вечера* мои будутъ имѣть успѣхъ, я снова примусь за перо и напишу что-нибудь получше; еслижъ нѣтъ... Ну, да извѣстно, что на нѣтъ и суда нѣтъ. Капуть—и полно!—Наравнѣ съ успѣхомъ въ литературѣ, меня занимаетъ или, скорѣе, заботитъ мысль о моей службѣ. Мнѣ остается только 4 года до пенсіи. Два года я пробьюсь еще здѣсь, а тутъ хочется искать мѣста директора въ какой-нибудь изъ губерній перваго разряда по уставу учебныхъ заведеній, т. е., съ жалованьемъ въ 2500 р. асс., чтобы имѣть

пенсіонъ побольше. Надежда на полученіе мѣста есть: нынѣшній министръ, князь Ширинскій-Шихматовъ, самъ писалъ къ князю Горчакову о доставленіи мнѣ директорскаго мѣста въ Тобольскѣ; но у князя Горчакова былъ другой кандидатъ, и — я потерялъ мѣсто. Если къ этой надеждѣ, что министръ меня помнитъ, прибавить надежду на содѣйствіе добрыхъ моихъ друзей, у которыхъ есть знакомые въ департаментѣ: то думаю, что желаніе мое можетъ исполниться. Я желалъ бы также отъ А. К. узнать, какое жалованье получаетъ чиновникъ особыхъ порученій при министрѣ просвѣщенія, въ какомъ онъ разрядѣ, какая его обязанность, и могу ли я надѣяться на полученіе этого мѣста. Потому что, можетъ быть, придетъ охота переѣхать къ вамъ и поискать счастья въ новомъ званіи. Во всякомъ случаѣ, потолкуйте въ досужій часъ, — какимъ бы образомъ улучшить мою незавидную участь. П. А. Плетневъ, въ прошломъ году, предлагалъ мнѣ адъюнктъ-профессорскую должность въ Петербургскомъ университетѣ; но такъ какъ для этого требовались экзаменъ магистра и знаніе славянскихъ нарѣчій, то я поблагодарилъ его за участіе и отказался. Припоминать азы, въ мои годы, ужъ слишкомъ поздно. — Ты, вѣрно, покажешь это письмо Андрею Константиновичу. Пусть оно будетъ для него обѣщаннымъ письмомъ. — Съ будущаго письма вы будете подъ однимъ именемъ — это и экономно и для лѣни сибирской ужасно пріятно...

Въ это тревожное время Ершовъ не брался уже за лиру; и развѣ негодованіе и горечь сердца облекались въ поэтическую форму: спустившись, такъ сказать, съ облаковъ на землю, онъ не могъ не отелникаться хоть эпиграммою на нечистыя выходки людей; но и въ самой насмѣшкѣ, какъ мы уже замѣтили, онъ не могъ быть ядовитымъ; такъ напр., хоть въ слѣдующей, написанной по случаю выбитія одной личности изъ Тобольска, не слышится ли душа добраго русскаго человѣка:

Палестину нашу
Покидаетъ онъ;
Заварилъ въ ней кашу,

Да и драга вонъ!
Какже у порога
Намъ не затынуть:
«Скатертью — дорога!
«Бояракомъ — путь!»

Несбыточными оказались планы Ершова о перемѣщеніи его; да и по той легкости, съ которою онъ говорилъ о нихъ, видно, что онъ и самъ считалъ ихъ почти мечтами: мы совѣтовали ему оставаться лучше въ Tobольскѣ и ждать мѣста директора гимназіи. Въ 1853 году Ершовъ лишился второй своей жены и, оставшись опять одинокимъ, съ малолѣтними дѣтьми, для которыхъ былъ необходимъ уходъ материнскій, вынужденъ былъ жениться вновь. Отъ 8 мая 1854 года, онъ писалъ: „...Ты угадалъ, добрый мой Т—борнъ, что, привыкнувъ къ семейной жизни, я не могъ оставаться одинокимъ, особенно потому, что на рукахъ моихъ остались трое малютокъ и все дѣвочки. Имъ нужна была мать, и Богъ послалъ ее. Не знаю, сказывалъ ли тебѣ Александръ Никитичъ *, какимъ образомъ устроилась новая моя судьба. Вотъ тебѣ полная исповѣдь. Лишившись милой жены, я до того грустилъ, что забывалъ и службу и дѣтей. Хотѣлъ выйти въ отставку и уѣхать куда-нибудь, избѣгая грустныхъ воспоминаній потеряннаго счастья. Родные жены моей—первые стали совѣтовать мнѣ снова жениться. Я отдался на волю судьбы. Но не легко было сдѣлать выборъ. Надобно было сыскать особу, которая была бы женою и — матерью сиротамъ. Богъ устроилъ все почти неожиданно. Въ январѣ пріѣхала въ Tobольскъ изъ Россіи дочь генераль-маіора Ч. Я встрѣтилъ ее въ одномъ знакомомъ домѣ. Сначала она обратила мое вниманіе своимъ пѣніемъ: чудное контръ-альто; потомъ, познакомявшись съ нею, я оцѣнилъ ея умъ, образованность (она воспитанница Екатерининскаго института). Роднымъ она тоже понравилась; наконецъ, наивныя слова старшей пятилѣтней моей дочери: „ахъ, папаша, какъ бы я

* Родственникъ Ершова, пріѣзжавшій около этого времени въ Петербургъ, по дѣламъ службы.

желала, чтобъ эта дѣвица была моею мамашей“, рѣшили меня сдѣлать предложеніе. Оно было принято, и 10 февраля была наша свадьба. Скажу тебѣ объ одномъ странномъ обстоятельствѣ. Жена моя рассказывала мнѣ, что, нѣсколько лѣтъ назадъ, она видѣла во снѣ какую то молодую прекрасную даму, которая, умирая, вручила ей трехъ малютокъ — дочерей и просила замѣнить ее имъ. Вотъ, что называется, — сонъ въ руку! А что она замѣнить дѣтямъ своимъ родную мать, въ этомъ я вполне увѣренъ, судя потому, какъ она ихъ любитъ... Рѣшаюсь слѣдовать общему вашему совѣту: остаюсь пока въ Сибири, по крайней мѣрѣ на два года, до выслуги пенсіи. А тамъ — что Богъ дастъ. У меня есть мысль, которую сообщу тебѣ. Если повѣсти мои будутъ имѣть успѣхъ, то я опять посвящу себя литературѣ и какъ-нибудь переберусь къ вамъ. А если нѣтъ, — то... Но Богъ милостивъ. Зачѣмъ тревожить себя заранѣе. Вѣдь существовалъ же я 18 лѣтъ въ скромной безвѣстности...“ Но недостатокъ крайне понуждалъ Ершова прискидывать средствъ къ поддержанію существованія его съ семействомъ. Въ этомъ же письмѣ изъяснилъ онъ готовность заняться, изъ платы, переводомъ книгъ съ французскаго языка; просилъ узнать о платѣ театральною дирекціею за піесы, такъ какъ у него есть нѣсколько драматическихъ сочиненій, нелишенныхъ, по его мнѣнію, интереса; — о платѣ въ журналахъ за листъ оригинальныхъ и переводныхъ статей; даже предполагалъ снова сдѣлать попытку — обратиться къ барону Брамбеусу, не возметъ ли онъ его опять въ сотрудники для своего журнала. „Объ одномъ только прошу, — заключаетъ онъ письмо, — ради Бога, доставьте мнѣ средства трудами содержать себя и милое мнѣ семейство.“ — За отдаленностію Ершова и при недовольно оживленной еще у насъ вообще литературной дѣятельности, неудобно было выполнить его желаніе. Только о его *Осеннихъ вечерахъ* шло дѣло сначала въ цензурѣ, потомъ о сбытѣ ихъ, не безъ выгоды для автора. Для новаго изданія *Комька-Горбушка* надобно было выждать благопріятнѣйшаго времени.

Въ письмѣ, отъ 26 іюня 1854 года, Ершовъ явился нѣ-

сколько успокоеннымъ, по крайней мѣрѣ, безъ всякихъ заботъ о насущномъ. Вспомнивъ, по случаю письма Т—борна, время, проведенное въ Петербургѣ, онъ выразился: „А славное, братъ, было тогда время! Какъ вспомнишь, такъ, кажется, 20 лѣтъ съ плечъ, и, вмѣсто скучныхъ улицъ Tobольска, снова видишь невскую столицу—и Пески, и Таврическій садъ, и Васильевскій островъ, и университетъ, и Охту, и Черную рѣчку, и дачу Кушелева и пр. и пр. У меня хранятся всѣ письма, когда-либо полученные отъ питерскихъ пріятелей, и порою перечитывая ихъ, я снова переживаю старое время и хоть на минуту забываю, что я одинъ въ глуши.... А вотъ, дастъ Богъ, годика черезъ два прикачу въ Питеръ и задушу васъ въ сибирскихъ лапкахъ. Только наврядъ-ли узнаемъ другъ друга, по крайней мѣрѣ, при первой встрѣчѣ. Я сузу по себѣ: изъ сухопараго студента выработался плотный, чуть не толстый инспекторъ и даже—о вей миръ!—съ замѣтнымъ брюшкомъ. А если прибавить къ этому малую толику сѣдыхъ волосъ на головѣ, то вы можете нарисовать мой портретъ...“ Обращаясь съ участіемъ лично ко мнѣ, онъ упомянулъ: „...что твоя музыка? что твоя поэзія?... Ужели служба отнимаетъ все время у литературы; или годы, какъ и у меня грѣшного, дали другой оборотъ дѣятельности, не столько блестящей, можетъ быть, за то болѣе полезной?... Въ застоѣ моихъ занятій есть причина—въ недостатокъ литературнаго общества, а одними книгами, особенно — какія пекутся въ настоящее время, сытъ не будешь. У тебя нѣтъ этой причины, если самъ только не поставилъ себя въ подобное мнѣ положеніе....“

Неменѣе спокойнымъ, но поразительнымъ, хотя и короткимъ письмомъ, отъ 9 октября того же года, увѣдомилъ онъ о себѣ. Ссылаясь, въ замедленіи письма, на постигшую его болѣзнь, онъ говоритъ: „Да, ровно три недѣли просидѣлъ я въ четырехъ стѣнахъ, тяжело вздыхая, но не окая. Коро-че, я страдалъ удушьемъ—слѣдствіемъ полнокровія и сидячей жизни, а кто знаетъ,—можетъ быть, и зародыша водяной въ груди. Но теперь, благодаря Бога и добраго медика, я выхожу изъ комнаты и дышу, если не свободно, по крайней

мѣръ, безъ затрудненія...“ Въ заключеніе письма онъ просилъ объ увѣдомленіи: что случилось съ его *Осенними вечерами* и съ его просьбой въ цензурный комитетъ о дозволеніи сказки, *Конекъ-Горбунокъ*, къ четвертому изданію, не дозволенной въ то время. „Есть ли надежда, — выразился онъ, — или приходится ужъ бить отбой себѣ на убой?...“ Но болѣзнь его, дѣйствительно, была начальнымъ проявленіемъ водяной, которая, наконецъ, и сразила его.

Любовь къ отчизнѣ, патріотическое чувство въ Ершовѣ равнялись съ его религіознымъ благоговѣніемъ. Необходимо повторить, что и изустно и, особенно, письменно откровененъ онъ былъ только съ немногими, короткими своими пріятелями; что письма его сохранились только случайно, слѣдовательно, не были припоровливаемы для печати: потому что все сказанное въ нихъ можно вполнѣ принять за неподдѣльныя, искреннія его мысли и чувства. Въ слѣдующемъ письмѣ, отъ 11 марта 1855 года, онъ почти не упоминаетъ о своихъ нуждахъ: все письмо посвящено сердечнымъ изліаніямъ и мольбамъ по случаю кончины Императора Николая I и вступленія на престолъ нынѣ благополучно царствующаго Государи Императора Александра Николаевича. „...Невольнo вспоминаю 3-е іюня 1837 года, — пишетъ онъ, — когда нынѣшній Императоръ удостоилъ посѣтить нашу скромную гимназію и ошастливитъ Своимъ высокимъ вниманіемъ молодого учителя Ершова...“ Въ жару чувствъ, онъ привелъ заключительныя строки того своего стихотворенія, которое, какъ сказано въ рукописномъ собраніи его стихотвореній, поднесено было, 3 іюня 1837 года, чрезъ В. А. Жуковского, Государю, тогда еще Наслѣднику престола, въ бытность его въ Tobольскѣ:

«Надежда сѣверной державы!
Лавръ полуночнаго вѣнца!
Цвѣти, подъ сѣнью русской славы,
Достойнымъ первенцомъ отца!
Ужъ русской лиры мощный геній
Готовъ вѣщать дѣла твои,

И передать для поколѣній
Въ благословеніяхъ любви.
А Ты, Творецъ непостижимый,
Молитвы теплыя внемли:
Да будетъ Онъ, Тобой водимый,
Твоимъ подобьемъ на земли!....»

Такъ вспыхнула душа поэта при событіи необычайномъ. — Но, оглянувшись, онъ увидѣлъ себя опять страдальцемъ на землѣ. Т—бориъ, въ своемъ письмѣ къ нему, выразилъ надежду, что мы, какъ-нибудь, увидимъ его въ Петербургѣ. Въ письмѣ, отъ 20 того же марта, онъ отвѣтилъ: „...Письмо твое задѣло меня за живое. Неужели вы думаете, что мнѣ можно еще попасть въ Петербургъ и пожить въ вашемъ миломъ кругу? А я такъ потерялъ всякую надежду на это. Когда, бывъ одинокимъ, я не умѣлъ собраться въ путь, могли это сдѣлать теперь, съ четырьмя дѣтенками. Да и гдѣ взять средствъ пуститься въ такую даль? И для какой цѣли? Для службы (я понимаю службу энергическую) я уже устарѣлъ; въ литературѣ — отсталой. Къ чему же бы я годился въ вашемъ дѣятельномъ Петербургѣ? Развѣ для того только, чтобы служить притчею во языцѣхъ. Еслибы еще былъ живъ Жуковский, то я могъ бы еще имѣть надежду, что, при его ходатайствѣ, меня перетащили бы на казенный счетъ. А теперь на кого могу положиться. Усердствующіе, можетъ, найдутся, да, на грѣхъ, у нихъ — животы-то коротки у самихъ. Изъ этого, впрочемъ, нисколько не слѣдуетъ, чтобы я думалъ навсегда замуровать себя въ Тобольскѣ (о, благословенный городъ!). Мой ревматизмъ требуетъ лучшаго климата, а душа желаетъ видѣть лучшихъ людей. Но — куда и гдѣ: это и для меня еще неразрѣшенная задача. Разумѣется — гдѣ потеплѣе; разумѣется — гдѣ моего убогаго пенсіона хватитъ на дневное пропитаніе. Вижу, что ты смѣешься надъ моею элегіей. Вольному воля. Въ твоемъ одинокомъ положеніи, съ твоимъ беззаботнымъ характеромъ можно сибаритничать и не вѣрить, что — не все коту масленица. А я — ужъ не тотъ Ершовъ, котораго ты зналъ когда-то, лѣтъ за 20, неменѣе. Унывать,

пока еще не унываю, но ужъ не раскрашиваю перспективу будущаго. Больше полагаюсь на милость Божію, чѣмъ на мудрость и расчеты человѣческіе....“ Унылость эта, вѣроятно, порождена была непріятнымъ случаемъ, всегда легко дѣйствовавшимъ на нѣжную душу Ершова; но едва уносился онъ въ свой міръ мечтаній, какъ и находилъ для себя утѣшеніе. Таковъ поэтъ, таковъ Ершовъ былъ до послѣднихъ минутъ своей жизни. — Продолжая письмо, онъ вздохнулъ о своемъ *домотерпѣннѣ* и, сказавъ: „Вѣрно, не пришло еще *мое время*,“ вдругъ оживился:

«Оно придетъ! оно придетъ!

Мнѣ сердце говорить.

И радость въ душу низойдетъ

И дни озолотить!... Ура!...»

„Это значитъ, ни больше ни меньше, что покорнѣйшій твой слуга развеселился. Веселье для меня такая рѣдкая птичка.... Ловлю ее за хвостъ и за крылья. Знаю, что скоро улетитъ, да, что нужды! Хоть на минуту, да, будетъ моя.— Не унывать!...“ И найдя успокоеніе въ своихъ религіозныхъ убѣжденіяхъ, онъ выразился такъ:

«О, торжествуй! — Творецъ вселенной,

Призрѣвши кладъ въ тебѣ безцѣнной,

Тебя страданіемъ почтилъ.

Любовь предвѣчная судила

Пройти тебѣ чрезъ огонь горнила,

Чтобъ ты и чистъ и свѣтелъ былъ.»

Окончивая письмо уже въ обычномъ игривомъ тонѣ, онъ вновь проситъ хлопотать о *Конькѣ* и о *Вечерахъ*, чтобы выручить автора ихъ *изъ когтей кредиторскихъ*.

Въ 1855 году, новый министръ народнаго просвѣщенія, А. С. Норовъ, по поступившей къ нему просьбѣ книгопродавца П. Крашенинникова, сдѣлалъ распоряженіе о дозволѣніи къ новому изданію сказки Ершова, *Конекъ-Горбунукъ*. Послѣдствіемъ чего было, что сказка напечатана уже не по прежнему третьему изданію, а по рукописи, дополненной противъ всѣхъ предшествовавшихъ изданій,—въ томъ видѣ,

въ какомъ она не явилась въ первомъ изданіи, и въ какомъ она стала являться во всѣхъ послѣдующихъ. Это очень утѣшило, даже обрадовало автора. По выходѣ этого четвертаго изданія, въ 1856 году, въ свѣтъ, Ершовъ, отъ 14 іюня того же года, написалъ, между прочимъ, какъ онъ вшутку выразился, „похвальное слово своему первенцу“, изъ котораго явствуется его, и надобно сознаться, нешибочная оцѣнка этой сказки: „*Конекъ мой снова поскакалъ по всему русскому царству. Счастливый ему путь! Крестный батюшка его, Крашенинниковъ, одѣлъ его очень чисто и хвалить крестника напропалую. Журнальные черберы пока еще молчатъ: или оттого, что не обращаютъ на него ни малѣйшаго вниманія, или собирая громы для атаки. Но, вѣдь, конекъ и самъ не простъ. Заслышавъ, тому уже 22 года, похвалу себѣ отъ такихъ людей, какъ Пушкинъ, Жуковский и Плетневъ, и проскакавъ въ это время во всю долготу и широту русской земли, онъ очень мало думаетъ о нападкахъ господствующей школы и тѣшить людъ честной, старыхъ и малыхъ, и сидней и бывалыхъ, и будетъ тѣшить ихъ, пока русское слово будетъ находить отголосокъ въ русской душѣ, т. е., до скончанія вѣка*“.—Радость его увеличилась еще новымъ случаемъ, о которомъ, въ томъ же письмѣ, выразился онъ такъ: „Желалъ бы я знать, чтó ты дѣлалъ, или, по крайней мѣрѣ, чтó думалъ въ 10-е іюня. А я въ этотъ день готовъ былъ и молиться и прыгать. Эти двѣ несоединимыя вещи очень легко объясняются тѣмъ, что 10 іюня твой Петръ выслужилъ полную пенсію, и, значитъ, нѣсколько обезпечилъ судьбу своихъ ребятишекъ. Будь онъ одинъ, въ этотъ же день онъ подалъ бы просьбу объ отставкѣ; но такъ какъ у него жена и пятеро ребятъ, то онъ подалъ просьбу о пенсіи и вмѣстѣ о позволеніи послужить еще 5 лѣтъ“....

Но, вслѣдъ за радостями, не замедлили придти къ Ершову опять и новое бремя и горе. Письмомъ, отъ 10 октября того же года, прося объ исполненіи нѣкоторыхъ порученій, онъ извиняется въ краткости и нескладицѣ письма. „....Есть причины для этого, и причины, думаю, уважительныя, — говоритъ онъ. Въ настоящее время я, буквально,

заваленъ дѣлами. За болѣзнію директора, я долженъ править его дѣла и, кромѣ того, по болѣзни учителя словесности, на меня пало преподаваніе этого предмета. Но — это еще не главное. Главное — въ семейныхъ потеряхъ, которыми Богу угодно было посѣтить меня. На одной недѣлѣ я имѣлъ несчастіе похоронить сына и дочь — моихъ любимцевъ.... Умъ мой теперь весь въ сердцѣ, а сердце — на могилѣ дѣтей“.

Наконецъ *Осенними вечерами* посчастливилось. Покойный А. Плюшаръ, предположивъ издавать, съ 1857 года, журналъ, „Живописный сборникъ“, охотно согласился помѣстить ихъ въ этомъ журналѣ, за условленную плату 500 р. сер. автору. На мое увѣдомленіе объ этомъ, Ершовъ, отъ 26 декабря 1856 года, отвѣтилъ, въ обычномъ своемъ, въ пріятную минуту, тономъ:

«Ну, спасибо, братъ Андрюша!
Взвеселилъ мою ты душу.
И на радости такой
Вотъ тебѣ поклонъ большой.»

Но, между условіями, включилъ: „Если ты разрѣшилъ — подъ разсказами выставить мой вензель, пускай такъ и будетъ. Но полное имя я желалъ бы подписать только тогда, когда и публика и журналы встрѣтятъ разсказы ласково. А то — что за охота выставять имя свое на потѣху журнальныхъ героевъ“.... О своемъ бытѣ, въ это время, онъ говоритъ въ заключеніе письма: „Служба и семья — вотъ два предмета моихъ дѣйствій. Отъ общества если я и не совсѣмъ отсталъ, однакоже считаюсь заштатнымъ. — Дай Богъ успѣха моимъ *разсказамъ*: это заставитъ, можетъ быть, еще взяться за перо и написать что-нибудь дѣльное.“

Въ концѣ января 1857 года мы узнали, изъ правительственныхъ объявленій, что Ершовъ *утвержденъ* директоромъ училищъ Тобольской губерніи. Хотя какъ нибудь улыбнулось и ему счастье по службѣ. Мы не замедлили пожелать ему

успѣховъ въ новой, но уже неоднократно выполняемой имъ, обязанности. — Періодъ времени, четыре года, въ которые Ершовъ былъ директоромъ, слѣдовательно, при казенной квартирѣ и содержаніи въ 2000 руб. съ пенсією 500 руб., хоть въ матеріальномъ отношеніи, ободрилъ его нѣсколько, а умственная его дѣятельность была вся напряжена. Только отъ 17 іюня того же года, отвѣтилъ онъ намъ, извиняясь замедленіемъ письма: „....Въ буквальныймъ смыслѣ, я заваленъ работой. По сибирскимъ моимъ правиламъ, я службу не считаю однимъ средствомъ для жизни, а истиннымъ ея элементомъ. Отставъ отъ литературы, я всего себя посвятилъ службѣ, не въ надеждѣ будущихъ благъ, которыхъ въ нашемъ скромномъ занятіи и не предвидится, а въ ясномъ сознаніи долга. Не прими эти слова за панегирикъ моей особѣ. Я никогда не имѣлъ обычая рисоваться передъ кѣмъ нибудь, а тѣмъ болѣе передъ тѣмъ человекомъ, который меня знаетъ съ незапамятныхъ временъ, и, надѣюсь, знаетъ не съ дурной стороны. Надобно бы исписать полдести бумаги, чтобъ объяснить, въ какомъ положеніи я принялъ дирекцію, и сколько надо усилій и даже пожертвованій, чтобъ поставить ее на ноги. При личномъ свиданіи, которое не замедлитъ, я расскажу тебѣ и милому, но немножко строгому Андрею....“ Какъ повліяло на Ершова улучшенное положеніе его быта, видно изъ спокойнаго тона всего этого письма, такъ, напр., изъ слѣдующихъ мѣстъ: „Но будетъ о службѣ, поговоримъ о дружбѣ. Съ каждымъ годомъ я увѣряюсь въ истинѣ, что время—лучшее средство для познанія людей. Когда я оставлялъ Петербургъ, друзей моихъ не помѣстила бы саженная *Times*. А вотъ, черезъ 20 лѣтъ, остаются только двое. За то эти двое дороже для меня втрое.... Желалъ бы я узнать толки объ этомъ *дивномъ* произведеніи (такъ вшутку заговорилъ онъ о своихъ *Осеннихъ вечерахъ*). Журналисты молчатъ, потому что не нашлось ни одного, который бы имѣлъ столько самобытности, чтобы высказать первому свое мнѣніе о разсказахъ, никонимъ образомъ не подходящихъ подъ рамки текущей литературы.... Нынче я получилъ приглашеніе участвовать въ юбилей А. Ф

Смирдина *. Охотно бы принялъ это приглашеніе, еслибы имѣлъ хоть немного свободнаго времени. Изъ стараго нѣтъ ничего; новаго скоро не предвидится. Сказалъ бы тебѣ большое спасибо, еслибъ, при свиданіи съ А. А. Смирдинымъ (сыномъ), ты извинилъ бы меня передъ нимъ.... Мой второй пасынокъ кончилъ курсъ кандидатомъ. Семья моя увеличилась явленіемъ Надежды. — Письмо это пишу на вольной квартирѣ (казенную исправляютъ) первымъ перомъ, какое попало подъ руку....“

Успокоенный и готовясь быть полезнымъ и честнымъ дѣятелемъ въ новомъ дѣлѣ, онъ, какъ видно изъ письма, не разстается и съ заботами о семьѣ своей. А вотъ какъ онъ выразился о почтенномъ начальникѣ своемъ, въ письмѣ, отъ 28 августа 1857 года: „.... Я, помнится, писалъ тебѣ, что дѣлъ у меня порядочная куча. Помощникомъ, пока, одинъ Богъ да истинно достойный начальникъ нашъ, Тобольскій губернаторъ Викторъ Антоновичъ Арцимовичъ. Повѣрь мнѣ, что еслибъ Россія была такъ счастлива, что хотябъ въ половинѣ своихъ губерній имѣла Арцимовича, то Щедрина пришлось бы голодать, не имѣя поживы для своихъ *Губернскихъ очерковъ*. Когда нибудь, надосугъ, я расскажу тебѣ объ этой замѣчательной личности, а теперь порекомендую только заглянуть въ наши „Тобольскія Вѣдомости“. Тутъ ты увидишь, что можно сдѣлать, въ самое короткое время, при умномъ, благонамѣренномъ и дѣятельномъ начальникѣ....“ Хотя, въ это время, служебная дѣятельность и отвела Ершова отъ дѣятельности литературной, но не могла истребить въ душѣ его любовь къ ней. Но—таковъ талантъ. Въ томъ же письмѣ къ Т—борну, онъ говоритъ: „Что же ты ни слова о моихъ *„Осеннихъ вечерахъ“*. Журналисты молчатъ, потому что не знаютъ — хвалить ли ихъ или бранить. Скажу на ушко: у меня была надежда, что П. А. Плетневъ, съ извѣстною своею откровенностію, скажетъ объ нихъ хотя немного изъ того, что было писано имъ ко мнѣ. Но, не знаю, воротился ли онъ изъ-за границы. А, признаюсь, одобреніе ихъ

* Т. е., въ изданіи, въ память А. Ф. Смирдина, сборника статей, жертвуемыхъ авторами.

развязало бы у меня руки—написать чтонибудь лучше....“
Могло бы показаться страннымъ, что талантъ подвергаетъ себя зависимости отъ мнѣній, которыя онъ даже и неочень уважаетъ. Но, не забудемъ,—это говоритъ уже не талантъ только,—хотя таланту и дорога истинная оцѣнка его произведенія,—а труженикъ на иномъ поприщѣ и, конечно, тревожащійся въ душѣ, мучащійся, какъ отступникъ отъ своего призванія....

Съ улучшеніемъ матеріальнаго своего положенія, Ершовъ уже не беспокоилъ своихъ должниковъ, а, при случаѣ, даже самъ считалъ себя въ долгу передъ ними. Въ письмѣ къ Т-борну, отъ 6 сентября 1857 года, онъ, между прочими порученіями, вновь проситъ: „А если ты знакомъ съ Смирдинымъ (А. А. сыномъ), то передай ему, что я считаю себя въ долгу передъ нимъ. Всею душою хотѣлъ бы участвовать въ его изданіи въ честь отца его, но не имѣю, рѣшительно, времени написать чтонибудь. Правда, роясь въ бумагахъ, я отыскалъ драматическую пьеску: *Кузнецъ Базимъ*, передѣланную мною изъ повѣсти Жуковского, но и она требуетъ исправленія. Постараюсь переслать ее г. Смирдину“.

Но оставивъ, повидимому, занятіе литературою, онъ усердно и бодро продолжалъ выполнять свою гражданскую обязанность. Не одни учившіеся и учащіе въ гимназій могутъ помнить директорство Ершова. Къ очерку энергическаго начала его новой дѣятельности, возьмемъ нѣсколько строкъ изъ письма его, отъ 27 ноября того же года, передъ отъѣздомъ въ длинный путь, для осмотра училищъ губерніи. Прося Т-борна о высылкѣ нѣкоторыхъ забавныхъ книгъ, онъ говоритъ: „Ты, можетъ быть, спросишь: на что тебѣ такая челуха? Отвѣтъ короткій: для святокъ, въ которые, извѣстно всѣмъ, ученіемъ никто не занимается.“—Конечно, книженки понадобились только для семейства, съ которымъ онъ долженъ былъ временно разстаться: „На дняхъ — заключаетъ онъ письмо—отправляюсь путешествовать по дирекціи. А дирекція, нечего сказать, *дистанція огромнаго размѣра*, пять тысячъ верстъ—неболѣе. Нынче дѣлаю только около трехъ тысячъ, оставляя остальные до февраля....“

Объ этой служебной поѣздкѣ Ершова мы узнаемъ изъ нѣсколькихъ писемъ, съ дороги, къ его женѣ, которые намъ были довѣрены при составленіи нашихъ „Воспоминаній“. Письма къ женѣ онъ писалъ почти черезъ день, черезъ два, и всегда по окончаніи своихъ дневныхъ занятій по службѣ. Они, какъ и самъ онъ называетъ ихъ, составляютъ *дневникъ* его поѣздки. Первое письмо къ женѣ, во время второй поѣздки, началъ онъ такъ: „Начну попрежнему—по днямъ. Это и для меня любопытно будетъ, какъ дневникъ моихъ странствованій....“ Въ нихъ поименованы каждый городъ, каждое мѣсто, почти каждый шагъ его, такъ они подробны, хотя и кратки. Видно, что, въ дорогѣ, гдѣ нерѣдко, въ темную морозную ночь, случалось ему долго плутаться, и при посѣщеніи училищъ, онъ оставался честнымъ, какъ всегда, человѣкомъ, благонамѣреннымъ начальникомъ, заботливымъ мужемъ и отцомъ; каждое письмо заканчиваетъ онъ призываніемъ благословенія Божія на всю семью свою. „Ревизія должна бы—говорить онъ въ одномъ письмѣ—занять все мое время, но мысли мои постоянно у васъ и съ вами. Оправдываю себя тѣмъ, что долгъ службы не имѣетъ же задачей заглушить семейныя обязанности. Для всего найдется время. Завтра и послѣзавтра все утро—службѣ. Но остальное время—мое, или лучше, —ваше. Мнѣ такъ пріятно теперь припоминать всѣ даже малѣйшія подробности семейной жизни, что, кажется, готовъ цѣлую ночь промечтать о васъ. Да что же мнѣ и дѣлать, когда ни что другое не идетъ въ голову. Правду сказалъ А. Н., что я созданъ для семейной жизни, и что одиночество мое всеравно что смерть...“ Изъ писемъ видно, какъ радушно принимали его и неофициальныя и официальныя лица, хотя нѣкоторые обычныя заявленія послѣднихъ возбуждали въ немъ негодованіе. Такъ, въ одномъ мѣстѣ, говорить онъ, между прочимъ: „встрѣча была съ восклицаніями, которыхъ требовали прежніе-директоры, и которые меня разсердили.“ — Въ училищѣ, гдѣ находилъ онъ способъ преподаванія неудовлетворительнымъ, онъ самъ заступалъ мѣсто преподавателя и показывалъ какъ надобно дѣйствовать. „Долженъ былъ назначить другой день (т. е., по осмотру учили-

ща въ первый),—говорить онъ въ одномъ письмѣ,—чтобъ самому по всѣмъ предметамъ дать уроки, чтобъ показать—что и какъ надобно дѣлать.“—Съ какимъ удовольствіемъ пишетъ онъ объ успѣхѣ своемъ по возобновленію одного училища: „....Утро провелъ въ сборахъ къ дорогѣ. Потомъ былъ у купца Шишкина.хлопоты мои, о возобновленіи въ Курганѣ женской школы, кончились успѣхомъ. Купецъ Меншиковъ обѣщалъ на свой счетъ поправить школу и втеченіи цѣлаго года выдавать жалованье учителю и все, что нужно для школы. Здѣшнія дамы согласились принять школу въ свое покровительство. Законоучителемъ школы, вѣроятно, будетъ здѣшній протоіерей. Я говорю—вѣроятно, потому что лично не имѣлъ съ нимъ объ этомъ разговора. Правда, я ѣздилъ къ нему, но не засталъ дома: онъ уѣхалъ по благочинію. Если, какъ и надѣюсь, протоіерей согласится, то нельзя лучше найти достойнѣйшаго человѣка для управленія женскою школою. За обѣдомъ у Шишкина пили здоровье школы и всѣхъ, принимающихъ въ ней участіе, а потомъ выпить еще бокалъ за директора. Забылъ сказать, что старшая дочь хозяина, очень умная и образованная дѣвица, приняла на себя трудъ обучать въ школѣ руководѣлю. Благословилъ бы только Господь благое дѣло!...“

Довольный своимъ новымъ положеніемъ, Ершовъ такъ писалъ къ намъ, отъ 28 января 1858 года, по возвращеніи изъ поѣздки: „Съ новымъ годомъ, друзья мои, В. А. и А. К!—Съ нынѣшнимъ царствованіемъ както особенно отрадно встрѣчаешь новый годъ, въ полной надеждѣ, что онъ ознаменуется новыми милостями, новыми льготами, новымъ счастіемъ для всего русскаго міра. Не знаю, какъ вы, а я въ этотъ новый годъ пожелалъ одного—быть въ Петербургѣ, взглянуть на возлюбленнаго Царя, обнять васъ, мои неизмѣнные. Съ этою мыслию, съ этимъ желаніемъ снова кричу: съ новымъ годомъ, друзья мои, съ новымъ годомъ!—А впрочемъ—невесело я встрѣтилъ новый годъ. Исколесивъ, или, вѣрнѣе, *использавъ* 2000 верстъ, я вернулся домой за два дня до праздника Рождества Христова, при морозѣ, ни болѣе, ни менѣе, какъ въ 37 градусовъ. И хотя носъ и губы мои украшены были

бисромы зимы (не знаю, право, какъ сказать яснѣе), я все-таки благословилъ Бога, нашедши всю семью свою здоровою. Но радость моя продолжалась только сутки. На другой день приѣзда я захворалъ лихорадкой, которая засадила меня на всѣ праздники. На третій день заболѣла жена флюсомъ. А въ самый день праздника сынишко мой, которому нѣтъ еще двухъ лѣтъ, встревожилъ насъ страшнымъ припадкомъ. Призванный докторъ объявилъ, что у него воспаленіе въ легкихъ. Можете угадать, если не представить, наше положеніе. Нѣсколько дней жизнь сына колебалась между жизнью и смертью; наконецъ, искусство восторжествовало; онъ отлежался, но до сихъ поръ еще несовсѣмъ оправился....“ Но,—довольный своимъ новымъ положеніемъ какъ человѣкъ,—онъ не могъ утишить въ душѣ своей скорбь поэта. На увѣдомленіе Т-борна, что В. А. Тиммъ, издававшій въ то время журналъ: „Русскій художественный листокъ“, желалъ бы помѣстить въ своемъ журналѣ и его портретъ, онъ, въ приведенномъ же письмѣ, коротко, но съ болѣющимъ сердцемъ, отвѣчалъ: „На счетъ портрета для Тимма, я скажу только одно: здѣсь нѣтъ возможности снять портретъ. И потому, миліонъ разъ поблагодаривъ знаменитаго художника за вниманіе къ забытому литератору, оставляю это дѣло до приѣзда въ Петербургъ....“ Подобное же проглядываетъ и въ заключеніи этого письма: „Кстати, узнай стороною, доволенъ ли Смирдинъ посланной статьей: *Кузнецъ Базимъ*, для изданія въ память его отца?...“.*

Отъ 12 февраля того же года, онъ, какъ неожиданно восхищенный, написалъ къ намъ нѣсколько строкъ: „Милые друзья мои, В. А. и А. К., наконецъ слухи оправдались, ожиданія исполнились. Министръ народнаго просвѣщенія вызываетъ меня въ Петербургъ, и я ѣду.... На пятой или на шестой недѣлѣ поста, Богъ дастъ, буду въ Питерѣ и обниму васъ, мои неизмѣнныя. 16 февраля думаю выѣхать на Омскъ, для полученія приказаній отъ генералъ-губернатора,

* *Кузнецъ Базимъ, или изворотливость бѣдняка. Сцены Тазъ-Баши*—напечатана въ III т. «Сборника литературныхъ статей, посвященныхъ русскими писателями памяти А. Ф. Смирдина».

а потомъ прямо на матушку на Неву рѣку, на Васильевскій славный островъ.—Да устройтъ Господь на радость свиданіе мое съ вами“.

Хотя письма Ершова, со времени улучшенія матеріальнаго его быта, и являютъ въ немъ почти успокоеннаго, почти счастливаго человѣка, но то были только свѣтлыя минуты; скорбь поэта, несбывшіяся лучшія желанія и надежды такъ осилили имъ, что начали ввергать его перѣдко въ уныніе, разочарованіе, подобное ипохондріи. Одинъ изъ его родственниковъ сказывалъ намъ, уже по смерти Ершова, что почтенный образованный начальникъ, относясь сочувственно къ душевному состоянію его, устроилъ, втайнѣ отъ него, эту поѣздку въ Петербургъ, въ видѣ командировки для обозрѣнія училищъ, намѣреваясь доставить ему такимъ образомъ нѣкоторое необходимое развлеченіе. И мы видимъ, въ послѣднемъ письмѣ, что онъ съ юношескою радостію, подкрѣпленною надеждами, хотя и смутными, на лучшее будущее, пускается въ путь. Письма его къ женѣ, или, какъ онъ и самъ называетъ ихъ, дневникъ, съ дороги до Петербурга, были также часты, какъ и прежде и въ томъ же тонѣ. Какъ письма,—они являютъ въ немъ, попрежнему, самаго нѣжнаго мужа и отца, заботливаго, даже до мелочей, домохозяина, незабывающаго и домашней прислуги, ежеминутно преданнаго волѣ Провидѣнія; коротко — въ этихъ письмахъ онъ является какъ бы дома, бесѣдующимъ съ своимъ семействомъ обо всемъ, что можетъ и интересовать или что необходимо для улучшенія семейнаго быта. Какъ дневникъ,—они представляютъ его съ грустной стороны: онъ переноситъ терпѣливо всѣ дорожныя непріятности: ненастное время года, дурной путь, неудобство экипажа, но—онъ почти преимущественно занятъ цѣлью своего путешествія, которое подстрекаетъ его ожидать *чего-то* лучшаго; онъ повторяетъ семейству своему, при упоминаніи о Петербургѣ: „....Еще первое дѣйствіе моей драмы не кончилось: Петербургъ еще далеко. Тутъ откроется второе дѣйствіе—исполненіе приказаній министра, и это дѣйствіе можетъ имѣть вліяніе на всю служебную мою судьбу. О, молитесь, молитесь за меня, мои

милне. Счастье мое—счастье ваше. Судьба наша нераздельна...“ На пути, онъ только въ Казани *прокатился по улицамъ*, изъ любопытства; въ другихъ мѣстностяхъ останавливали его только служебныя обязанности, встрѣча съ родными, съ знакомыми, или поклоненіе святынямъ въ монастыряхъ. Вообще его искреннія христіанскія чувства и побужденія, его душевныя молитвы, которыми онъ начиналъ и окончивалъ почти каждый шагъ, и о чемъ онъ говоритъ,—впрочемъ, только въ письмахъ къ семейству своему, конечно, въ отцовской заботливости своей,—какъ ни проявляютъ въ немъ преданнаго христіанина, — чувство религиозное отъ самаго дѣтства росло въ немъ съ годами,—но вмѣстѣ обнаруживаютъ и какое-то старчество, которому такъ свойственно, подъ бременемъ лѣтъ и отъ истощенія силъ, опираться уже на единую молитву. При мысли о представленіи министру, онъ охватывается какою-то несмѣлостію, робостію, конечно, не какъ исполнитель, у котораго *пушокъ на рыльцѣ есть*, а какъ человѣкъ, всегда, и тѣмъ болѣе въ глуши, привыкшій чуждаться лицъ высокопоставленныхъ;—губительное свойство, особенно развитое въ былое время.—А между тѣмъ, поэтическое начало, смолкнувшее въ душѣ, при дѣятельности иной, надолго, и, какъ увидимъ,—навсегда, не можетъ не встрепенуться.—День своего рожденія и именинъ, 22 февраля, пришлось ему встрѣтить въ дорогѣ: онъ такъ началъ письмо къ семейству въ этотъ день: „Буди благословенъ Богъ, благоволившій въ 43-й разъ увидѣть мнѣ день моего рожденія и день Ангела! Первыми поздравителями моими сегодня утромъ были канарейки, помѣщенные въ моей комнатѣ, числомъ до пятнадцати. Потомъ поздравили хозяинъ и“.... На пути, случилось ему ѣхать чрезъ село Безруково, мѣсто его рожденія. „....Я остановился, — пишетъ онъ,—часа на два, на своей родинѣ, ходилъ смотрѣть мѣсто, гдѣ былъ комиссарскій домъ, въ которомъ я родился. Смотритель (училищный), провожавшій меня до Безруковой, хотѣлъ посадить около мѣста дерево—на память, а во время приноса иконы Божіей Матери въ Безруково—отслужить на мѣстѣ дома молебенъ....“ Съ какимъ чувствомъ, съ какою думою стоялъ онъ теперь на

томъ мѣстѣ, гдѣ, за 42 года назадъ, увидѣлъ впервые дневной свѣтъ? Гдѣ еще

«И надъ младенческой постелью
Кружился вихорь снѣговой....»

„Въ Тюкалѣ—продолжаетъ онъ—слышалъ я самыя простосердечныя, самыя искреннія похвалы Павлу Гавриловичу (отцу своему). Его не иначе называютъ крестьяне, какъ „отецъ нашъ.“ Порадуется душа Гаврила Львовича за своего сына!...“

Какъ бесплодна, губительна была для Ершова, отрѣзанная далью отъ всего образованнаго міра, жизнь въ Сибири, видно изъ впечатлѣнія, произведеннаго на его душу такимъ предметомъ, который въ Петербургѣ и Москвѣ былъ уже давно не новостью,—локомотивомъ Николаевской желѣзной дороги. Онъ пишетъ, между прочимъ, изъ Москвы женѣ своей. „Утромъ заѣхалъ ко мнѣ В. П., и мы отправились на станцію желѣзной дороги, во-1, для того, чтобъ ознакомиться съ нею, а во-2, чтобъ узнать все нужное для поѣздки. Признаюсь, никакое описаніе не дастъ настоящаго понятія объ этомъ дивномъ изобрѣтеніи, дѣлающемъ высокую честь уму человѣка. Осмотрѣвъ вагоны всѣхъ трехъ классовъ, мы отправились въ общую залу, которая была уже наполнена пассажирами, въ ожиданіи отъѣзда. Наконецъ въ 12 часовъ раздался первый свистокъ, зазвонили колокольчики, и вслѣдъ заѣтимъ раскрылись двери залы, ведущія къ вагонамъ. Всѣ пассажиры поспѣшили занять свои мѣста. Черезъ нѣсколько минутъ явилась машина, съ шумомъ kloкочущей воды и выпускающая изъ трубы огромные клубы дыма. Зрѣлище и величественное и, для непривычныхъ глазъ, немного страшное. Машина прошла около вагоновъ, какъ-бы собирая силы къ пути, и снова отошла вдаль, пересѣкла рельсы и вступила въ тѣ самыя, на которыхъ расположены были вагоны. Тутъ тихо подвигаясь задомъ, машина подкатилась къ вагонамъ, гдѣ и прицѣплена была желѣзными цѣпами. Раздался второй свистъ и звонъ колокольчиковъ, извѣщавшихъ пассажировъ что все готово къ поѣзду. Черезъ нѣсколько минутъ раздался,

третій пронзительный свистъ, и машина, шипя и клубясь дымомъ, понеслась, какъ стрѣла, по рельсамъ. Минуты двѣтри, и она уже скрылась изъ виду....“ Три дня, проведенные Ершовымъ въ Москвѣ, посвящены были свиданію съ родственниками жены его, усердному поклоненію святынямъ въ Кремлѣ, минутному взгляду на нѣкоторыя замѣчательности на улицахъ. Даже обзоръ дворца, съ его историческими достопамятностями, отложилъ онъ до обратнаго своего пути чрезъ этотъ городъ.

Наконецъ, 20 марта, по Николаевской желѣзной дорогѣ, Ершовъ прибылъ въ Петербургъ и остановился въ одной изъ гостинницъ возлѣ станціи. На другой день утромъ онъ навѣстилъ Т-борна, отъ котораго и получилъ два письма, присланныя изъ Тобольска, отъ жены его. Вечеромъ того же дня, я, вмѣстѣ съ Т-борномъ, поспѣшилъ увидѣть его. Онъ ждалъ насъ; самоваръ уже шумѣлъ на столѣ. Мы встрѣтились опять какъ студенты-пріятели. Но только взглянувъ въ него, я нашелъ въ лицѣ его тѣ же черты, съ которыми, за 22 года назадъ, уѣхалъ онъ изъ Петербурга; то же добродушіе въ глазахъ и во всемъ обликѣ; а случись встрѣтить его мелькомъ, на дорогѣ, я не узналъ бы его. Онъ подростъ и потолстѣлъ; но мускулы и цвѣтъ лица его не обнаруживали въ немъ полного здоровья, много и сѣдыхъ волосъ виднѣлось на головѣ его. * Разговоръ завязался, но—то не былъ уже прежній разговоръ, полный шутокъ, замысловъ, вымысловъ, предпріятій и надеждъ. Ершовъ охотиѣе уже слушалъ, нежели говорилъ.—Извѣстіе, что вызывавшій его изъ Тобольска, министръ народнаго просвѣщенія, А. С. Норовъ, оставилъ свой постъ, и что на его мѣсто опредѣленъ другой, Е. П. Ковалевскій, немного встрѣвило его, при мысли—какъ приметъ его новый министръ, неизвѣстный ему, невызывавшій его.—Разказы о нѣкоторыхъ личностяхъ онъ слушалъ, попрежнему, уклоняясь безмолвіемъ при выставленіи ихъ слабыхъ сторонъ. О большей части литературныхъ

* Но и въ это время обликъ его былъ еще далеко не тотъ, какимъ онъ является на приложенномъ портретѣ

произведеній того времени онъ отзывался также кратко, иногда съ негодованіемъ. Его очень позабавила процедура съ послѣднимъ четвертымъ изданіемъ *Конька-Горбунка*. — Я не могъ не спросить его, хотя и очень сдержаннымъ тономъ: „У тебя есть теперь что нибудь подъ перомъ?“ Онъ отвѣтилъ, *какбы* спокойно: „Ровно ничего.“ Замѣтивъ, что вопросъ не по-душѣ ему, я не продолжалъ объ этомъ. — О жизни и бытѣ его мы мало говорили, зная все это уже изъ откровенныхъ его писемъ; однакожь поинтересовались узнать — въ какихъ отношеніяхъ къ нему теперь воспитанники гимназій. Съ теплымъ чувствомъ, выразившимся въ глазахъ его, отвѣтилъ онъ, что они отслужили молебень о благополучной поездкѣ его въ Петербургъ. — Въ полночь мы разстались съ нимъ, при взаимныхъ обѣщаніяхъ видѣться. Смутное впечатлѣніе произвело во мнѣ это свиданіе съ Ершовымъ: не хотѣлось думать, чтобы онъ не создалъ еще чего нибудь, чтобы остался только благонамѣреннымъ полезнымъ служаккой, а между тѣмъ слабо вѣрилось, чтобы онъ уже могъ создать что.

Едвали не подобное впечатлѣніе произвелъ Ершовъ и во всѣхъ, впрочемъ немногихъ, знакомыхъ, съ которыми впослѣдствіи свидѣлся онъ въ Петербургѣ. Новаго знакомства, въ это, шестинедѣльное, пребываніе здѣсь, не завязалъ онъ ни съ кѣмъ, даже не домогался повидаться и съ нѣкоторыми изъ прежнихъ знакомыхъ. Покойный Л. А. Мей очень желалъ сойтись съ нимъ, пригласить его въ сотрудники въ журналъ, который онъ намѣревался издавать въ народномъ духѣ, но и это не состоялось: Ершовъ колебался отпавить-ся къ Мей, по его приглашенію чрезъ меня; Мей хотѣлъ самъ быть у него, да не удалось; назначилъ однажды день свиданія у меня, но почемуто не могъ прибыть. — Казалось, прежней жизни, съ ея поэтической обстановкой и дѣятельностью, Ершовъ уклонился навсегда, а настоящую свою дѣятельностію, гражданскою и семейною, онъ не хотѣлъ дѣлиться, какбы не желая *отягощать* никого разговоромъ о нихъ. Коротко, онъ провелъ это время въ Петербургѣ, какъ отшельникъ, прибывшій только для исполненія даннаго ему

порученія.—Въ дневникѣ своемъ, т. е., въ письмахъ къ женѣ и семейству, онъ описываетъ каждый день, проведенный имъ въ Петербургѣ. Дневникъ этотъ интересенъ только для семейства, а намъ могъ послужить отчасти для очерка пребыванія Ершова въ столицѣ. Длинною, испортившеюся на ту пору, дорогою изъ Tobольска онъ былъ утомленъ, и, кромѣ того, въ пути, случайно при паденіи, ушибся, такъ что долго тяготился болью въ спинѣ и ногахъ. Это, на первыхъ дняхъ, удерживало его дома. Воспользуемся изъ дневника его нѣсколькими строками, еще болѣе характеризующими его въ это время.

Прибывъ въ Петербургъ на страстной недѣлѣ, вотъ какъ сообщаетъ онъ семейству о своей встрѣчѣ свѣтлаго праздника. Выставивъ въ началѣ письма: „12 часовъ“ и попривѣтствовавъ семейство, по обычаю этого дня, онъ пишетъ: „Сейчасъ только, послѣ третьяго выстрѣла пушечнаго съ крѣпости, раздался радостный благовѣстъ о воскресеніи Спасителя. Зажигаютъ плошки, усиливается движеніе народное.... Я отпускаю Михайла * къ заутрени, а самъ помолюсь Богу дома. На столѣ у меня: напутственный крестъ, икона св. Германа и благословенная просфора отъ преосвященнаго Евлампія, ** также пасха, куличъ и яица. Съ первымъ благовѣстомъ, я зажегъ предъ св. крестомъ свѣчу и положилъ три поклона во славу воскресшаго Господа, о здравіи своемъ и вашемъ и о благословеніи на весь текущій годъ. Послѣ келейной молитвы, я сяду продолжать это письмо, а по возвращеніи Михайла отъ заутрени, Богъ дастъ, разговѣюсь. Потомъ сдѣлаю нѣсколько визитовъ, разумѣется, официальныхъ, и день проведу у Пр—хъ или дома, какъ случится.—До новой бесѣды, мои милые.“—„Четверть вторую.“—„Помолившись воскресшему Спасителю, сажусь продолжать бесѣду мою съ вами, милый другъ Елена и любезные дѣти. Но чѣмъ же начать, какъ не повтореніемъ

* Служитель его.

** Епископъ, жившій на покой въ Свѣяскомъ монастырѣ, къ которому онъ заѣзжалъ по дорогѣ въ Петербургъ.

радостнаго привѣта. И такъ снова: Христось воскресе, милая Елена,...“ и похристосовавшись съ каждымъ изъ дѣтей поименно, наконецъ со всѣми родными и домашними, заключилъ: „Христось воскресе, весь народъ православный!..“ Затѣмъ онъ счелъ самымъ приличнымъ, въ этотъ день, исполнить свое обѣщаніе женѣ—„написать какимъ святынямъ Господь сподобилъ его поклониться, въ Москвѣ.“—Въ дополнителномъ письмѣ, упомянувъ, между прочимъ, что сдѣлалъ нѣсколько официальныхъ визитовъ; „но у всѣхъ только росписался, потому что всѣ спали,“ онъ говоритъ заключеніе: „Петербургъ, сколько я успѣлъ его видѣть, немного переѣхался. Но, отвыкнувъ отъ многолюдства, я съ какимъ-то невольнымъ удивленіемъ гляжу на эти толпы, которыя снуютъ взадъ и впередъ по всѣмъ улицамъ, особенно по Невскому проспекту. Современемъ привыкну и къ этому....“

Долго пришлось ему искать случая—представиться министру, для чего онъ, сверхъ обозрѣнія нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній въ Петербургѣ и Москвѣ, и былъ вызванъ изъ Тобольска. Этимъ онъ очень тяготился. „Мнѣ кажется,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, черезъ три недѣли по приѣздѣ,—что я уѣду изъ Петербурга, не видавши министра....“ Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Завтра—или на службу (т. е., обозрѣвать учебныя заведенія), или съ визитами; ужъ какъ бы нибудь сократить время до вскрытія рѣкъ, а тамъ—домой, домой, безъ оглядки....“ Продолжая свои служебныя обязанности, онъ замѣчаетъ въ дневникѣ своемъ: „Утро провелъ въ департаментѣ, исполняя данныя мнѣ генераль-губернаторомъ порученія. Читалъ и письмо его къ бывшему министру Норову. Какъ ни лестенъ сдѣланный имъ обо мнѣ отзывъ, а врядъ ли онъ принесетъ мнѣ какую нибудь пользу, потому что, вѣроятно, новый министръ этого письма не видалъ, да, по всему видно, что и не увидитъ....“ Около этого времени, Ершовъ видѣлся и съ П. А. Плетневымъ. Это было, кажется, единственнымъ свиданіемъ съ нимъ, во все пребываніе его въ Петербургѣ. Въ дневникѣ своемъ онъ замѣчаетъ объ этомъ такъ: „Въ 11 часу утра (11 апрѣля) я отправился къ сенатору Ж—ву. Онъ принялъ меня очень обязательно, но

пенялъ, что я не заѣзжалъ къ нему, и снова пригласилъ обѣдать. Отъ Ж—ва я пошелъ пѣшкомъ къ Плетневу. Здѣсь тоже самый радушный пріемъ. Къ сожалѣнію я не могъ оставаться здѣсь долго, потому что Плетневъ спѣшилъ въ министерство къ прежнему министру Норову, который назначилъ этотъ день для прощанья съ прежними своими сослуживцами ...“ Наконецъ, высокопоставленный и почтенный господинъ, М. Н. Ж—овъ, узнавшій отъ своей родственницы, жительницы Тобольска, о Ершовѣ, облегчилъ ему представленіе министру. По желанію Ж—ва, Ершову было сообщено, что министръ изъявилъ желаніе видѣть его у себя на этихъ дняхъ вечеромъ, и что, послѣ этого свиданія съ министромъ, г. Ж—овъ просить его пожаловать къ нему. Объ этомъ случаѣ Ершовъ пишетъ въ своемъ дневникѣ: „Смотрю на часы (по полученіи приглашенія): половина седьмого. Завтра, думаю я, и велѣлъ подавать самоваръ. Но, выпивъ первую чашку чаю, опять думаю: чѣмъ откладывать до завтра, не лучше ли сегодня. Подумалъ, подумалъ, оставилъ недопитый стаканъ и сталъ надѣвать мундиръ. Былъ уже осьмой часъ въ половинѣ. Пріѣзжаю къ министру и вѣлю доложить о себѣ. Приказали просить. Меня ввели въ кабинетъ. Министръ всталъ съ дивана и подалъ мнѣ руку. У него было двое мущинъ. Одинъ изъ нихъ тоже подаетъ мнѣ руку. „Вы, вѣрно, не узнали меня, П. П., я—К—ловъ“ (видѣвшійся съ Ершовымъ, по выходѣ его изъ университета, какъ съ авторомъ *Конька-Горбунка*). Между тѣмъ министръ просилъ меня садиться, извинился, что не могъ принять меня прежде; спрашивалъ о Тобольскѣ, о гимназій, о занятіяхъ моихъ въ Петербургѣ, и былъ вообще очень пріятливъ. Когда я, чрезъ полчаса, всталъ, чтобъ откланяться, министръ снова подалъ мнѣ руку и сказалъ: „въ субботу, часу въ 1-мъ, приходите въ департаментъ. Мнѣ нужно поговорить съ вами, да и вамъ, вѣрно, есть что сказать мнѣ. Вѣдь не скоро можно вамъ изъ такой дали снова быть въ Петербургѣ“, прибавилъ онъ, улыбаясь. Я раскланялся и поѣхалъ домой, благословляя Бога, и добрейшаго сенатора Ж—ва, который устроилъ это свиданіе, какъ я по всему догадываюсь.—Такъ вотъ, милая

Елена, тебѣ отчетъ о первомъ моемъ представленіи. Эти дни до субботы постараюсь подумать—нельзя ли чего выхлопотать въ пользу Тобольской дирекціи. Но, какъ сказалъ прежде, такъ повторю и теперь: пусть будетъ воля Божія, а не моя. Съ меня довольно уже и той чести, что былъ принятъ и обласканъ министромъ....“ На другой день отправился онъ къ сенатору Ж—ву, и пишетъ: „былъ принятъ имъ такъ привѣтливо, какъ родной сынъ. Онъ спрашивалъ меня о свиданіи моемъ съ министромъ, просилъ, чтобы я откровенно сказалъ—чего я желаю. Я благодарилъ М. Н. (Ж.) и сказалъ, что, получивъ недавно орденъ и должность, я считаю себя вполне награжденнымъ и не смѣю ничего требовать.—Ну, хорошо, подождемъ Виктора Антоновича, онъ рѣшитъ дѣло....“

Въ назначенный день Ершовъ явился къ Министру. Объ этомъ новомъ представленіи въ его дневникѣ сказано: „Сегодня (19 апрѣля) я имѣлъ честь бесѣдовать съ обоими министрами: старымъ и новымъ. Въ 10 часовъ отправился я въ домъ министра, для объясненій съ новымъ министромъ, по его назначенію. Вхожу въ пріемную комнату и вижу вдали какого-то человѣка, который занимался подлѣ одного библиотечнаго шкафа. Я принялъ его за библіотекаря и подошелъ къ нему. Онъ оглянулся.—Кого вамъ угодно?—спросилъ онъ,—меня или министра?—Я отвѣчаю: министра.—Его нѣтъздѣсь,—продолжалъ онъ.—А позвольте, откуда вы?—Изъ Тобольска.—Такъ поэтому, васъ я вызывалъ сюда,—сказалъ живо незнакомецъ и всталъ. По этому вопросу и по деревяшкѣ *, которую я теперь только примѣтилъ, я сейчасъ догадался, что это былъ прежній министръ, Абрамъ Сергѣевичъ Норовъ. Я поспѣшилъ извиниться. Норовъ подалъ мнѣ руку.—„Очень радъ васъ видѣть. Пойдемте въ то отдѣленіе.“—Я послѣдовалъ за нимъ. Норовъ сѣлъ на стулъ и пригласилъ меня сѣсть. Спрашивалъ о Сибири, объ училищахъ, сказалъ, что у него составлено довольно проектовъ для Сибири, которые онъ передалъ Евграфу Петровичу (новому министру).—„Теперь,

* Покойный министръ, А. С. Норовъ, какъ извѣстно, вмѣсто оторванной на войнѣ ноги, опирался на деревянную.

хотя я не управляю министерствомъ, но, какъ членъ государственнаго совѣта, могу имѣть голосъ въ дѣлахъ п, безъ сомнѣнія, подамъ его въ пользу Сибири. Для меня, попрежнему, чиновники университета и гимназій—мои товарищи, а студенты и гимназисты—дѣти.“ Я высказалъ сожалѣніе, что онъ оставилъ министерство, и просилъ его покровительства, если поступить какой нибудь проектъ въ государственный совѣтъ. Абрамъ Сергѣевичъ отвѣчалъ очень обязательно.—Послѣ распросовъ о состояніи образованности въ Сибири, онъ сказалъ: „Я надѣюсь многого отъ Сибири. Много обѣщаетъ ей будущее, особенно, когда облегчатся способы сообщенія. Еслибъ я могъ остаться еще годъ министромъ, я навѣстилъ бы вашъ Tobольскъ и проѣхалъ бы до Иркутска.—Хотѣлъ бы еще побольше поговорить съ вами, но мнѣ надо ѣхать на открытіе женской гимназій, гдѣ будетъ сама Императрица.“—При этихъ словахъ онъ всталъ и крѣпко пожалъ мнѣ руку. Я не встрѣчалъ еще человѣка, который бы говорилъ такъ увлекательно, какъ Норовъ. Каждую фразу его можно печатать, безъ поправки. Послѣ свиданія съ Абрамомъ Сергѣевичемъ, я ждалъ часа два новаго министра (который былъ также при открытіи женской гимназій) и хотѣлъ даже отправиться домой. Но хорошо, что не ушелъ, потому что вскорѣ пришелъ Ковалевскій. Попросивъ меня немного подождать, онъ пошелъ къ Норову и пробылъ у него съ полчаса, потомъ позвалъ меня въ залу присутствія. Это приглашеніе меня перваго было тѣмъ замѣчательнѣе, что въ пріемной дождались директоръ департамента, правитель канцеляріи и другіе звѣздоносные люди. Я вошелъ. Министръ былъ одинъ и сидѣлъ у стола. Пригласивъ меня сѣсть, онъ сталъ довольно подробно спрашивать меня о гимназій, о пансіонѣ, объ училищахъ, также о посѣщеніи мною Петербургскихъ гимназій. „Здѣшнія гимназій я мало знаю, но совѣтую вамъ остаться на нѣсколько времени въ Москвѣ и осмотрѣть 1 и 2 гимназій. Въ первой вы увидите удивительный порядокъ, а во второй—прекрасный способъ преподаванія.“ Я, разумѣется, обѣщалъ исполнить приказаніе его высокопревосходительства. Потомъ спросилъ онъ о надобностяхъ гимназій и училищъ.

Я хотѣлъ-было воспользоваться этимъ случаемъ и намекнуть о скудости содержанія при недостаткѣ другихъ средствъ, но министр прервалъ меня, хотя ласково: „Ну, этому, въ настоящее время, помочь нельзя. Финансы наши не въ блестящемъ положеніи. Надо потерпѣть.“ Взаключеніе онъ далъ мнѣ довольно наставленій по управленію и относительно учителей и учениковъ. Но объ нихъ я расскажу при свиданіи. Довольно здѣсь объяснить, что они серьезнаго содержанія. Это можно вывести и изъ послѣдующихъ словъ, которыми министр заключилъ свои наставленія. „Я даю вамъ позволеніе во всѣхъ нужныхъ случаяхъ, оставивъ обыкновенные официальные порядки по начальству, писать прямо ко мнѣ, съ надписью: въ собственныя руки.“ Прощаясь со мною, Евграфъ Петровичъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ: „Ничего болѣе не желаю, какъ чтобы вы продолжали служить также, какъ служили до сихъ поръ, по засвидѣтельствуванію вашего начальника. Я общаю и для васъ и для всѣхъ служащихъ сдѣлать все возможное, смотря по заслугамъ. Прощайте.“ Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ къ дверямъ, министр воротился къ столу, а я вышелъ и съ радостію за обязательный пріемъ и съ раздумьемъ—исполнить достойно его порученія. Но утѣшаюсь надеждою на помощь Божию.—И такъ, благодаря Бога, главное въ путешествіи моемъ кончено. Черезъ недѣлю—въ Москву!....“

И видимо, Ершовъ тяготился все болѣе и болѣе пребываніемъ въ Петербургѣ; даже въ нашемъ небольшомъ кружкѣ, гдѣ онъ могъ уже не стѣсняться ничѣмъ, онъ иногда выражался: „Нѣтъ, поскорѣй бы изъ вашего Петербурга!...“ Душевно и сердечно онъ былъ ежеминутно въ Tobольскѣ, среди своего семейства, и, такъ сказать, только двигался между петербургцами. Во все время въ Петербургѣ, до обѣда, если не посѣщалъ училищъ или кого-нибудь изъ знакомыхъ или уважаемыхъ лицъ, занятъ онъ былъ хозяйственными коммиссіями для семьи своей или для знакомыхъ въ Tobольскѣ; обѣдалъ и вечеръ проводилъ постоянно у себя или у родственника своего П—ва, рѣдко у кого-либо изъ близкихъ знакомыхъ; день окончивалъ бесѣдою на письмѣ съ семействомъ. Онъ не посѣтилъ ни музеевъ, ни театровъ,

даже уклонился отъ приглашеній въ театръ. Не рѣшился онъ также быть и на сватбѣ одного хотя и дальняго, но уважаемаго имъ родственника: сватба праздновалась не въ духъ его—довольно парадно. Онъ не отдался ни любопытству, ни любознательности: оттоголи, что бѣгло, слегка не хотѣлъ видѣть глубокочтимыхъ имъ предметовъ, или — что они подняли бы тревогу, уже невыносимую для его болѣющей души, — измѣнившей своему призванію. Последнее — болѣе вѣрно. Однажды, у меня, онъ охотно слушалъ піесы Бетховена, Моцарта, которыя играла на фортепьяно моя родственница; но піеса Верди не понравилась ему. Случайно, по убѣжденію и протекціи одного знакомаго, попалъ онъ, мимоходомъ, на бывшую въ это время художественную выставку въ академіи художествъ, и то — уже подвечеръ, на короткое время, но вынесъ оттуда пріятное впечатлѣніе и воспоминаніе. Тотъ же знакомый доставилъ ему случай обозрѣть отстроеннавшійся тогда Исаакіевскій соборъ, которымъ онъ восхищался. Разъ пришелъ и къ нему вечеромъ, часу въ одиннадцатомъ; онъ собирался уже спать: я хотѣлъ уйти, но онъ удержалъ меня, и мы пробесѣдовали долго. Слегка только могъ я касаться тѣхъ предметовъ, которые такъ занимали, такъ увлекали его, по выходѣ изъ университета до отъѣзда въ Tobольскъ. Онъ сдерживался, уклонялся короткими отвѣтами: „К чему?... Слава—дымъ!... Да и не въ силахъ я создать что-нибудь...“ и переходилъ только къ рѣчи о той жизни, которую онъ ведетъ, „хоть въ мечтахъ, счастливо, оставивъ творчество...“ Онъ вспоминалъ первое свое увлеченіе въ Tobольскѣ, короткую жизнь съ первой женой, ея смерть, при которой онъ былъ въ отчаяніи, тѣмъ болѣе, что считалъ себя виновникомъ ея смерти, давъ ей, во время болѣзни, лекарства, которое уже было замѣнено другимъ, хотя докторъ и успокоивалъ его въ безвредности этой ошибки. „Мои мечты,—возразилъ онъ на мое замѣчаніе,—конечно, ни для кого: но — они составляютъ для меня золотыя цѣпи съ небомъ...“ и продолжалъ мечтать, и мечтать почти какъ человѣкъ первой юности. Даже утомила меня эта мечтательность, хоть и безусловно чистая, но — безплодная и

несогласная съ понятіемъ о томъ Ершовѣ, котораго мы знали, который нѣкогда заявилъ себя такъ блистательно. — Я разстался съ нимъ уже около двухъ часовъ ночи, подавляя тяжелое впечатлѣніе въ своей груди.. Только однажды мы увидѣли Ершова, хотъ на нѣсколько минутъ, въ бываломъ расположѣніи духа, за обѣдомъ у Т—борна, гдѣ собрались только Ершовъ, я и еще университетскій же товарищъ, Д—стунисъ, художникъ. Среди воспоминаній молодыхъ лѣтъ, среди анекдотовъ, шутокъ, каламбуровъ, проекта русской народной оперы, Ершовъ, казалось, помолодѣлъ. Онъ даже уступилъ намъ: въ Петербургѣ онъ не рѣшался снять съ себя портретъ, чего намъ очень хотѣлось; тутъ, наконецъ, согласился и, весело сказавъ: „Ну, пожалуй, снимайте,“ сѣлъ. Въ нѣсколько минутъ Д—стунисъ набросилъ на бумагу довольно вѣрно его портретъ. Ксожалѣнію, портретъ этотъ затерялся. Но побывъ между нами, послѣ обѣда, еще съ часъ, и какбы возвратясь въ настоящаго себя, онъ отправился домой.

Теперь, когда уже спокойное смотрится и на настоящее и прошедшее и — даже на будущее, невольно останавливаешься на мысли, что небольшой интеллигентный міръ нашъ недовольно еще сплоченъ, что, порываясь къ справедливому обличенію недостатковъ общества, желая помочь ему, не всегда спѣшитъ на помощь своимъ собратамъ. Въ то время очень и очень немногіе знали, что Ершовъ въ Петербургѣ.... А искренно-радушный привѣтъ писателей могъ бы повліять на Ершова: можетъ быть — талантъ и вострепнулся бы....

За нѣсколько дней до отъѣзда, вскорѣ по вскрытіи Невы, Ершовъ посѣщилъ на могилу брата своего, Николая. Для наблюдателя душевныхъ положеній, мы выпишемъ тѣ строки изъ письма его къ женѣ, которыя легли на бумагу въ тотъ же день, когда онъ былъ на могилѣ. Передавъ коротко свое удовольствіе при осмотрѣ, утромъ, Исаакіевского собора, онъ продолжаетъ: „Обѣдалъ я дома, съ Т—борномъ, и, послѣ обѣда, вмѣстѣ съ нимъ отправился на Малую-Охту. При свиданіи разскажу тебѣ, что я чувствовалъ, переживая

Неву, при сильномъ вѣтрѣ. Благовѣстили уже ко всеобщей, когда мы пристали къ берегу; но священникъ былъ такъ добръ, что согласился отслужить на могилѣ брата панихиду. Пропѣто было отрадное *Христосъ воскресъ* надъ милымъ прахомъ брата, черезъ 24 года по его кончинѣ. Признаюсь, я никакъ не могъ удержать слезъ при видѣ' этой могилы; но слезы эти были не горьки, но успокоительны. Весна уже стала набрасывать свою зелень, и я на память сорвалъ зеленую вѣтку, въ память единственнаго моего брата. Поцѣловавъ нѣсколько разъ деревянный крестъ и могилу, я воротился домой, и какъ будто тяжелое бремя слегло съ моей души. Я сдѣлался спокойнѣе, даже веселѣе. Т—борнъ остался у меня и просидѣлъ до 2-го часа утра. Теперь онъ ушелъ, а я пишу это письмо, чтобы завтра отправить его къ тебѣ...“
Призывая, по обыкновенію своему, благословеніе Божіе на семейство свое, онъ заключаетъ письмо словами: „Молитесь о благополучномъ возвращеніи и радостномъ свиданіи.“ А на полѣ письма приписалъ: „Болѣзнь моя отъ паденія прошла, благодаря Бога, совсѣмъ.“

Послѣ представленія министру, Ершовъ оставался въ Петербургѣ еще нѣсколько дней, въ ожиданіи полученія пособія, трехъ-сотъ рублей, исходатайствованнаго ему прибывшимъ около этого времени начальникомъ его. Наконецъ, 1 мая, на петербургской станціи Николаевской желѣзной дороги, мы разстались съ нимъ. Онъ поѣхалъ вмѣстѣ съ одною изъ своихъ падчерицъ, дочерей первой жены его. При разставаньи, на станціи, Ершовъ мало говорилъ, задумчиво поглядывалъ на все около себя; добродушный взглядъ его, казалось, выражалъ: „примите мою грустную улыбку отвѣтомъ на все...“ И въ самомъ дѣлѣ, не могли ль, въ эти минуты, наполнить его душу смутныя представленія: въ одной сторонѣ отъ станціи находится зданіе, гдѣ въ его время, помѣщался университетъ, напоминавшій ему юношескую жизнь; въ другой—бѣдный домикъ, на Пескахъ, гдѣ такъ счастливо встрѣтилъ онъ поэтическую жизнь, въ семьѣ близкихъ, дорогихъ сердцу его, родныхъ, между молодыхъ друзей, радовавшихся его прекраснымъ замысламъ, надеждамъ; чрезъ нѣсколько

минуть онъ разстанется, быть можетъ, навсегда съ Петербургомъ, гдѣ, за двадцать четыре года назадъ, образованнѣйшіе люди такъ привѣтствовали проявленіе его дарованія; и—все это исчезло, а новая побывка въ Петербургъ нисколько не оправдала его новыхъ надеждъ... Остается еще любимая имъ семья, къ которой онъ спѣшитъ, какъ въ пристань, послѣ безпокойнаго напраснаго плаванья; а — что еще ожидаетъ его?...

Только чрезъ три мѣсяца получили мы первыя извѣстія отъ него изъ Tobольска. Отъ 8 іюля, онъ пишетъ: „Не удивляйтесь, что, послѣ такого долгаго молчанія съ моей стороны, вы получаете такое коротенькое письмо. Судьбѣ угодно было наградить мою разлуку съ семьей потерей моей дочери. Малютка, кажется, ждала только моего приѣзда, чтобъ пролепетать нѣсколько милыхъ словъ, столь дорогихъ каждому отцу, а потомъ самой отправиться въ путь безвозвратный. Грусть о потерѣ дочери, болѣзнь жены, сильно потрясенной новымъ лишеніемъ, все это очень дѣйствовало на меня, и вы повѣрите, что мнѣ было вовсе не до писемъ. Теперь мы немножко поспокойнѣе и стараемся утѣшать другъ друга.—Обращаюсь къ 1 мая, когда паровозъ уносилъ меня отъ Петербурга и отъ всего, что было тамъ для меня дорого. Въ Москвѣ я прожилъ недѣлю, осмотрѣлъ три гимназіи, хотя время было несовсѣмъ благопріятное для осмотра—классы уже кончились, въ аудиторіяхъ занималось только нѣсколько человекъ, готовящихся къ экзаменамъ. Но и малое, что я могъ замѣтить, будетъ не лишнее для устройства нашей гимназіи. Два дня проведены были въ поѣздкѣ въ Троицко-Сергіевскую лавру и еще два дня посвящены обзорѣнію Москвы *. Въ другихъ городахъ я нигдѣ не останавливался: вѣщунъ-сердце тянуло поскорѣе въ Tobольскъ, куда

* Въ письмѣ его къ женѣ, изъ Москвы, сказано: «4-го (Мая) осматривалъ Кремль и Большой театръ. Въ этотъ же день былъ въ театрѣ (Маломъ) на представленіи *Русской свадьбы*.»

я и прїѣхалъ 24 мая.—Теперь смѣйтесь, сколько хотите, а я снова повторю, что мой родной Тобольскъ въ тысячу разъ милѣе,—по крайней мѣрѣ для меня,—вашего великолѣпнаго Петербурга...” Смыслъ этихъ послѣднихъ словъ, конечно, только относительный: въ Тобольскѣ—онъ среди своей семьи, а въ Петербургѣ онъ былъ разлученъ съ ними, для которыхъ бьется его сердце. Въ заключеніи этого же письма онъ говоритъ: „Прощайте, друзья мои, не сердитесь за короткое письмо... Черезъ два года я лично поблагодарю васъ за вашу хлѣбъ-соль, а болѣе — за ваши ласки...” Не значить ли это, что, кромѣ неизбѣжныхъ непріятностей на службѣ, онъ всееще и душевно побуждался оставить службу и, по выслугѣ срока для пенсіи, въ отставкѣ, поселиться въ Петербургѣ, гдѣ могъ бы найти необходимое для осуществленія лелѣявшихъ еще и тайно тревожившихъ его поэтическихъ замысловъ. Но, дозволяя иногда вылетѣть болѣзненному воплю изъ груди своей, онъ не переставалъ быть честнымъ, благороднымъ дѣятелемъ на посту своемъ. Въ бытность въ Петербургѣ, онъ пригласилъ нѣкоторыхъ книгопродавцевъ къ пожертвованію книгъ для Тобольской женской школы. Поэтомуто онъ проситъ Т—борна, въ приведенномъ же письмѣ: „Напиши, что книгопродавцы насчетъ пожертвованія въ Тобольскую женскую школу? Неужели и К—овъ, котораго я лично просилъ и онъ лично общалъ, только хочетъ помазать по губамъ? Желалъ бы отъ души, при твоёмъ содѣйствіи, обмануться въ моёмъ заключеніи.”—А вслѣдъ затѣмъ приписываетъ, будто забавляясь: „Въ августѣ волей и неволей я долженъ опять сдѣлать вояжъ тысячи въ двѣ версты (для обозрѣнія училищъ Тобольской дирекціи), а въ ноябрѣ, можетъ быть, вы будете имѣть удовольствіе получить отъ меня письмо, подъ знакомъ: Березовъ.”— Въ этомъ же письмѣ, посылая поклоны своимъ пріятелямъ въ Петербургѣ, онъ приписалъ: „и всѣмъ, кто хотя меня и не видѣлъ, но сбѣгался увидѣть.”

Кажется, пребываніе Ершова въ Петербургѣ рѣшило его окончательно—не ждать помощи ни отъ кого и ни въ чемъ; а искательство было противно его натурѣ: въ послѣдующихъ

письмахъ нигдѣ уже не выражено надежды на сильныхъ міра. Семья и *популярная* польза учебнымъ заведеніямъ и еще одно, какъ увидимъ, задушевное до послѣднихъ минутъ жизни, дѣло заняли его вполне.

Изъ письма, отъ 3 декабря 1858 года, видно, что онъ ѣздилъ, около этого времени, по училищамъ его дирекціи. „...Гдѣ я былъ,—пишетъ онъ,—для васъ не важно, что дѣлалъ — и того меньше. А главное, что, ввязнувши половину дороги въ снѣгу, въ ростъ Т—борна, а другую колотаясь о замерзшія кочки, лелѣявшія, какъ драгоценность, горсточку снѣгу, я воротился 27 ноября къ своимъ пенатамъ и живъ и здоровъ, если только насморкъ, кашель и что-то, въ родѣ жабы въ горлѣ, не мѣшаютъ называться здоровымъ...“ Только послѣ смерти Ершова узнали мы, что эта поѣздка доставила ему, между прочимъ, и неожиданныя отрадныя минуты; намъ понятно стало, что слова: *Гдѣ я былъ — для васъ не важно, что дѣлалъ — и того меньше*, вырвались изъ души, вполне осчастливленной, но — скромной. Онъ писалъ, отъ 23 ноября того же года, къ женѣ своей: „Милая Елена. Вотъ я и въ Ялуторовскѣ. Это послѣдній городъ настоящаго моего маршрута, и потому къ вамъ, обнять тебя и милыхъ дѣтей. Изъ Ишима я выѣхалъ въ субботу, въ 5 часовъ. Обѣдалъ у зрителя вмѣстѣ съ П. И., который пріѣхалъ проводить меня. Въ 6 часовъ мы были уже съ зрителемъ въ Безруковой, мѣстѣ моего рожденія, и пили чай. Тутъ явился нѣсколько крестьянъ съ сельскимъ головой, съ просьбами о моемъ содѣйствіи — соорудить въ Безруковой церковь. Они хотятъ составить приговоръ—въ теченіи трехъ лѣтъ вносить по 1 р. сер. съ человѣка (а ихъ—душъ, примѣрно, до 800), что въ 3 года составитъ до 2500 р. с. Мое дѣло будетъ—испросить разрѣшеніе на постройку церкви, доставить планъ, и помочь по возможности. Зритель сказалъ, что церковь надобно соорудить во имя преподобнаго Петра, и крестьяне согласились. Мѣсто для церкви они сами выбрали то самое, гдѣ былъ комиссарскій домъ, т. е. именно тамъ, гдѣ я родился. Признаюсь, я цѣлую ночь не спалъ, раздумывая о томъ—неужели Господь будетъ такъ милостивъ, что испол-

*

нится давнишнее мое желаніе и освятится мѣсто моего рожденія и восхвалится имя моего Святого. Не даромъ же въ нынѣшнемъ году въ календарѣ въ первый разъ упомянуто имя его. Сближеніе, какъ ни суди, пророческое. А какъ пріятно мнѣ было слышать отъ старыхъ крестьянъ неліцемерныя похвалы моему отцу! Все это составило для меня 22 число (припомни—22-е, а не другое) * однимъ изъ пріятнѣйшихъ дней моей жизни.—Въ Ялуторовскѣ я пріѣхалъ въ 7 часовъ вечера 23 числа и остановился въ училищномъ домѣ. Смотритель былъ такъ обязателенъ, что заранѣе все приготовилъ къ моему помѣщенію. Сейчасъ только кончили мы ужинъ, и я, узнавъ, что завтра отходить почта въ Тобольскъ, сиѣшу написать это письмо. Завтра утромъ намѣренъ начать ревизію, но среду, по крайней мѣрѣ, утро, я останусь еще въ Ялуторовскѣ, въ ожиданіи присылки изъ Кургана и Тюмени твоихъ писемъ, а тамъ—въ возокъ и въ Тобольскъ...“ Между комиссіями, которыя надавалъ Ершовъ, въ письмѣ къ Т—борну, отъ 3 декабря, проситъ онъ узнать у петербургскихъ книгопродавцевъ: „какія уступки они могутъ сдѣлать, если дирекція постоянно будетъ выписывать у нихъ книги, исключая учебныхъ, за которыми мы обязаны обращаться къ комиссіонеру департамента народнаго просвѣщенія Глазунову. Приэтомъ нужно имъ передать, что Глазуновъ поснлаетъ книги бесплатно за пересылку и дѣлаетъ уступку 12%, если книги (даже и не учебныя) выписываются чрезъ департаментъ...“ Между тѣмъ, онъ всееще не хотѣлъ уклониться и отъ литературныхъ занятій. Покойный Л. А. Мей, предполагая, въ то время, издавать журналъ, какъ мы уже упомянули,—въ народномъ духѣ, желалъ имѣть соучастникомъ и Ершова, какъ уважаемаго имъ писателя народнаго. Въ приведенномъ письмѣ Ершовъ просилъ написать: „обстоятельныѣе, какой журналъ издаетъ Мей, и какого рода статьи ему требуются. Не худо бы знать и мѣру вознагражденія. Вѣдь, побывавши въ нашемъ меркантильномъ Петербургѣ,—прибавилъ онъ вшутку,—я тоже заразился немножко его духомъ...“

* Т. с., число, когда онъ родился

Желая, конечно, удовлетворить хоть чѣмъ нибудь потребности своего эстетическаго чувства, среди обыденной жизни Тобольска, онъ, между другими порученіями, просилъ о высылкѣ ему, объявленной тогда въ продажѣ, коллекціи гравированныхъ картинъ, если она окажется стоящею того, а также музыкальнаго инструмента, *harmonie-flûte*, и остальныхъ изъ выписанныхъ имъ хромофотографированныхъ изображеній святыхъ. Но—только послѣднее изъ этихъ требованій можно было исполнить; гравюры оказались нестоящими, а *harmonie-flûte* слишкомъ уже дорого стоящимъ. Въ этомъ же письмѣ, не объявляя побудительныхъ причинъ, просилъ онъ: „узнать, въ какомъ положеніи находится дѣло о сибирскомъ учебномъ округѣ и на какихъ основаніяхъ онъ будетъ открытъ?“—Кажется, неудовлетворяемый ограничеіною дѣятельностью по своему мѣсту, онъ самъ желалъ, для распространенія круга этой дѣятельности, сдѣлаться окружнымъ инспекторомъ.

Изъ имѣющихся у насъ двухъ писемъ Ершова къ женѣ, отъ 9 и 12 марта 1859 года, мы узнаемъ, что онъ въ это время опять посѣтилъ нѣкоторые изъ училищъ. Мы выпишемъ изъ этихъ писемъ строки, характеризующія вновь его педагогическое усердіе и радость по случаю размноженія училищъ. Эти строки тѣмъ достовѣрнѣе, что взяты не изъ оффиціального отчета и писаны не для публики. Вотъ онѣ: „...Въ самый день пріѣзда моего въ Тюмень, т. е. въ воскресенье, пріѣхалъ ко мнѣ окружный начальникъ Стефановскій и обѣдалъ вмѣстѣ со мной у смотрителя. Вечеромъ, съ семействомъ смотрителя, я былъ у Стефановскаго, который отправлялъ жену свою въ Екатеринбургъ. Я очень радъ, что засталъ жену его, потому что имѣлъ къ ней предложеніе принять на себя званіе попечительницы открываемаго въ Тюмени женскаго училища. Надѣюсь, что она согласится. Въ училищницы рукодѣля хотятъ пригласить Вариньку Себякину, надзирательницами будутъ жена одного учителя, бывшая гувернантка у Корчемкина, и одна сирота дочь священника. Положено открыть школу 22 іюля, въ день тезоименитства Государыни. Къ этому же дню постараюсь открыть женскую школу въ Ишимѣ; и того, кромѣ Тобольска, будетъ въ То-

больской губернии 4 женскихъ школы, а съ Омскимъ приютомъ—5. Вѣдь не дурное начало.—Въ понедѣльникъ, т. е., сегодня, утромъ, я съѣздилъ къ купцу Пешукову, поблагодарить его за пожертвованіе, въ пользу гимназіи, книгъ, и приглашенъ завтрашній день на именинный пирогъ, но врядъли я поѣду: надо скорѣе ѣхать въ Туринскъ, да притомъ, слышно, хозяинъ любитъ угощать на славу, а мнѣ надо пожалѣть свою голову. Заѣду, можетъ быть, утромъ его поздравить, потомъ на экзаменъ въ училище, а тамъ закусить и въ дорогу... Во вторникъ, въ 4 часа послѣ обѣда, я отправился изъ Тюмени. До Туринска было 160 верстъ; слѣдовало бы это разстояніе сдѣлать какихъ-нибудь въ полсутки, но не тутъ-то было. Дорога, благодаря обозамъ, до такой степени избита, что часто должно было ѣхать шагомъ, изъ опасенія опрокинуться. Но, слава Богу, отдѣлался только сломанной оглоблей да нѣсколькими тычками, хотя и довольно чувствительными. Въ Туринскъ пріѣхалъ въ среду, въ 12 часовъ утра, и, пересмотрѣвъ двѣ квартиры, остановился наконецъ въ третьей, подлѣ самого училища. Вскорѣ, по пріѣздѣ моемъ, были у меня почти всѣ наличные чиновники, но самъ я отдыхалъ отъ толчковъ дорожныхъ. Утромъ, въ четвергъ, съ половины девятаго часа до втораго, производилъ ревизію; потомъ поѣхалъ къ игуменѣ и посидѣлъ у нея съ часъ...

На письмо Ершова, отъ 3 декабря 1858 года, Т—борнъ отвѣтилъ подробно, но, конечно, неудовлетворительно для него, такъ какъ самые запросы были, почти всѣ, неосуществимы. — Съ этого времени переписка наша опять, сама собою както, прервалась. Ершовъ продолжалъ службу, какъ мы слышали, впослѣдствіи, отъ знавшихъ его, со всегдашнею своею благонамѣренностію, съ готовностію на все общепользное; но—неизбѣжныя служебныя столкновенія, вліяя на полуразбитое сердце дѣятеля-поэта, затрудняя его благія намѣренія, отвратили его, наконецъ, рѣшительно отъ официально-педагогической дѣятельности. Въ 1862 году, несмотря на свое значительное содержаніе и казенную квартиру, несмотря на большое свое семейство, при немѣнѣи никакихъ

постороннихъ средствъ, онъ вышелъ въ отставку, съ ежегодною пенсіею 1080 руб., и остался жить въ Tobольскѣ, желая только спокойствія и укрываясь отъ извѣстности. Мы не знаемъ рѣшительнаго повода къ этой отставкѣ, тѣмъ болѣе, что послѣдній экзаменъ, въ руководимой имъ гимназіи, былъ, какъ мы слышали, однимъ изъ лучшихъ по успѣхамъ воспитанниковъ: нѣкоторые изъ окончившихъ курсъ удостоены были медалей, и большая часть отправились совершенствоваться въ университетахъ. А поводъ былъ, повидимому, невыносимый для его благороднаго страдальческаго сердца и болѣзненной уже комплекціи: люди и тутъ не пощадили поэта... По рассказамъ нѣкоторыхъ лицъ, видно, что какія-то неосновательныя претензіи покойнаго окружнаго инспектора, П--пова, съ которымъ Ершовъ расходился въ понятіяхъ и характерѣ, были окончательнымъ ударомъ для его истомившагося уже терпѣнія; а къ борьбѣ съ людьми, да еще на поприщѣ не-вовсе ему сродномъ, онъ никогда не былъ склоненъ, какъ это явно и изъ тѣхъ данныхъ, которыя мы доселѣ о немъ имѣемъ... Объ оставленіи имъ службы даже семейство его узнало только въ тотъ день, когда онъ принесъ домой свой увольнительный аттестатъ. Конечно, онъ скрѣпилъ сердце свое, дѣлая этотъ шагъ; не хотѣлъ, чтобы слезы близкихъ его сердцу удержали его на дѣлѣ, котораго онъ уже не могъ продолжать честно. Не писалъ онъ ничего и намъ ни о рѣшимости своей оставить службу, ни о выходѣ своемъ въ отставку: предполагалъ ли онъ упреки, сожалѣніе или какое-либо непріятное ему слово съ нашей стороны противъ сдѣланнаго имъ шага... Все это возможно было ему предполагать, въ его положеніи; но -- во всемъ этомъ онъ ошибся бы: мы и сами были, около того времени, не въ лучшей служебной обстановкѣ. Можетъ статься, не говорилъ онъ объ этомъ и по отвращенію къ рассказамъ о грустныхъ мелочахъ, сопровождающихъ такіе перевороты въ жизни. О двухъ случаяхъ со мною, въ жизни общественной и по службѣ, я ему писалъ, съ цѣлію ободренія его въ чемъ-либо подобномъ, но онъ ничего не отвѣчалъ мнѣ на это...

Прошло около шести лѣтъ безъ переписки между нами. Жизнь общественная тянулась безъ особенныхъ проявленій. Ершовъ, закутанный въ свою неизвѣстность, казалось, совсѣмъ исчезъ. На петербургской сценѣ явился балетъ: „Конекъ-Горбунокъ“, составленный Сень-Леономъ по сказкѣ Ершова. Встрепенулась опять душа его.... О появленіи балета Ершовъ узналъ, кажется, изъ письма пріятеля его, покойнаго В. Стефановскаго, бывшаго Томскимъ окружнымъ начальникомъ, отъ 10 января 1865 года. Приводимъ это письмо, какъ свидѣтельство участія въ Ершовѣ со стороны знавшихъ и цѣнившихъ его: „М. Г. П. П. Поздравляю Васъ съ новымъ годомъ, желаю счастья, благополучія и добраго здоровья на много—много лѣтъ. — Миѣ очень пріятно было получить отъ одного моего петербургскаго знакомаго извѣстіе, что балетъ „Конекъ-Горбунокъ“, поставленный на сцену, потѣшаетъ Петербургскую публику. Онъ описываетъ особенно картинисто Ерша и воду, такъ удачно выполненную картину Вашего тѣзки (sic).—Неужто Ершовъ уснулъ у Васъ и его неслышно, пишетъ пріятель и возбуждаетъ меня передать Вамъ, что настала пора любви и восторговъ къ русскимъ талантамъ! Неужто Вы не отзоветесь чѣмъ-либо на такой благопріятный для Васъ случай и не воспользуетесь временемъ, когда еще есть силы и мочь?—Роясь послѣ этого въ газетахъ объ отзывахъ литературныхъ новаго балета (sic), я съ Мих. Ст. Неугодниковымъ *, который Вамъ низко кланяется, нашелъ въ № 52 „Вѣсть“ 25 декабря 1864 г. отличный отзывъ объ этомъ балетѣ; поэтому и пылая всегда къ Вамъ искреннею дружбой, рѣшился писнуть о всемъ вышеизложенно-рѣченномъ.—Будьте веселы и здоровы и не забывайте искренне Васъ уважающаго В. Стефановскаго.“

Неизвѣстно, отправилъ ли Ершовъ на это письмо отвѣтъ, который онъ набросилъ карандашемъ на томъ же письмѣ Стефановскаго, доставленномъ намъ его родственниками. Отвѣтъ этотъ представляетъ вообще тогдашнее его положеніе; поэтому мы приводимъ его цѣликомъ: „Благодарю Васъ за

* Смотритель училища.

привѣтъ и за ласковое слово. Съ своей стороны поздравляю и Васъ съ новымъ годомъ съ желаніемъ сторицею всего того, что Вы мнѣ пожелали.—На *Конькѣ Горбункѣ* въ-очью сбывается русская пословица: не родись ни умень, ни пригожь, а родись счастливъ. Вся моя заслуга тутъ, что мнѣ удалось попасть въ народную жилку.—Зазвенѣла родная—и русское сердце отозвалось

отъ hladныхъ Финскихъ скалъ

до стѣнъ недвижнаго Китая.

Вы желаете, чтобъ успѣхъ *Конька* (впрочемъ нынѣ вполне принадлежащій Сень-Леону и Муравьевой) снова вызвалъ меня на литературную арену. Можетъ быть и вызоветъ, но только не по этой части. Играть на лирѣ,—выражаясь словами прежнихъ поэтовъ,—очень хорошо подъ безоблачнымъ небомъ, когда надъ головою сѣнь яблони, съ которой яблочки сами падаютъ въ ротъ. А тутъ до пѣнія ли, когда не знаешь, чѣмъ извернуться мѣсяцъ на скудной пенсіи съ громадой ребятъ. Ихъ судьба заставляетъ меня тянуть другую пѣсню, можетъ быть, и не безъ смысла, но ужъ вовсе не гармоничную. Подожду, что дальше будетъ, а пока примите увѣреніе въ неизмѣнной моей къ вамъ преданности.“

Коротенькою запискою къ Т—борну, отъ 23 января того же 1865 года, онъ объяснился такъ: „На дняхъ я получилъ письмо отъ А. Н. Л—ва (пасынка его), который между прочимъ пишетъ, что видѣлся съ нѣкимъ В. А. Т—борномъ, и что онъ Т. мнѣ кланяется. Немного, кажется, словъ, а сколько они возбудили мыслей и воспоминаній! начиная отъ студенческой скамьи въ 1830 году до радушнаго прости въ дебаркадерѣ желѣзной дороги въ 1857 году. Это почти средневѣковой увражъ in folio, въ полторы тысячи страницъ съ миллиономъ разныхъ разностей содержанія. Не знаю, кто изъ насъ болѣе виноватъ въ молчаніи, и принимаю всю вину на себя, на свою сибирскую лѣность. И такъ снова дружескую руку, любезный Владиміръ Александровичъ, и хоть раза четыре въ годъ будемъ перебрасываться нѣсколькими сердечными строками.—Изъ газетъ или отъ Л—ва ты ужъ, вѣрно, знаешь, что я давно уже сошелъ съ поприща службы и

живу теперь на богатомъ цифрами, но очень скудномъ по дороговизнѣ всего, пенсіонѣ. Однѣ выигрышъ отставки — душевный покой, но я его не промѣню за тысячи тысячъ. Правда, иногда мысль о судьбѣ дѣтей, которыхъ у меня штукъ шесть, заставляетъ меня вздохнуть о своей безкарианности, но вскорѣ взглядъ на Спасителя въ минуту облегчаетъ мою грусть. Приходитъ иногда желаніе перебраться въ Питеръ или въ Москву, чтобы къ своей пенсіи приложить еще лепту отъ литературныхъ трудовъ. Но вспомнивъ о нынѣшнемъ безалаберномъ направленіи, съ которымъ я никакъ нетолько не могу сойтись, но даже и примириться, я по неволѣ остаюсь, какъ ракъ на мели, въ сибирской трупобѣ. Но... пока будетъ объ этомъ.... Поздравляю тебя съ новымъ годомъ. Обними за меня Ярославцова и Д—стуниса, и всѣхъ, кто только меня помнитъ. Буду ждать съ нетерпѣніемъ твоего отвѣта, и тогда развернусь поподробнѣе. — Кстати, если ты будешь отвѣчать, въ чемъ и надѣюсь, не откажись сообщить мнѣ подробнѣе о балетѣ Сенъ-Леона, „Конекъ-Горбунокъ“. Газетныя извѣстія, можетъ быть, удовлетворительны для публики, но не для меня. Родительское сердце хотѣло бы знать всю подноготную о своемъ дѣтищѣ...

Ни Т—борнъ, ни я не успѣли еще видѣть тогда балета. По словамъ нѣкоторыхъ, видѣвшихъ балетъ, Т—борнъ написалъ ему неочень лестный отзывъ. А между тѣмъ, отозвоившіеся, ознакомившись впоследствии съ самою сказкою Ершова, стали говорить, что теперь балетъ „Конекъ-Горбунокъ“ сдѣлался для нихъ интереснѣе. И дѣйствительно—балетъ, безъ поясненія сказкой, недовольно понятенъ, хотя и великолѣпенъ.

На письмо Т—борна, Ершовъ, отъ 10 апрѣля того же года, отвѣчалъ короткимъ письмомъ, въ которомъ, между шутками, слышатся и очень грустные звуки сердца. Вообще послѣдующія письма Ершова сокрушали насъ болѣе и болѣе: безцвѣтная осень жизни такъ и виднѣлась въ нихъ; дозревшие пожелтѣвшіе листья сыпались съ дерева, охваченнаго холодомъ. Привѣтствуя съ свѣтлымъ праздникомъ пасхи и посылая свои поцалуй, онъ уже замѣчаетъ: „Мое дѣло—исполнить только пасхальный обычай, къ сожалѣнію уже на-

чавшій выводиться, можетъ быть, по той причинѣ, что нынче люди любятъ больше кусаться, чѣмъ цаловаться....“ А письмо закончивается такъ: „Еще прошу, — не сердись на коротенькое письмо. Тебѣ можно писать о чемъ, живя въ этомъ столичномъ омутѣ, а я долженъ повторять старое, или надѣдать такими подробностями, что ты заснешь въ полдень....“ Все таки его очень потѣшило, что балету послужилъ его *Конокъ Горбунокъ*, потѣшило, какъ неожиданный привѣтъ друзей, которые, казалось, уже забыли друга въ глуши. Такъ необходимо было Ершову ободреніе.... На нелестный отзывъ о балетѣ онъ ничего не отвѣтилъ, а просилъ только: „....не можешь ли ты прислать мнѣ фотографическій портретъ Муравьевой. * Ея имя, какъ имя „Царь дѣвицы“, теперь близко родительскому сердцу автора; и еслибы мнѣ какими нибудь судьбами довелось побывать въ Петербургѣ, то я непременно постарался бы быть у этихъ чародѣйныхъ ножекъ....“

Въ томъ же году я отправилъ къ нему напечатанную мною въ то время брошюру: „О личности Гамлета въ Шекспировой трагедіи“, и просилъ безпощаднаго его отзыва о ней. Отвѣтное письмо его, отъ 17 іюля 1865 года, мы приводимъ вполнѣ. Это можетъ показаться нѣсколько нескромнымъ съ нашей стороны, но какъ въ этомъ письмѣ ясно выражаются и его честная откровенность, и его взгляды, его теплое чувство, и, особенно, тогдашнее настроеніе его души, то—мы готовы перенести и упрекъ въ нескромности нашей, а пожалуй, въ чемъ и иномъ.... Вотъ это письмо:

„Мой добрый Андрей Константиновичъ. Еслибы желаніе сердца можно было обратить въ телеграфическую проволоку, то ты давнымъ давно получилъ бы отъ меня тысячу привѣтовъ, съ цѣлымъ грузомъ благодарности. Но, къ сожалѣнію, не все возможно, чего хочется. Поэтому, довольствуйся лоскуткомъ письма, хотя запоздалаго, но тѣмъ не менѣе залушевнаго. Частая хворость, особенно при нынѣшнемъ безтолковомъ лѣтѣ—съ дождемъ и холодомъ, была главною причиною этой запоздалости. Если же прибавить къ этому

* Исполнявшей тогда, въ балетѣ, роль «Царь-дѣвицы».

болѣзнь жены, рожденіе дочери, то этихъ причинъ, полагаю, было бы достаточно для оправданія меня даже предъ англійскимъ парламентомъ. И такъ—къ дѣлу. А трудную ты задалъ мнѣ задачу съ своимъ Гамлетомъ. Да еще вызываешь меня на полемику! Нѣтъ, любезный А. К., скажу тебѣ правду истинную: голова моя, можетъ быть, годная для сказокъ, нисколько не создана для анализа (что мнѣ замѣтилъ и душевно уважаемый П. А. Плетневъ). Я готовъ всѣмъ изящнымъ любоваться до головокруженія, а давать себѣ отчетъ—почему это хорошо, почему это шевелить сердце,—вовсе не мое дѣло. Прочитавъ твою брошюру, я прежде всего порадовался за твое сердце, которое, и при сѣдыхъ волосахъ (если, впрочемъ, таковыя есть въ наличности), бьется живою струею молодости; порадовался, что ты, при всеобщемъ—искреннемъ ли или подставномъ—стремленіи къ утилитарности, принимаемой въ самой узкой рамѣ, остался вѣренъ прежнему благородному направленію; порадовался, наконецъ, и тому, что и мое уже остывающее сердце сохранило еще нѣсколько жизни, по крайней мѣрѣ настолько, чтобы сочувствовать подобному явленію, какъ твоя брошюра. Можетъ быть, современемъ, когда залучу къ себѣ чей нибудь переводъ Гамлета, я прочту его вмѣстѣ съ твоей брошюрой, и напишу что нибудь подѣлнѣе теперешняго; но теперь ставлю точку—и конецъ. Не могъ я не улыбнуться (хотя и не совсѣмъ веселою улыбкою), читая твои фантазіи о *тайнахъ* моихъ литературныхъ подвигахъ. Да, они дѣйствительно тайны, и такъ тайны, что я самъ ровно ничего объ нихъ не знаю. Разумѣется, здѣсь говорится о созданіяхъ, выраженныхъ въ *литератѣ*; что жъ касается до созданій фантазіи, которыя носятъ только хотъ въ свѣтлыхъ, но всетаки туманныхъ призракахъ и не облеклись, какъ говаривалъ А. В. Никитенко, въ плоть и кровь, то ихъ у меня такая куча, что для воплощенія ихъ не достало бы и десятка человѣческихъ жизней. А что же толку въ этомъ?—спросишь ты. А толкъ тотъ, что мнѣ съ ними весело, что они единственные утѣшители мои въ незавидной моей существенности, что они тѣ золотыя нити, которыя связываютъ меня съ далекимъ небомъ.... поэзіи.—

Обнимаю тебя тысячу разъ вмѣстѣ съ свѣтлоголовымъ Владиміромъ. Будьте здоровы и на мои лоскутки оплатите цѣлыми листами.“

И все болѣе и болѣе изнывала душа, а вмѣстѣ съ нею, естественно, и самый организмъ Ершова. Въ письмѣ къ Т—борну, отъ 19 ноября 1865 года, отдѣливаясь, по обыкновенію своему, шутками, что шлетъ опять не письмо, а лоскутокъ, онъ говоритъ: „...Жизнь моя такая вялая и скучная проза, что одно напоминаніе объ ней избороздитъ лобъ морщинами. А я не хочу бросить тѣнь на твою свѣтлую голову: пускай онъ блеститъ—ореолъ твоей вѣчно-студенческой жизни, на удивленіе, если не вѣковъ и народовъ, то хоть твоихъ знакомыхъ и пріятелей!...“ Но и въ такомъ грустномъ положеніи не замерло въ немъ начало поэтическое. Оно-то, конечно, и поддерживало его въ *незавидной сущности*; зато источникомъ какого горя могло быть оно же въ непрестанной борьбѣ съ обыденною бѣдною жизнью! Все же, казалось, еслибъ дать Ершову и теперь еще обстановку, соотвѣтственную потребностямъ души его,—онъ воскресъ бы и для творчества. Мысль, что его сказка, *Конекъ-Горбунوکъ*, хоть частію перешла въ балетъ, радовала его, какъ юношу. Т—борнъ послалъ ему фотографическій портретъ Муравьевой, въ роли „Царь-дѣвицы“ въ балетѣ. „...Такой фотографіи—говоритъ онъ въ томъ же письмѣ—въ Tobольскѣ еще не видали, не смотря на то, что въ немъ существуютъ три фотографіи. А мила же „Царь-дѣвица“, особенно глазки! Одного жаль, что чудодѣйныя ея ножки спрятаны, а хотѣлось бы взглянуть и на нихъ. Вѣдь о Муравьевой можно сказать то же, что говорили о Тальони:

Что говорить она ногами,

Того не скажешь языкомъ.

Но миръ ея балетной памяти. Дай Богъ, чтобъ сценическая слава замѣнилась для нея равномѣрнымъ семейнымъ счастьемъ.—Теперь сердце мое обращается къ другой богинѣ—Мадаевой. * Еслибъ у него, т. е., у сердца, были ноги, то

* Г-жа Мадаева заступила въ это время г-жу Муравьеву, которая оставила сцену для жизни брачной.

ты увидѣлъ бы, какъ оно стаетъ передъ тобой на колѣни и просить у тебя портрета новой „Царь-дѣвицы“. Удружи, не откажи....“

На мой отзывъ о балетѣ, онъ писалъ, отъ 5 февраля 1866 года, между прочимъ: „....Письмо твое утѣшило меня за балетъ „Конекъ-Горбунокъ.“ Значить, онъ не такъ плохъ, какъ выставилъ его одинъ свѣтлоголовый господинъ, немножко и тебѣ извѣстный. Онъ такъ отдѣлалъ его въ послѣднемъ письмѣ своемъ, что я готовъ былъ заплакать о судьбѣ своего пасынка. Вѣроятно, Владиміръ, въ часъ письма, былъ въ северномъ расположеніи духа....“ Въ это время Ершовъ находился, какъ видно, въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ: въ письмѣ ко мнѣ онъ просилъ: „....разузнать—что платитъ дирекція театра за сценическое сочиненіе: по числу ли актовъ или по чему другому. У меня лежитъ нѣсколько пьесъ, написанныхъ еще въ то время, когда у меня не было еще ни одного сѣдаго волоса, а у Владиміра на головѣ не сіяло солнце. Если условія дирекціи покажутся мнѣ выгодными, то я вытащу моихъ дѣтищъ изъ-подъ спуда, поумою, поочичу и представлю на судъ.... Считаю нужнымъ сказать, что пьесы эти—дѣти веселаго досуга, а не серьезной мысли, въ родѣ *Кузнеца Базима*, котораго ты можешь прочесть въ Сборникѣ въ память Смирдина (не помню тома).—Другое еще. У Осипа Карловича Гунке—кажется, ты его знаешь—есть три или четыре либретто оперъ, написанныхъ мною по его просьбѣ. А такъ какъ онъ, вѣроятно, не расположенъ писать на нихъ музыку, то не найдется ли какой охотникъ употребить ихъ въ дѣло. Нынче вѣдь довольно явилось композиторовъ; можетъ быть, кому нибудь и понравятся либретто. Ты, вѣрно, разсмѣшся, читая эти порученія. Но, во первыхъ, не любовь къ дѣтищамъ заставляетъ меня поставить ихъ на ноги, а трудность положенія, въ которомъ нахожусь я съ семействомъ; а вторыхъ, это знаетъ, можетъ быть, успѣхъ (хотя бы и небольшой) стародавнихъ писаній вызоветъ меня снова на литературный трудъ, болѣе достойный.—Заключу письмо мое повтореніемъ желанія, еще хотъ разъ увидѣться съ вами.“

На кого не произведутъ грустнаго впечатлѣнія эти стро-

ки. Тяжко было читать ихъ намъ, знавшимъ Ершова въ лучшую пору его жизни, тяжело тѣмъ болѣе, что осуществить желанія, хотъ отчасти, не представлялось возможности, и невозможности этой онъ, по отдаленности, уединенію и стѣсняемъ нуждою, не могъ уяснить себѣ... Между тѣмъ, неожиданная постановка балета по его сказкѣ очень радовала его. Т—борнъ послалъ къ нему всѣ вышедшіе тогда фотографическіе портреты дѣйствующихъ лицъ въ балетѣ. Онъ отвѣчалъ, отъ 13 іюля 1866 года: „....Цалую тебя въ обѣ щеки за фотографіи изъ „Конька“. Троицкій*—это типъ Ивана. Удастся ли когда нибудь увидѣть мое дѣтище на сценѣ? О побѣдѣ въ Петербургѣ мнѣ нечего и думать; а еслибы, по шучьему велѣнью, это и случилось, вѣроятно, балетъ сданъ будетъ уже въ архивъ, гдѣ столько его предшественниковъ покоятся сномъ непробуднымъ....“ Но — не удалось уже ему ни побывать еще въ Петербургѣ, ни даже потѣшиться чѣмъ либо болѣшимъ изъ балета, заинтересовавшаго его, какъ соучастника въ этомъ созданіи. Въ томъ же письмѣ онъ самъ изображаетъ тогдашнее свое положеніе: видимъ—съ чѣмъ предстояло поэту ежеминутно бороться и—уже подъ старость! Нетрудно заключить — кто одолѣетъ? „....Что тебѣ сказать—пишетъ онъ—собственно о моей особѣ? Хоть о моей жизни и нельзя сказать—бочка дегтю, да ложка меду, однако всетаки пропорція послѣдняго очень незavidна. Безъ денегъ, безъ здоровья, съ порядочною толикой дѣтей и съ гомеопатической надеждой на лучшее—вотъ обстановка моего житія! Если я еще не упалъ духомъ, то долженъ благодарить Бога за мой характеръ, который умѣетъ ко всему примѣниться. Одна только мысль тяжело лежитъ на душѣ; это—воспитаніе дѣтей. Старшему сыну уже одиннадцать лѣтъ, но пока онъ занимается еще дома. Есть способности, но разсѣянность безконечная. Поэтому, ему трудно будетъ въ заведеніи, гдѣ, по самому числу учениковъ, нельзя ему быть предметомъ исключительнаго вниманія учителя. Другимъ сыновьямъ—одному четыре года, а

* Г. Троицкій занималъ въ балетѣ роль «Ивана».

другому два. Ну, эти еще на попечении матери—и многого не требуют. Впрочемъ, что загадывать впередъ. Скажу словами гетмана Хмѣльницкаго: „Будетъ, что будетъ, будетъ, что будетъ, а будетъ — что Богъ велитъ,“ аминь. — Поклонъ Ярославцову, Д—стунису и всѣмъ, кто только обо мнѣ вспомнитъ. — Не сердись, что на большія твои письма я отвѣчаю лоскутками. Ей Богу, писать для меня такая коммиссія, что только желаніе имѣть отъ тебя вѣсть заставляетъ меня браться за перо. То-ли дѣло разговоръ! Можетъ быть, изобрѣтательный умъ придумаетъ какой нибудь далекослышный рупоръ, и тогда я буду день и ночь разговаривать съ вами.“

Послѣ такого очерка жизни, какой набросалъ самъ испытывающій, во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, эту жизнь, никто, конечно, не будетъ ожидать отъ него еще, хоть какого нибудь, созданія поэтическаго. Замираніе и замираніе безцвѣтное, втеченіи остальныхъ, почти сочтенныхъ дней, — удѣлъ его. И какую ослабѣвшую уже рукою^ю набросанъ этотъ очеркъ:... *писать—для меня такая коммиссія...*, заключаетъ онъ, со вздохомъ старика, письмо свое!... А такъ ли говорилъ онъ въ письмѣ, отъ 12 декабря 1836 года?—Между тѣмъ, и въ этомъ печальномъ очеркѣ кто не увидитъ любящаго отца, разумнаго педагога, преданнаго христіанина, вспоминающаго съ уваженіемъ эту преданность даже и въ другихъ достойныхъ людяхъ?... Письмо это было послѣднее къ намъ отъ Ершова; потомъ мы только слышали, повременамъ, что онъ живъ, но—груститъ. Въ 1868 году, узнавъ случайно, что экземпляры сказки, *Конекъ-Горбунокъ*, уже исчезаютъ въ продажѣ, что за немногіе, остающіеся, запрашиваютъ даже по нѣскольку рублей, я сообщилъ о томъ Ершову, но отвѣта отъ него не получилъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ сказка явилась новымъ седьмымъ изданіемъ. И для насъ Ершовъ существовалъ уже только въ воспоминаніи, пока, въ августѣ мѣсяцѣ 1869 года, телеграмма не принесла вѣсти о его кончинѣ.

О послѣднемъ времени жизни Ершова, втеченіи трехъ лѣтъ послѣ письма его въ 1866 году, можемъ сказать немногое, по свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ близкихъ его родныхъ. Но и это немногое свидѣтельствуетъ о прекрасныхъ основаніяхъ всей его жизни, ксожалѣнію, неразвившейся вполне. Грустно тянулось это время, при бездѣтельности, какъ члена общества, среди заботъ объ обыденномъ существованіи съ семьей, въ тяжелыхъ представленіяхъ будущаго, и еще болѣе въ тяжелыхъ воспоминаніяхъ бывшихъ немногихъ радостей и многихъ неудачъ. А болѣзни свои и семейства, а безвыходное положеніе!... При всемъ томъ, живыя начала въ Ершовѣ не изсякли. Въ 1868 г., пятидесяти трехъ лѣтъ, при разрушающемся организмѣ, съ мыслию о смерти, онъ взялся еще за перо, во время прибытія Великаго Князя Владимира Александровича въ Тобольскъ. Написанное имъ по этому случаю стихотвореніе, поднесенное высокому гостю, * кажетъ, послѣднее его произведеніе: ничего позднѣйшаго не оказалось уже въ его бумагахъ. Мы приводимъ это стихотвореніе здѣсь и какъ памятникъ его творчества въ послѣдніе преклонные дни жизни и какъ подтвержденіе того, что Ершовъ остался до гроба вѣренъ своимъ понятіямъ, своимъ правиламъ, коротко,—остался съ своимъ характеромъ.

Шесть лѣтъ прошло, когда, во цвѣтъ лѣтъ,
Исполненъ силъ и вѣщаго глагола,
Я подносилъ свой радостный привѣтъ
Наслѣднику великаго престола.

* Въ неофициальной части Тобольскихъ губернскихъ вѣдомостей, 27 іюля 1868 года, № 30, въ статьѣ: *Тобольскъ 23—26 іюля 1868 года*, т. е., во время пребыванія Великаго Князя Владимира Александровича въ Тобольскѣ, читаемъ, между прочимъ: «.....Здѣсь же (въ Тобольской гимназіи) представленъ былъ Великому Князю г. генералъ-губернаторомъ, бывший директоръ Тобольской гимназіи, Ершовъ, котораго Его Высочество благодарилъ за поднесенное Ему, въ г. Омскѣ, стихотвореніе,—сказавши, что читалъ его съ наслажденіемъ, причемъ выразилъ сожалѣніе, что въ настоящее время извѣстной его сказки «Конекъ-Горбунокъ» нѣтъ въ продажѣ, на что г. Ершовъ объяснилъ, что готовится новое изданіе ея.....»

И все, что видѣлъ я, какъ будто райскій сонъ,
И все, чего желалъ душою восхищенной,
Все то уже свершилъ посланникъ неба, Онъ,
Державный Твой Отецъ, на благо полвселенной!

Теперь, на склонѣ дней, слабѣющей рукой
Я вновь беру перо, съ слезой въ глазахъ нежданной,
Чтобы привѣтствовать, въ странѣ моей родной,
Тебя, высокій гость, и Твой приходъ желанной.

Но взоръ пытающій напрасно смотреть вдаль,
Его ослабила тяжелой жизни битва;
И смутно видится грядущаго скрижаль;
И вѣщей рѣчи нѣтъ,—одна въ устахъ молитва.

И я молюсь: «Да Вышній Царь царей
«Благословить Тебя отъ горняго Сіона!
«Да будешь стражъ родной земли своей,
«И щить, и мечъ, и укрѣпленье трона!

«Да славно имя носишь Ты,
«Великое, святое для Россіи;
«И свѣтлыхъ дней блестящія черты
«Внесешь навѣкъ въ безсмертный свитокъ Кліи!»

Въ это же время посѣтилъ Ершова бывшій университетскій товарищъ брата его, С. И. Барановскій, тогда окружный инспекторъ училищъ западной Сибири. Мало знакомый П. П. Ершову, онъ, бывъ въ Tobольскѣ, по служебной обязанности, счелъ удовольствіемъ посѣтить автора *Конька-Горбунка*. Посѣщеніе просвѣщеннаго, образованнаго человѣка, съ какимъ Ершовъ-затворникъ давно уже не встрѣчался, дото-го освѣжило его, что онъ, уступая желанію гостя, прочиталъ ему нѣкоторыя изъ своихъ сочиненій и, между прочимъ, стихотвореніе—экспромтъ въ честь первой жены своей. Гость пробылъ у него, въ семейномъ кругу, до ночи; бесѣда касалась минувшаго молодого времени, университета, литературы,

воспитанія дѣтей, которое такъ озабочивало Ершова-отца. По словамъ вдовы его, сообщившей намъ эти свѣдѣнія, вечеръ тотъ пріятно прошелъ для всей семьи, даже маленькія дѣти просидѣли долѣе обыкновеннаго—до одиннадцатаго часа.... Значить, Ершовъ всееще могъ быть живымъ между живыми, могъ откликнуться на вопросы умные, жизненные. Но такія освѣжительныя минуты были такою рѣдкостью; и едва онѣ проходили, онъ опять впадалъ и, можетъ быть, еще глубже, въ мрачное настроеніе духа. Къ увеличенію этого настроенія, привелось Ершову, незадолго до его кончины, испытать новую непріятность, которая если и никакъ не могла сокрушать его за себя, какъ человѣка честнаго и доживающаго уже свой вѣкъ, всеже не могла не огорчить его тяжело за нравственность людей. Пусть расскажетъ этотъ фактъ самъ сообщившій его, бывший пріятель Ершова въ послѣдніе годы. „Незадолго до его смерти, разнесся слухъ, порадовавшій многихъ, желавшихъ добра здѣшней гимназіи: говорили, что онъ будетъ главнымъ инспекторомъ. Но ожиданія эти не сбылись. А теперь надъ свѣжей могилой носятъ новыя грустные толки, что не сбылась эта надежда потому, что нѣкоторые личности употребили несовѣстнѣе честное средство—доносъ, чтобы очернить безупречную жизнь покойнаго поэта. Грустно, если это правда. Не за него грустно, а за то общество, среди котораго возможны подобныя вещи. Грустно за то время, въ которое приходится жить.“—Виною этому, конечно, была его отшельническая жизнь въ губернскомъ городѣ, хотя, какъ видимъ, и трудно осудить его въ томъ. Это же отшельничество произвело, что и самая религіозность его начала удаляться за предѣлы свои, впадать въ мистицизмъ.—Выходы его изъ дома ограничились почти только церковью; если болѣзнь или иное что препятствовали ему въ этомъ, онъ, во время обѣдни, или всенощной, совершалъ молитву дома, уединенно отъ всѣхъ.—Иногда онъ приходилъ, ненадолго, къ родственникамъ, къ сосѣдямъ; съ посѣщавшими его, впрочемъ, немногими, охотно бесѣдовалъ о вопросахъ педагогическихъ, о литературѣ; съ болѣе близкими вспоминалъ что нибудь изъ своего дѣтства, своей молодости,

особенно о дняхъ, проведенныхъ съ товарищами университетскими, о счастливомъ времени перваго пребыванія въ Петербургѣ. Рѣдко, но вырывался изъ устъ его горькій ропоть на помѣшавшихъ ему въ служебномъ дѣлѣ. Отъ пріѣзжающихъ изъ Tobольска, знавшихъ или хотъ видавшихъ Ершова, случается слышать подтвержденіе слуховъ о его грустной жизни, его отдаленіи отъ всѣхъ, затворничествѣ; иногда видали его только на крыльцѣ его жилища, гдѣ онъ сидѣлъ одинокій или съ дѣтьми своими. — Сына своего онъ помѣстилъ въ Омскую военную гимназію и очень заботился о его воспитаніи; почему-то задумывалъ переселиться даже и самъ въ г. Омскъ. Замѣтимъ, что, въ отставкѣ, проходя по улицамъ Tobольска, онъ старался всегда миновать домъ гимназіи. — Честнымъ остался онъ до гроба, простирая честность даже до суровости. Такъ, кто-то изъ родственниковъ вздумалъ подарить одной изъ его дочерей шелковой матеріи на платье: смутился Ершовъ и сказалъ: „Прошу васъ избавить меня навсегда отъ такихъ подарковъ: дѣти мои могутъ носить только такое платье, какое я въ силахъ имъ сдѣлать!“

Заботы объ устройствѣ церкви въ селѣ Безруково составляли для него одно изъ самыхъ отрадныхъ занятій до послѣднихъ минутъ жизни; но не удалось ему дожидаться окончанія этого дѣла и присутствовать, какъ ни желалъ онъ, при освященіи церкви. Свое посредничество для полученія отъ правительства разрѣшенія на сооруженіе церкви, всякое пожертвованіе, даже непосильное, въ пользу церкви онъ дѣлалъ охотно и въ возможной тайнѣ: такъ, для покупки нѣкоторыхъ церковныхъ потребностей, заложилъ онъ однажды золотую цѣпочку отъ часовъ своихъ, о чемъ сказалъ женѣ уже только въ концѣ своей послѣдней болѣзни.

Еще, хотъ на нѣсколько минутъ, отрадно встревоженъ былъ онъ, за полгода до его смерти, въ 1869 году, приглашеннымъ билетомъ, присланнымъ къ нему отъ распорядителей юбилея по случаю пятидесятилѣтія С.-Петербургскаго университета. Приглашеніе это запоздало: оно пришло 13 февраля, а юбилей праздновался уже 8 февраля; но, по отдаленности, гдѣ жилъ Ершовъ, оно никогда не было бы во-

время. Ершову дорога была память о немъ высокоуважаемаго имъ сословія. Для большей правдивости, мы расскажемъ эту тревогу отживающаго уже свой вѣкъ Ершова словами самой вдовы его: ея слова, на этотъ разъ, очень замѣчательны по многимъ отношеніямъ, которыя оцѣнить понимающій: „...Никогда тоже не изгладится изъ моей памяти 13-е февраля, когда Петръ Павловичъ получилъ приглашенный билетъ въ залу дворянскаго собранія, на юбилейный актъ С.-Петербургскаго университета. Это было во время самаго обѣда, лишь только подали на столъ. Почтальонъ принесъ письмо. Петръ Павловичъ распечаталъ конвертъ, прочиталъ письмо, перекрестился и, со слезами на глазахъ, сказалъ: *Слава Богу! меня не забыли!* Взволнованный, онъ тотчасъ же вышелъ изъ-за стола, пошелъ въ свой кабинетъ и заперъ за собою дверь. Уже вечеромъ, когда я принесла ему стаканъ чаю, онъ обратился ко мнѣ и сказалъ: *Поздравь меня: сегодня для меня день самый пріятный! Ты, вѣрно, слышала, что я плакалъ. Но эти слезы были — радости, что меня вспомнили въ торжественный праздникъ университета, идъ я такъ былъ счастливъ!...*“ Что перечувствовалъ страдалецъ въ эти минуты; о чемъ лились его слезы? — пойметъ тотъ, кто вполнѣ обнялъ первое его значеніе въ жизни, его надежды, замыслы, борьбу въ немъ поэзіи съ обыденною жизнію, его лишенія, страданія, его дѣльную душу и сердце; кто умѣетъ оцѣнить — какъ дорога такому человѣку память тѣхъ, которые, казалось, совсѣмъ забыли о немъ. А вмѣстѣ — и сколько новаго горя примѣшивалось, конечно, къ этой радости. Не подумалъ ли онъ: „Они помнятъ меня, а я бѣжалъ ихъ. Они помнятъ меня! — Еслибъ я остался среди ихъ, или хотъ возвратился къ нимъ, я жилъ бы полезнымъ дѣятелемъ и досегодня, и также бодро, среди превратностей житейскихъ, могъ бы сказать:

«Но не хочу, о, други, умирать;
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать.»

А теперь, безъ борьбы, но и безъ всякой дѣятельности, я — только разрушаюсь!...”

И дѣйствительно,—смерть уже носилася надъ нимъ. Съ нѣкотораго времени, его сталъ одолѣвать кашель и частое отдѣленіе злокачественной мокроты. На усиленные просьбы родныхъ—обратиться къ пособіямъ доктора, онъ, иногда и то съ трудомъ, соглашался, говоря: „Завтра, можетъ быть, приглашу доктора“, а завтра почему либо опять отклонить это, прибѣгая къ домашнимъ пособіямъ. Конечно, отъ серьезнаго леченія удерживала его и мысль о скудныхъ средствахъ, ввергшихъ его уже въ долги. Наконецъ, болѣзнь развилась: признаки водяной обнаружились. Тогда были приглашены врачи, но—они могли уже только облегчать его временно: болѣзнь стала неизлечимою. Пользуясь пособіями медицинскими, отдавшись волѣ Провидѣнія, Ершовъ не переставалъ терпѣливо нести свой крестъ. Начиная, по обыкновенію, каждый день долгою молитвою, остальное время дня употреблялъ онъ на заботы о семействѣ. Сынъ его, незадолго передъ тѣмъ, похворалъ корью и потому вынужденъ былъ пропустить экзаменъ и явиться къ переэкзаменовкѣ. Больной отецъ, не имѣя возможности нанять для него учителя, самъ подготовилъ его къ испытанію. Свободныя минуты онъ проводилъ въ чтеніи. Въ этотъ годъ, онъ ограничился выпискою только журнала „Сынъ отечества“.

Незадолго до кончины, пришли къ нему нѣсколько крестьянъ селенія Безруково. Ершовъ уже сильно изнемогалъ; онъ понималъ, что крестьянамъ нужна какая-нибудь помощь для отдѣляемой церкви, а онъ—ничѣмъ уже помочь не можетъ. Прослезился Ершовъ, заплакали крестьяне, да—такъ и разстались съ нимъ навсегда.

Болѣзнь, быстро развившаяся, окончательно одолѣла его: онъ предчувствовалъ исходъ ея. По его желанію,—такъ какъ въ это время былъ успенскій постъ,—жена и одна изъ дочерей его говѣли. 14 августа, приглашенный въ домъ, послѣ заутрени, со Св. Дарамъ, священникъ исповѣдалъ больного и приобщилъ его. Тутъ же исповѣдались жена и дочь. Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ исполнилъ онъ святой долгъ: несмотря на убѣжденія—остаться въ креслахъ, онъ поднялся и, стоя на слабыхъ ногахъ, самъ читалъ предпрічастныя

молитвы, а, произнося ихъ, не могъ сдерживать слезъ своихъ. Въ этотъ день онъ принудилъ себя сѣсть за обѣдъ, съ причастицами, въ кругу семейства. Это былъ его послѣдній обѣдъ, за которымъ онъ оставался почти безмолвенъ и отказывался отъ пищи. 16 Августа, сидя въ креслахъ, онъ помолился, предъ иконою, со всѣмъ семействомъ. 17 числа ему какъ будто сдѣлалось легче: онъ вздумалъ выйти въ залу и завести стѣнные часы. Но 18 августа, когда дѣти, по обыкновенію, пришли здороваться съ нимъ, онъ, благословивъ ихъ, сказалъ женѣ: „Не отпуская дѣтей: сегодня вѣтеръ“. Прибывшимъ докторамъ онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы; сказалъ, что всю ночь провелъ худо, ни на одинъ бокъ не могъ лечь, чувствуетъ слабость; что въ глазахъ у него точно черныя мухи. Въ этотъ же день онъ благословилъ все семейство и простился съ ними. Не имѣемъ описанія этихъ минутъ благословенія и послѣдняго прощанія: но — кто изъ окружавшихъ могъ быть наблюдателемъ ихъ?... Томясь впоследствии, молвилъ онъ женѣ своей: „Чѣмъ бы себя развлечь, не знаю“, — попросилъ газету, и не могъ читать: ослабшая рука его опустилась. Черезъ нѣсколько минутъ, онъ поднялся съ кресла, взялъ маленькую подушку и перешелъ къ своей письменной конторкѣ, — какбы проститься съ тѣмъ задушевнымъ мѣстомъ, гдѣ онъ передумалъ многое; облокотился на нее, прилегъ на подушку, потомъ поднялся, поцаловалъ крестъ, который постоянно носилъ на груди, отошелъ отъ конторки, проговоривъ слабымъ голосомъ: „Мѣста нигдѣ не могу себѣ найти!...“ Опять сѣлъ на кресло и, забывъ, сталъ обращать глаза вверхъ; но лишь приходилъ въ сознаніе, часто повторялъ: „Матерь Божія, Боже милостивый сжаляся надъ мною!...“ Черезъ нѣсколько минутъ, снова поднялся, перешелъ на другое кресло, опустился въ него и — тихо и спокойно скончался; душа, какбы очищенная долгими страданіями, оставила свое временное жилище.

Послѣ первой панихиды, священникъ, принявшій послѣднюю исповѣдь его, утѣшая осиротѣвшее семейство, сказалъ, — Петръ Павловичъ умеръ истиннымъ христіаниномъ. — Въ день погребенія, 20 августа, огромная толпа жителей Тобольска

проводила тѣло усопшаго автора *Конька Горбунка* до могилы на Тобольскомъ кладбищѣ, за валомъ, или, какъ тамошніе жители выражаются, *на завальѣ*.

Соображая главные моменты жизни Петра Павловича Ершова,—его дѣтство, первое воспитаніе и обстановку въ эти годы; замѣчательный дебютъ его таланта, его замыслы и предпріятія; необдуманное, по молодости лѣтъ, и неустрашенное никѣмъ возвращеніе его въ Сибирь; его вступленіе въ жизнь, почти безотрадное положеніе здѣсь и какую-то безотважность вырваться изъ грустной обыденности, при отсутствіи помощи посторонней; его вообще благородный, но непрактическій характеръ; его уединеніе, почти невольное отчужденіе отъ людей, и, вслѣдствіе всего этого, разстройство душевное и тѣлесное, — читатель внимательный разрѣшитъ вопросъ, къ рѣшенію котораго мы и стремились: насколько обстоятельства и общество виновны и насколько самъ Ершовъ, по собственному его сознанію, виновенъ въ преждевременномъ уклоненіи отъ алтаря музъ?... Уклоненіи отъ прекрасныхъ, высшихъ цѣлей своихъ Ершовъ оплакивалъ горькими слезами: а не обнаруживаетъ ли это, что онъ оставался въ душѣ вѣренъ своему призванію, и что только препятствія постороннія или неодолимые для неразвѣвшихся, по обстоятельствамъ, силъ его, заслоняли эти цѣли. Нигдѣ и ни въ чемъ невидно, чтобы онъ покидалъ или хотъ забывалъ эти цѣли равнодушно.

Не найдемъ ли мы и въ собственной своей жизни что-либо сходное съ тѣмъ, что пережилъ и перенесъ П. П. Ершовъ; и подумаемъ, что каждый изъ насъ могъ бы принести или дѣйствительно принесть на пользу общую?...



Храм сердца.

Когда, покинув мир мечты,
В свое я сердце погружаюсь,
Я по неволѣ ужасаюсь
Его печальной пустотѣ.
Какъ храмъ оставленный въ пустыни,
Оно святому предано,
Безъ свѣта, безъ свѣтлицъ...
Въ немъ все темно и тленно!
Ахъ, любовный судъ страданья
Полезенъ тропой воспоминанья,
И на поблекшихъ цвѣтахъ,
Разпотерянаго счастья
Отраву любви шипучей настѣво
Во мракъ скорбной тоскѣю.
Ведетъ печальныя гробницы
Надгробъ и радости близка,
И рѣдко, рѣдко чуждъ декища,
Какъ летучъ, броситъ вѣтъ на мѣсто.

ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ О СКАЗКѢ П. ЕРШОВА

«КОНЕКЪ-ГОРБУНОКЪ»,

помѣщенные въ разныхъ журналахъ.

I. Отзывъ О. И. Сенковского, предъ отрывкомъ сказки, „Конекъ-Горбунокъ“, помѣщеннымъ въ 3-мъ томѣ „Библиотеки для чтенія“, 1834 года:

„Мы должны предупредить нашихъ читателей, что поэма, которая слѣдуетъ за этими строками, есть произведеніе совершенно неизвѣстнаго имъ пера. Не затворяясь въ блистательномъ кругу именъ, исчисленныхъ на заглавномъ листѣ и пріобрѣтшихъ уже своими трудами право на уваженіе или вниманіе соотечественниковъ, „Библиотека для чтенія“, первая своему назначенію,—служить зеркаломъ, въ которомъ бы отражались всѣ совершенные таланты литературные Руси (sic),—всегда съ величайшимъ удовольствіемъ выступить сама изъ этого круга, коль скоро представится ей случай, подобный настоящему,—обнаружить читающей публикѣ существованіе новаго весьма примѣчательнаго дарованія. „Библиотека для чтенія“ считаетъ долгомъ встрѣтить съ должными почестями и принять на своихъ страницахъ такой превосходный поэтический опытъ, какъ „Конекъ-Горбунокъ“ г. Ершова, юнаго Сибиряка, который еще довершаетъ свое образованіе въ здѣшнемъ университетѣ: читатели сами оцѣнятъ его достоинства и силу языка, любезную простоту, веселость и

обиліе удачныхъ картинъ, между которыми заранѣе поименуемъ одну,—описание коннаго рынка,—картину, достойную стоять на-ряду съ лучшими мѣстами Русской легкой поэзіи“.

II. Отзывъ „Сѣверной пчелы“, 5 октября 1834 года № 225, по случаю объявленія о вышедшей тогда, въ первый разъ, отдѣльною книжкою, сказкѣ П. Ершова, „Конекъ-Горбунокъ“.

„Любители Словесности съ удовольствіемъ читали въ „Библіотекѣ для чтенія“ отрывокъ изъ этой сказки, отличающей необыкновенный талантъ въ молодомъ авторѣ. Нынѣ она отпечатана особо, и мы долгомъ поставляемъ обратить на нее вниманіе нашихъ читателей: она принадлежитъ къ числу хорошихъ произведеній нынѣшней Словесности нашей и предвѣщаетъ еще гораздо болѣе въ будущемъ“.

Послѣ этихъ справедливыхъ отзывовъ, при отзывавъ такихъ лицъ, какъ А. С. Пушкинъ, В. А. Жуковский, П. А. Плетневъ, и другихъ замѣчательныхъ литераторовъ, при радушномъ приѣмѣ сказки, „Конекъ-Горбунокъ“, публикою,—сказка, даже при нѣкоторыхъ, независѣвшихъ отъ автора, препятствіяхъ, явилась, втеченіе тридцати-пяти лѣтъ, осьмью изданіями, * — могли бы показаться странными рецензіи о ней, напечатанныя въ нѣкоторыхъ журналахъ. Особенно странно могла бы показаться рецензія В. Бѣлинскаго. Но Бѣлинскій въ то время только выступалъ на журнальное поприще, былъ молодъ и во всю свою недолгую жизнь находился, подобно Ершову, въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ; причемъ—несомнѣнному таланту его не доставало полного всесторонняго развитія, да и въ журнальномъ дѣлѣ онъ не былъ независимымъ. А кому неизвѣстно, что соперническія журналы не обходятся безъ того, чтобы не противорѣчить одинъ другому, иногда—даже во чтѣ бы ни стало: въ то время журналъ „Библіотека для чтенія“, подъ сильною практическою рукою О. И. Сенковского, былъ очень невыгоднымъ соперникомъ для многихъ журналовъ... Зато мно-

* Нѣкоторые изданія сказки печатались въ 5000 экземпляровъ.

гіе ли изъ читателей и основываются на рецензіяхъ? Читають рецензію, если она остроумна или хоть забавна, а если въ ней нѣтъ ни того, ни другаго, то оставляють ее недочитанною; но въ обоихъ случаяхъ тѣмъ и покончивають съ рецензією, когда не находятъ въ ней дѣльнаго критическаго взгляда. Такъ, видимо, случилось и съ рецензіями о сказкѣ Ершова. Говорять: множествомъ изданій не подтверждается достоинство книги. Это правда, для такихъ книгъ, какъ „Битва русскихъ съ кабардинцами“, имѣющая *свой кружокъ читателей*; но вѣдь есть книги, издаваемые, и съ комментаріями, и въ переводахъ, втеченіе столѣтій. — „Конекъ-Горбунокъ“ и посюпору прочитывается не безъ удовольствія людьми образованными, а дѣти легко и охотно затверживаютъ ее наизусть.

III. Молодой Бѣлинскій, по случаю появленія сказки Ершова отдѣльною книжкой, отозвался такъ, въ издававшемся, въ Москвѣ, журналѣ „Молва“, 1835 года № 9:

„Было время, когда наши поэты, даровитые и бездарные, лѣзли изъ кожи вонъ, чтобы попасть въ классики, и изъ силъ выбивались украшать природу искусствомъ; тогда никто не смѣлъ быть естественнымъ, всякой становился на ходули и облекался въ мишурную тогу, боясь низкой природы; употребить какое-нибудь простонародное слово или выраженіе, а тѣмъ болѣе заимствовать сюжетъ сочиненія изъ народной жизни, не исказивъ его пошлымъ облагороженіемъ, значило потерять на вѣки славу хорошаго писателя. Теперь другое время: теперь всѣ хотятъ быть народными; ищутъ съ жадностію всего грязнаго, сальнаго и дегтярнаго; доходятъ до того, что презирають здравымъ смысломъ, и все это во имя народности. Не ходи далеко, укажу на попытки Казака Луганскаго и на поименованную выше книгу *. И такъ нынѣ совсѣмъ не то, что прежде; но крайности сходятся; притомъ же давно уже было сказано, что

Ни что не ново подъ луною..

Что было — есть и будетъ въ вѣкъ.

* Т. е., *Конька-Горбушка*.

„И потому, не смотря на такую очевидную разность въ направлѣніяхъ, поэты настоящаго времени споткнулись на одномъ ухабѣ съ поэтами былаго времени. Какъ тѣ искажали народность, украшая ее, такъ эти искажаютъ ее, стараясь приближаться къ ея естественной простотѣ. Что въ русскихъ сказкахъ въ тысячу тысячъ разъ больше поэзіи, нежели въ „Бѣдной Лизѣ“, не только въ „Боярской Дочери“ и „Марѣвъ Посадницѣ“, объ этомъ, въ наше время, нечего много говорить: это аксіома. Какъ же хотите вы воспроизводить ихъ? Не то ли же это, что, подобно Дюсису, передѣлывать въ пошлыя трагедіи геніальныя драмы Шекспира? Не то же ли, что поправлять народныя русскія пѣсни, вставляя въ нихъ паркетныя нѣжности и имена Лилъ, Нинъ и проч., какъ то дѣлывалось нашею доброю стариною! Эти сказки созданы народомъ: и такъ, ваше дѣло списать ихъ, какъ можно вѣрнѣе, подъ диктовку народа, а не подновлять и не передѣлывать. Вы никогда не сочините своей народной сказки, ибо для этого вамъ надо бѣ было, такъ сказать, омужичиться, забыть, что вы баринъ, что вы учились и грамматикѣ, и логикѣ, и исторіи, и философіи, забыть всѣхъ поэтовъ, отечественныхъ и иностранныхъ, читанныхъ вами, словомъ, переродиться совершенно; иначе вашему созданію, по необходимости, будетъ недоставать этой неподдѣльной наивности ума, не просвѣщеннаго наукою, этого лукаваго простодушія, которыми отличаются народныя русскія сказки. Какъ бы внимательно ни прислушивались вы къ эху русскихъ сказокъ, какъ бы тщательно ни поддѣлывались подъ ихъ тонъ и ладъ, и какъ бы звучны ни были ваши стихи, — поддѣлка всегда останется поддѣлкою, изъ-за зипуна всегда будетъ виднѣться вашъ фракъ. Въ вашей сказкѣ будутъ русскія слова, но не будетъ русскаго духа, и потому, не смотря на мастерскую отдѣлку и звучность стиха, она нагонитъ одну скуку и зѣвоту. Вотъ почему сказки Пушкина, не смотря на всю прелесть стиха, не имѣли ни малѣйшаго успѣха. О сказкѣ г. Ершова — нечего и говорить. Она написана очень недурными стихами, но, по вышеизложеннымъ причинамъ, не имѣетъ не только никакого художественнаго достоинства, но даже и

достоинства забавнаго фарса. Говорятъ, что г. Ершовъ молодой человѣкъ съ талантомъ; не думаю, ибо истинный талантъ начинается не съ попытокъ и поддѣлокъ, а съ созданій, часто нелѣпыхъ и чудовищныхъ, но всегда пламенныхъ и, въ особенности, свободныхъ отъ всякой стѣснительной системы или заранѣе предположенной цѣли.“

Не знаемъ, какъ понималъ Бѣлинскій эти фразы: „истинный талантъ начинается не съ попытокъ и поддѣлокъ, а съ созданій, часто нелѣпыхъ и чудовищныхъ, но всегда пламенныхъ и, въ особенности, свободныхъ отъ всякой стѣснительной системы или заранѣе предположенной цѣли?“

IV. По выходѣ сказки „Конекъ-Горбунокъ“, вторымъ изданіемъ, въ Москвѣ, 1840 года, журналъ „Сынъ отечества“, того же года, т. 2, кн. I, Отд. 7, объявилъ: „Недавно удивлялись мы, для чего перепечатанъ вновь *вторымъ* изданіемъ *Конекъ-Горбунокъ*, а вотъ вышло и еще изданіе, крошечное, и странно, что это изданіе также называется *вторымъ*. Библиографическая задача: которое же въ самомъ дѣлѣ *второе*? Дѣло походить на *Литературную газету*, которая продолжаетъ постоянно выходить „*ежедневно по средамъ и субботамъ*“, и на тотъ дождикъ, который у одного Русскаго поэта „*однажды шелъ дважды*“.—Есть многое въ Русской литературѣ, почтенные читатели, что и въ голову не придетъ вамъ, если вы не заглядываете за литературныя кулисы“.

Библиографическою задачею показалось это изданіе, конечно, неопытному плохенькому рецензенту, щегольнувшему даже знаніемъ *литературныхъ кулисъ*: ему не пришло въ голову, что издатель могъ напечатать книжку, въ одно и то же время, въ двухъ форматахъ.—П. П. Ершовъ, въ письмѣ, отъ 28 декабря 1839 года, какъ извѣстно уже читателю (стр. 69), упомянулъ: „*Конька* продалъ я, на второе изданіе, московскому купцу Шамову, половину въ 12-ю и половину въ 64-ю долю листа, на длинныхъ условіяхъ“.—По словамъ безграмотнаго рецензента можно бы заключить, что вышло не два, а три вторыхъ изданій: онъ удивляется—для чего

перепечатанъ *вновь вторымъ* изданіемъ *Конекъ-Горбунекъ*, и что вотъ вышло и *еще изданіе* крошечное, также *второе*.

Но положимъ, что это не рецензія, а только ошибочная прицѣпка какого то писака; зато въ журналѣ, „Отечественныя Записки“, находимъ двѣ рецензіи, исполненныя разсудительности и благонамѣренности—прихлопнуть эту сказку, которой протрубилъ такую похвалу ненавистный редакторъ „Библиотеки для Чтенія.“

V. По поводу втораго же изданія „Конька-Горбунка“, въ „Отечественныхъ Запискахъ“, 1840 года въ т. VIII, разсуждали такъ:

„Ужъ эти намъ поэты!...“ „Читаешь, читаешь и не удивишься. Вотъ это какія чудеса придумалъ человѣкъ! Вы помните сказки Пушкина? Вѣрно вы не разъ наслаждались этими игривыми, наивно-граціозными созданіями геніальнаго поэта. Въ его сказкахъ вашъ слухъ прельщался гармоническимъ языкомъ; въ нихъ народная фантазія высказывалась въ прекрасныхъ живыхъ образахъ, а не въ уродливыхъ представленіяхъ, въ милыхъ выраженіяхъ, а не въ словахъ, которыя вы ежедневно можете услышать передъ „зданіемъ, украшеннымъ ёлкою“ *. Вспомните „Сказку о спящей Царевнѣ и о Семи Богатыряхъ“. Какъ естественна завистливая, тщеславная царица, разговаривающая съ зеркальцемъ и слышащая, что есть въ мірѣ женщина ея красивѣе! Какъ хорошъ разговоръ жениха, спрашивающаго объ утраченной невѣстѣ у солнца, у мѣсяца, у вѣтра, и какъ хороша эта природа, къ которой онъ обращается! Не можемъ удержаться, чтобъ не выписать хоть нѣсколько стиховъ:

Елисей, не унывая,
Къ вѣтру кинулся, взывая:
Вѣтеръ, вѣтеръ! ты могучъ,
Ты гоняешь станъ тучъ,

* Какъ видѣшь тонкій, изящный вкусъ: сейчасъ отличить грацію отъ пьянюшки!

Ты волнуешь сине море,
Всюду вѣешь на просторѣ,
Не боишься никого,
Кромѣ Бога одного!
Аль откажешь мнѣ въ отвѣтъ?
Не видалъ ли гдѣ на свѣтѣ
Ты царевны молодой?
Я женихъ ея...

„Какъ просто это слово: „я женихъ ея“, и сколько тоски въ немъ! А какъ хороша пробуждающаяся царевна и ея на-рѣченные братья, эти семь богатырей, истинно — Русскіе, мощные, спокойные! Тутъ языкъ народный, но не тривиальный, шутка милая, но не плоскость; міръ фантастическій имѣетъ свою естественность; люди всѣ живые; движутся, страдаютъ, сердятся, и притомъ всѣ они люди русскіе; „человѣческое“ ярко выразилось въ „національномъ“; — вездѣ видна рука художника.

„Но, къ-несчастью, Пушкинъ всегда пилъ горькую чашу отъ своихъ подражателей. Его выстраданный стихъ превратился у нихъ въ жестоко-тоскливую мизантропію, его народная сказка въ рифмованныя нелѣпости, выѣзжающія на площадныхъ выраженіяхъ. Да помилуйте, ради Бога, не ужели народность состоитъ въ томъ, чтобы говорить по-мужицки? Послѣ этого высочайшая бы народность заключалась въ томъ, чтобы вывести на сцену двухъ мужиковъ, ругающихся площадною бранью. Не уже ли авторъ, начавшій рассказъ отъ сивки и бурки и вѣщаго коурки, и кончившій тѣмъ, что онъ медъ и пиво пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не попало, — можетъ думать, что онъ сдѣлалъ все, — что этимъ-то и стала его сказка народною? Нѣтъ! не такою является сказка Пушкина. Она не считаетъ ея за шутку, которую можно писать съ грѣхомъ пополамъ, болтая всякій вздоръ и оскорбляя русское ухо. Въ Пушкинѣ былъ живъ духъ народный; вотъ отъ-чего онъ и могъ сдружиться съ формою народной сказки, не прибѣгая къ повторенію уличнаго идиома; вотъ отъ-чего вымыслъ въ его сказкѣ граціозенъ и вмѣстѣ народенъ, а не

рядъ нелѣпостей, изъ которыхъ иногда нельзя составить себѣ представленія.

„Что за вымыслъ, на примѣръ, въ лежащемъ передъ нами „Конекъ-Горбунекъ“? Мы подозреваемъ, что онъ вотъ какъ составилъ: сначала, какъ должно, авторъ разсказалъ, что жилъ-былъ отецъ, у него было три сына, двое умныхъ, третій дуракъ, а тамъ и пошло и пошло, стихъ за стихомъ, рифма за рифмой; ужъ бѣдный конекъ скакалъ, скакалъ, и по землѣ, и по песку, и по небу (!), наконецъ сдѣлалъ дурака умнымъ, женилъ, пиръ начался, и сказка составила. Не вѣрите, читатель? Вотъ вамъ примѣры. Рифма *морей*—ну, *сельдей*. Дѣло, на примѣръ, идетъ о томъ, чтобъ сундучекъ стащить со дна; разумѣется, логически-вѣрно, что слабое существо большой тяжести не подниметъ, а сельди, извѣстное дѣло, народъ малосильный, — ну, и не подняли; надо было, не *тратя словъ*, *кликнуть островъ*, а сказка между-тѣмъ идетъ своимъ чередомъ. Дураку велитъ царь-дѣвица поклониться ея роднымъ: надо же ему узнать,

Кто же братецъ, кто же *мать*,

и выходитъ мать ея *мѣсяцъ*. Странное дѣло! ужъ ему гораздо было бы простибельнѣе быть отцомъ! Да къ-тому же отецъ г-жи Мѣсяцъ также мѣсяцъ: отсюда она называется *мѣсяцъ мѣсяцovichъ* и величаетъ дурака „Иванушка Петровичъ“... Словомъ, рифма является полководцемъ и развиваетъ передъ вами всѣ прозшествія. Но, къ-несчастью, она не всегда разбираетъ, правильно или неправильно она ставится: „*ходилъ*“ вмѣсто „*ходилъ*“ и „*кѣту*“ вмѣсто „*кѣту*“—для нея ничего не значить. Впрочемъ, вотъ одинъ изъ лучшихъ примѣровъ изыщности языка:

Мѣсяцъ ровно также *свѣтилъ*,
Я порядкомъ не *примѣтилъ*.
Вдругъ приходитъ дьяволъ самъ
Съ бородою и съ *усамъ*;
Рожа словно какъ у кошки,
А глаза такъ что те ложки (стр. 15)

„Что же касается до подобныхъ фразъ, то откровенно признаемся, что не понимаемъ:

То есть я изъ огорода
Стану царской воевода (стр. 34);

какъ это сдѣлаться изъ „огорода“ — воеводой? не понимаемъ точно такъ же, какъ не понимаемъ, какъ можно *смотреть сквозь рукавицу* (стр. 11), и какъ ёршъ становится на колѣни (стр. 102), хотя это и очень-мило. — Хотите еще что-нибудь милое? извольте. У дурака есть кони съ алмазными копытами, обитыми жемчугомъ,

И подъ пѣсню дурака,
Кони пляшутъ трепака,
А конекъ его — горбатко
Такъ и ломится въ присядку,
Къ удивленью людейъ всѣмъ.

И подлинно, что къ удивленью! Въ самомъ дѣлѣ, господа, изгоните изъ фантастическаго естественность, возможность, — ужъ то-то раздолье будетъ! пиши что хочешь, ни на что не наткнешься, все событочное дѣло! *

„А между-тѣмъ у г. Ершова проглядываетъ и истинно смѣшное: земскій судъ у рыбъ, городничій — сорвутъ невольную улыбку, такъ же какъ и ершъ, который не можетъ не подражаться съ карасемъ, и говорить:

Разпроклятой тотъ карась,
Поносилъ меня вчера съ,
При честномъ при всемъ собраньи,
Басурманской разной бранью... (стр. 101).

„Оно, если хотите, глупо-смѣшно, но все же смѣшно. И все же мы должны поставить произведение г. Ершова

* Какъ еще этотъ наивный рецензентъ не прицѣпился къ тому, что Конекъ-Горбунокъ выражается человѣческимъ языкомъ? Вѣроятно, это счелъ онъ уже *естественностию* и *возможностию*... И такія-то рецензїи помѣщались въ журналѣ, для разъясненія публикѣ; и это не далѣе какъ тридцать лѣтъ назадъ.

несравненно выше какой-нибудь „Сказки о Нинѣ Царевнѣ и Ивашѣ бѣлой рубашкѣ“ г. Бахтурина, или „Болдунъ и его дѣти“ г. Мартынова. Удивляемся только одному: какъ этотъ „Горбатко“ могъ доскакать до втораго изданія!“

Въ томъ-то и бѣда вся (а не удивленіе): зачѣмъ-могъ „Горбатко“ доскакать до втораго изданія! Вѣдь, пожалуй, публика еще болѣе перейдетъ на сторону редактора „Библиотеки для чтенія“, а мы силимся повалить его журналъ, чтобы нашему больше подписчиковъ приобрести.... А между тѣмъ малодушный рецензентъ и самъ воспользовался, какъ съумѣлъ, замашками того же *иснаivistнаго* рецензента „Библиотеки для чтенія“.—Вотъ это какія штуки *надобно было* придумать рецензенту въ „Отечественныхъ запискахъ“!...

VI. Несмотря на такіа рецензіи, публика, чрезъ два года послѣ втораго изданія „Конька-Горбунка“, стала требовать новаго изданія: оно явилось опять въ Москвѣ, въ 1843 г. По поводу этого, третьяго, изданія рецензентъ въ „Отечественныхъ запискахъ“ (1843 г. т. XXX), коротенькою уже, желчною рецензіей напалъ не столько на самую сказку, сколько на тѣ *узкія головы*, которыя рекомендуютъ дѣтямъ эту сказку для чтенія; а дѣти, какъ и самъ рецензентъ уже сознаетъ, почтивають ее съ удовольствіемъ, прельщаясь рассказомъ и приключеніями, въ ней описанными и не извлекая изъ нихъ никакой морали. Изъ рецензіи, которую мы здѣсь приводимъ, надобно заключить, что рецензентъ читалъ, въ дѣтствѣ своемъ, очень дурныя книги и *тогда же* извлекалъ изъ нихъ мораль, тоже дурную для себя. Потомуто онъ, въ возрастѣ зрѣломъ, получивъ, по обязанности, кучу книгъ для разбора, такъ отозвался о „Конькѣ-Горбункѣ“ и объ „узкихъ головахъ“:

„Сказку эту почтивають дѣти съ удовольствіемъ, прельщаясь рассказомъ и приключеніями въ ней описанными и не извлекая изъ нихъ никакой морали. Жили были три брата: двое старшихъ работали, сѣяли пшеницу, возили ее продавать въ городъ—и ни въ чемъ не успѣли. Не далъ имъ Богъ счастья, какъ обыкновенно говорится. Младшій,

дуракъ, лѣнтяй, который только и дѣлалъ, что лежалъ на печи и ѣлъ горохъ и бобы, сталъ богатъ и женился на Царь-Дѣвицѣ. Слѣдственно, глупость, тунеядство, праздность — самый вѣрный путь къ человѣческому счастью. Русская поговорка говоритъ: не родись ни пригожъ, ни уменъ, родись счастливъ,—а теперь, послѣ сказки г. Ершова, надобно говорить: не родись пригожъ и уменъ, а родись глупцомъ, празднoлюбцемъ и обжорой. Забавно, что узкія головы, помѣшанные на *своей такъ-называемой нравственности*, проповѣдую добродѣтель и заботятся о невинности дѣтей, рекомендуютъ имъ сказку Ершова, какъ пріятное и *назидательное* чтеніе!!! Хороша назидательность!”

Такія рецензіи говорятъ сами за себя; мы почли излишнимъ привести ихъ для любопытнаго читателя. Насъ онѣ поинтересовали при вопросѣ: насколько публика и брань рецензентовъ расходятся иногда между собою? — Вѣроятно, потомуки уже наши прочтутъ и еще одну, извѣстную намъ, прелюбопытную рецензію, въ подобномъ же родѣ, которою одинъ, очень наивный, господинъ хотѣлъ, послѣ уже трехъ изданій сказки, *Конька-Горбунка*, совершенно уничтожить дальнѣйшее ея существованіе, какъ не только безнравственной, по его понятію, но даже вредной во всѣхъ отношеніяхъ. Ксчастію, онъ также обманулся, какъ и приведенные нами рецензенты: сказка явилась въ дополненномъ видѣ, въ какомъ и посюпору является и будетъ являться.

Кажется, для послѣдующихъ изданій: четвертаго, пятаго, шестаго, седьмаго и осьмаго, притупились перья такихъ рецензентовъ и истощились или уже не понадобился болѣе запасъ ихъ безсильной брани; намъ, по крайней мѣрѣ, не случилось читать о сказкѣ Ершова ничего болѣе, кромѣ объявленій о выходѣ ея въ свѣтъ.

VII. Такъ, по случаю шестаго изданія сказки, въ С.-Петербургѣ, въ 1865 г., „Книжный вѣстникъ,” того же года, № 7, заявилъ:

„Первое изданіе „Конька-Горбунка” вышло въ Петербургѣ въ 1834 г. (in 8°), слѣдующія два изданія сдѣланы были въ

Москвѣ (1840 in 12° и 1843 in 24°). Всѣ три изданія были съ пропусками. Первое полное изданіе (4-е), съ порядочными картинками, явилось въ Петербургѣ 1856 г., а черезъ годъ вышло 5-е, съ малыми измѣненіями въ картинкахъ. Успѣхъ сказки доказывается расходомъ ея изданій и безчисленными на нее спекуляціями, какъ напр. „Конекъ-Горбунъ съ золотой щетинкой“, или „Конекъ-Горбунъ, подражаніе сказ. Ершова“ и. т. д. Какъ не стыдно гг. издателямъ 4, 5 и 6 изданій назначать за маленькую книжонку 1 р., только на томъ основаніи, что ее раскупаютъ. Издателямъ экземпляръ обходится, по всей вѣроятности, не дороже 5 коп.



